7957

ОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ. №1

НИК. СУХАНОВ

ЗАПИСКИ О РЕВОЛЮЦИИ

КНИГА ВТОРАЯ



ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕБИНА
БЕРЛИН • ПЕТЕРБУРГ • МОСКВА
1922



КНИГОЗБІРНЯ
„СТУДІОН"
у Львові

ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ

НИК. СУХАНОВ



ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕБИНА
БЕРЛИН * ПЕТЕРБУРГ * МОСКВА
1 9 2 2

06
10

НИК. СУХАНОВ

ЗАПИСКИ О РЕВОЛЮЦИИ

КНИГА ВТОРАЯ

7957
пр. № 671
Львів. Бібліотека АН. УРСР
КНИГОЗБІРНЯ „СТУДІОН" у Львові
Св. авт. сп. Гл. СССР 1964
Мікрапуляк М., 12, XI, 22.



ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕБИНА
БЕРЛИН • ПЕТЕРБУРГ • МОСКВА
1922

Т3(2)711,013

Alle Rechte, einschließlich des Übersetzungsrechtes, vorbehalten

Copyright 1922 by Z. J. Grschebin Verlag, Berlin

Львівська державна
наукова бібліотека
№ 5182

Типография Шпамера в Лейпциге

КНИГА ВТОРАЯ

ЕДИНЫЙ ФРОНТ ДЕМОКРАТИИ

3 марта — 3 апреля
1917 г.

I. ОРИЕНТИРОВКА.

«Безответственные» наброски. — Новый порядок. — Самоорганизация Исп. Ком. — Характерные черты Комиссий. — Ю. М. Стеклов. — Б. О. Богданов. — Л. М. Брамсон. — К. А. Гвоздев. — Г. М. Эрлих. — Н. Ю. Капелинский. — Моя «органическая работа». — «Труженики и политики». — Ориентировка. — «Переход на мирное положение»: в «ведомствах», в армии, у промышленников. — Работа Исп. Ком: помещение, пропитание. — Вопрос о трамвае. — Первое столкновение с солдатскими вольностями. — Офицеры в Исп. Ком. — Отречение Николая II. — Наша позиция. — «Неясность». — «Услуга» Николая Милюкову. — Хлопоты с Михаилом Романовым. — Рыцари народной свободы. — «Борис Годунов» наизнанку. — Керенский на подмостках. — Недемократический демократ. — Передышка от Совета. — Н. С. Чхеидзе. — Гельсингфорсские события. — В правом крыле. — «Контроль». — Амнистия. — Керенский на важном совещании. Керенский в борьбе направо. Керенский рвется к власти. — Петербург, анархия и порядок. — Радостная встреча. — В хвостах. — Рассказ Никитского. В градоначальстве. Митинг о политической экономии. Офицеры. Совет и война. — Арестанты. — «Идейный» филер. — Радиотелеграмма Милюкова.

С этого времени, с 3-го марта, кончается сплошная цепь моих воспоминаний, когда в голове запечатлелся чуть ли не каждый час незабвенных дней. С пятого дня революции начинаются провалы, пустоты, которые заполнить я не могу. Начинают сливаться и путаться дни, а затем и недели. Отныне

я не сумею описывать их «подряд», не сумею — весной и летом 1919 года — вести подробный «дневник февральской революции».

При помощи газет я, правда, легко восстанавливаю сплошную цепь событий. Но это не есть цель моих записок: я не пишу истории. Личные же воспоминания вырывают из этой цепи лишь отдельные, хотя и многочисленные эпизоды, которые, быть может, больше чем прежде мне придется спаивать между собою публицистикой; придется эту беспримерную в истории трагедию, эту чудесную эпопею, называемую русской революцией, разбавлять скучными рассуждениями — в бессилии воспроизвести ее не только в целом или основном, но и в том виде, как она катилась непосредственно перед моими глазами, бурля, сверкая, оглушая, переливаясь всеми красками, как исполинский водопад.

Но не только нет возможности, нет и нужды предлагать читателю «дневник» 17-го года. «Эпизоды», какие я помню, и без того составят слишком длинную вереницу, какую рискует не преодолеть читатель. Ну, что-ж! Пусть то будут крупицы для трудолюбивого и искусного историка... Хуже, что эту вереницу рискую не преодолеть я сам, не доведя до конца своих воспоминаний. Ну, что ж! Буду записывать, пока позволяют обстоятельства.

* * *

3-го марта на улицах висели декларации «От Временного Правительства» и от Совета — как было условлено, на одном листе. Новый революционный статус был создан. В окончательной победе революции уже ни у кого не могло быть сомнений.

Все наличные сведения из провинции говорили, что переворот произошел во всех центрах страны, и старая власть ликвидирована повсюду более или менее легко и безболезненно.

Армия также мгновенно «признала» новый строй. Царские генералы, видя безнадежность борьбы, стали поспешно принимать защитную окраску и делать вид, что они переродились. Черная сотня сгинула в подполье. Высшее чиновничество также распылилось во мгновение ока. У царского режима еще до формальной ликвидации Романовых не осталось ровно никакой опоры и никаких надежд.

Контр-революция существовала, но она была в скрытом виде, — подобно революции до революции. Она грозила отнять и ликвидировать в будущем народные завоевания. Но она более не угрожала перевороту, который был благополучно завершен к 3-му марта.

Не угрожала ему больше и «анархия» в столице, где еще далеко не было порядка, но где уже были силы для его водворения в ближайшие дни. Не угрожал и голод, ибо наличные запасы были в целости, а в работе транспорта переворот не создал ни сучка, ни задоринки. Создалась и начиналась новая жизнь, «новое счастье» и новая борьба...

* * *

Исполнительному Комитету С. Р. Д. приходилось вплотную приступить к «органической работе». И для этого было необходимо основательно самоорганизоваться, выделить специальности, устранить чересполосицу и противоречивость распоряжений, из-

брать ответственного («государственного») секретаря, озаботиться правильным ведением протоколов и т. д. А затем на очереди стоял вопрос о ликвидации военно-революционных действий, о переводе революции на мирное и «нормальное» положение, — причем это сводилось по преимуществу к ликвидации забастовки на заводах, в городских предприятиях, в типографиях... Надо было кроме того оформить и редакцию «Известий».

Попрежнему терзаемый внеочередными заявлениями и экстренными делами, Исп. Ком. избрал из своей среды ряд комиссий или, быть может, точнее — разбился на отделы для самостоятельного решения разных категорий дел.

Уже по одному названию комиссий можно судить о том, насколько несовершенна и, так сказать, беспринципна была наша организация, призванная обслуживать революцию при первых ее шагах. Комиссии были: канцелярская, агитационная, литературно-издательская, по возобновлению работ, по разрешению выхода газет и распределению типографий, автомобильная, финансовая, продовольственная, районная и текущих дел.

Как видим, одни из этих комиссий имели постоянное и, так сказать, принципиальное назначение, другие временное, техническое, вспомогательное и совершенно специальное; один — всероссийское, другие — только городское. В частности, последняя из названных комиссий — «текущих дел» — была, как помню, создана по особому моему настоянию — для приема в ней и для избавления пленума И. К-та от «внеочередных» и «чрезвычайных» дел.

При выборах в комиссии попрежнему еще не замечалось сколько-нибудь интенсивной борьбы пар-

тий. В этом отражалось столько же единство целей и единый дух демократии, сколько «несознательность» деятелей в тот момент, т. е. слишком смутное понимание будущих процессов революции. Ведь не только в эти дни, но и много спустя, уже после того, как вопрос о взаимоотношениях партий и Советов не раз обсуждался, — многие стремились и надеялись сохранить на век единую «советскую платформу» для всей демократии... Смешно сказать, но грех утаить, что в частности Стеклов льстил себя надеждой и, размечтавшись, не раз говорил мне о том, как он пройдет кандидатом Совета в Учредительное Собрание.

В те дни, 3-го марта, даже такая политически-ответственная комиссия, как агитационная, была составлена, по выборам, из оборонца Эрлиха и двух большевиков — Красикова и Шляпникова, тогда как большинство Исп. К-та составляли меньшевики-интернационалисты.

Еще любопытнее, что ответственнейшее дело редакции «Известий» и составления для этого коллектива было поручено Стеклову. Оборонческое меньшинство И. К. далеко нельзя было уже тогда считать слабым, а Стеклов был человек большевистского происхождения, хотя и писал в шовинистско-плехановском «Современном Мире». Тем не менее ни одна из групп не настояла на образовании «коалиционной» редакции или хотя бы на ответственном выборном коллективе. И не в пример прочим комиссиям, литературно-редакционная была составлена из одного Стеклова... Впрочем, он добросовестно кооптировал редакционный коллектив, неоднократно, но безуспешно приглашал туда меня и составил редакцию из интернационалистов — Циперовича,

Авилова, из оборонца и будущего заграничного делегата Гольденберга, и, не помню, кого еще.

Подобное отношение Исп. Ком. к такому важному делу, как редакция официального и центрального органа революции и демократии — также может об'ясняться в первую голову лишь отсутствием в тогдашнем руководящем учреждении сколько-нибудь резкой дифференциации и партийной борьбы.

* * *

Стеклов же был тогда весьма выдающейся фигурой революции и вынес на себе действительно огромное количество самой ответственной работы. При своей достаточной образованности, литературном и ораторском опыте, при своем очень большом революционно-политическом (российском и европейском) прошлом, — Стеклов в те времена проявлял огромную энергию и активность. Он был неутомим и очень разносторонен в своей тогдашней работе. При том, тогда еще не успели проявиться другие свойства этого деятеля, определившие впоследствии его дальнейшую судьбу.

Прежде всего, Стеклов всегда неприятно тяготел ко всякому большинству вообще. С началом партийного расслоения в Совете, это совершенно дискредитировало полезного (если и не столь приятного) деятеля революции, на которого при таких условиях нельзя было надеяться его единомышленникам и от которого всего было можно ожидать.

Это свойство Стеклова вытекало не только из личного тщеславия. Основной причиной было, пожалуй, то, что Стеклов, в сущности, не имел ни-

каких «взглядов», а в лучшем случае имел только «направление». Ни его эрудиция, ни его политический опыт — как это ни странно — не устранили его основных качеств: его политической бесплодности и мелкости, мелочности его политической мысли.

«Политика» Стеклова в те времена едва ли не исчерпывалась его полицейским умонастроением: тащить, не пущать, запретить, ущемить. Когда же дело доходило до «высоких» проблем, то Стеклов либо не вносил ничего, либо метался, путал и «не решался». В частности, это было с вопросом о войне. Не стоит здесь говорить об этом подробно. Но именно отсутствие твердых принципов и широких горизонтов приходится отметить, говоря о деятеле, игравшем весьма видную роль в первый период революции... С этим деятелем мы, впрочем, еще встретимся не раз.

* * *

Чисто техническое дело — «управление делами», «канцелярская комиссия» было поручено Б. О. Богданову. Это было правильно в том смысле, что Богданов был чрезвычайно энергичным, распорядительным и опытным организатором, имея для этого подходящую в данной обстановке тяжеловатую, чтобы не сказать, грубую руку (при своей сравнительной молодости)... Впрочем, этой своей роли Богданов, насколько помню, почти не выполнял и скоро бросил это дело для других функций.

Но было бы неправильно думать, что Богданов был пригоден именно к роли «управляющего делами» в отличие от иных областей работы. Напротив,

— не в пример Стеклову, предназначенному в идейные вдохновители Совета посредством «Известий», — Богданов, обреченный канцелярщине, был политик. Он интенсивно и, я бы сказал, интересно мыслил, совершая любопытную эволюцию, чтобы не сказать «экивоки» в области «высокой политики».

И, наконец, это был человек, способный к неутомимой «органической работе» в различных ее сферах. Вообще — это весьма интересная фигура и один из столпов работы И. К. в течение всего первого и меньшевистско-эсеровского периодов революции до самого октябрьского переворота.

Богданова я знал довольно давно и хорошо еще по «Современнику», по всяким организациям, музыкальным кружкам и чисто личному знакомству. Это был не блестящий, не выдающийся, но полезный писатель по специальным вопросам и на редкость неаккуратный сотрудник, с которым лучше не связываться редактору.

В политике мы всегда были разных устремлений, а с началом войны разошлись основательно, до полного литературного разрыва: Богданов был оборонец из группы Потресова и жестокий враг моего «пораженчества»... Затем, когда наша прогрессивная и более дальновидная буржуазия занялась культом бургфридена и в интересах его попыталась легализировать оборонческое течение в рабочих социал-демократических кругах, — Богданов стал секретарем «рабочей группы» при центральном военно-промышленном комитете.

Во время же революции мы видим его на самых разнообразных и ответственных постах, — где он то нащупывал правильные пути реальной социалистической политики и проявлял здравый практический

смысл вместе с классовым чутьем, то снова ослепленный мертвой догмой и партийной злобой, посильно толкал революцию к пропасти, а страну к развалу.

В Богданове удачно и недюжинно соединилась политическая мысль с неустанным «органическим» кропотливым трудом.

— Это рабочий вол! — говорил про него Чхеидзе, наблюдая, как он битые часы под-ряд выстаивал председателем Совета в изнурительной борьбе с «народной стихией», потрясая звонком в одной руке, величественно дирижируя другой и выкрикивая охрипшим голосом:

—... тех прошу поднять, — прошу опустить...

Это был рабочий вол, во многих случаях незаменимый и во многие критические моменты бывший рабочим центром столичной советской организации. Но его политическая мысль шла большей частью по неправильным путям и в конечном счете не сослужила ему хорошей службы.

* * *

Важнейшее дело советских финансов было поручено старому трудовику, петербургскому адвокату, известному политическому защитнику Л. М. Брамсону, заслуженному самоотверженному деятелю и отличному человеку. Не в пример прочим «трудовикам», не выдержавшим испытания революции и почти без исключения продавшим свои «демократические» шпаги правому крылу, — Брамсон «органически» слился с Советом и неустанно работал в нем до конца. Его демократизм, напротив, выдержал

испытание блестяще. Но пример этого старого адвоката не вызвал подражаний даже среди более молодых, более плебейского происхождения «трудовиков», неудержимо тяготевших к «правительственным сферам».

Свое трудное и не благодарное «финансовое» дело, в течение всех восьми месяцев, до самого октября, он выполнял не только с успехом, но, можно сказать, с блеском. Насколько трудно было положение тогдашнего советского «министра финансов», видно уже из того, что советский бюджет в те времена, когда советы были «частными учреждениями», составлялся в своей львиной доле из доброхотных даяний. Вначале, пока деятельность развернулась еще не широко, пока расходы еще были не велики, а «всеобщий энтузиазм» заставлял умиленную и «несознательную» буржуазию развязывать кошельки, — дело еще кое-как двигалось, через пень колоду. Но потом приходилось туго.

* * *

Свои обязанности по финансовой комиссии Брамсону пришлось делить с К. А. Гвоздевым. Это был также один из главных советских работников и одна из интереснейших фигур первых месяцев революции.

Не менее «рабочий вол», чем Богданов, Кузьма Гвоздев, занимаясь советскими финансами, разменяваясь на мелочи, вроде заведывания автомобильным делом, — с первых же дней стал главной основой всего дела труда в центральных советских учреждениях.

Надо представить себе всю сложность условий победоносной глубоко демократической революции, которая сделала пролетариат фактическим хозяином положения, но вместе с тем оставила в неприкосновенности и основы буржуазного строя, и даже формальное господство старых «господствующих классов»; — надо понять всю сложность и противоречивость этих созданных революцией условий, чтобы оценить, насколько трудным, ответственным, «щекотливым» было руководство делом т р у д а в ту эпоху; какого опыта, твердости, такта, «сноровки» требовало это дело между молотом и наковальней, среди протестующих, бунтующих, вечно грозящих забастовками и локаутами рабочих и предпринимателей.

Положение Гвоздева было тем труднее, что при наличии всех перечисленных свойств, в распоряжении Гвоздева не было еще одного, которое могло бы оказать ему незаменимую услугу, — не было популярности. Самородок-пролетарий, он возглавлял правое оборончество, социал-реформизм и оппортунизм — в практике рабочего движения военно-революционной эпохи. Это течение не имело никакого кредита...

Взятый от заводского станка в политические лидеры и министры, а затем с министерского кресла, через тюремную камеру вновь переданный заводскому станку, — «Кузьма Антоныч» по праву занял место «советского» министра труда; но взятый из гучковско-коноваловского «военно-промышленного» гнезда — Гвоздев, в соответствии с этим, по своему направлению, по тенденциям и тяготениям, не мог не держать курса на достойного члена временного «коалиционного» правительства и на весьма под-

Львівська державна наукова бібліотека № 5182

КНИГОЗБІРНЯ „СТУДІОН" у Львові

ходящего министра труда (без ковычек) в кабинете Керенского. Ни подобный т и п рабочего деятеля, ни подобный к у р с — не могли ни создать популярности среди искони большевиствующего великорусского пролетариата, ни тем более поддержать популярность махрового соглашателя и капитулятора перед буржуазией в эпоху революции...

Подобно Богданову, К. А. Гвоздев не был только «рабочий вол», — а его соглашательство не было, не в пример многим «циммервальдцам», тупым и прямолинейным. Во многих и многих случаях Гвоздев обнаруживал не только здравый смысл, но и большую гибкость мысли. Он был часто оригинален и всегда интересен этой бьющейся мыслью. И я всегда, с неизменным интересом и — скажу — с немалой пользой, внимал не особенно красным и бойким, додовольно корявым речам моего постоянного противника в Исполнительном Комитете.

Да не один я, а и все руководящие сферы, справа налево, прислушивались, когда Кузьма Антоныч начинал речь — со своей урезонивающей манерой и своим неподражаемым, органически с ним слитым первобытным говором:

— Господа... ведь теперича... мы занимаемси... дело в тем, что...

Не встречаясь с ним до революции, но достаточно о нем наслышанный, — я, конечно, был сильно предубежден против этой «вредной личности». Но при первых же столкновениях с ним в работе и в личном знакомстве, я не замедлил раскаяться в своем предубеждении, найдя в Гвоздеве отличного товарища, хорошего человека, искреннего социалиста, с которым было приятно иметь дело, как с противником, и еще приятнее, как с соратником...

Ему весьма и весьма было не чуждо самолюбие, которое перешло в болезненное под влиянием травли, разрыва со своим братом-рабочим, под влиянием «министриалистских» неудач. Меня, вместе с «Новой Жизнью», он считал отпетыми губителями революции и говорил со мною со скорбным видом и горестным негодованием. Но все же, — не в пример другим, — с Гвоздевым я сохранил приятные личные отношения «до конца», до октября. К этому времени он окончательно перекочевал из Таврического дворца в Зимний. Но — не «помогли» ему его «ляхи»...

* * *

Конечно, Гвоздеву пришлось быть главным работником «комиссии по возобновлению работ», избранной 3-го марта. Из прочих наиболее ответственных комиссий — в «агитационной» Шляпников и Эрлих, два партийных человека, левый большевик и правый меньшевик-бундовец, — изображали из себя лебедя и щуку.

Шляпникова мы уже знаем. С Эрлихом также не раз встретимся в дальнейшем. Это был сотрудник «социалистического» «Дня», интеллигентный, знающий, добросовестный и деятельный работник, впоследствии командированный заграницу представлять русскую революцию и организовать социалистическую конференцию в Стокгольме...

Вначале он, несомненно, выделялся из правого советского крыла самостоятельной мыслью и стремлением держать свое оборончество, свой ревизионизм, свое «соглашательство» в пределах логики и здравого смысла. Про этого оборонца из подозрительной газеты нередко приходилось говорить тогда,

что он «лучше циммервальдцев». Но когда дифференциация советских элементов окончательно произошла, и правое крыло окончательно сформировалось под предводительством «циммервальдца» Церетели, — Эрлих совершенно погряз в нем, утратив свою физиономию «разумного оборонца» и всякую физиономию вообще.

Таковы были комиссии, созданные 3-го марта, и таковы были их главнейшие деятели. Секретарем Исполнительного Комитета был избран корректный и аккуратный Н. Ю. Капелинский, деятель рабочей кооперации, участник вышеописанных предреволюционных совещаний рабочих организаций и член Временного Исполнительного Комитета. Затем, с образованием правого большинства, он как-будто обнаружил к нему тяготение, но ненадолго: когда политика этого большинства достаточно кристаллизировалась, а его политиканство достаточно дало себя знать, Капелинский был отброшен ими вновь налево, для неизменного пребывания на левом крыле «меньшевиков-интернационалистов».

В комиссии не были избраны другие видные деятели Исполнительного Комитета — ни Чхеидзе, изнемогавший под бременем «представительства» и истекавший торжественными речами; ни Скобелев, специализировавшийся на поездках по неблагополучным местам; ни Соколов, порхавший по всем уголкам революционного Петербурга, присутствовавший во всех закоулках одновременно и приносивший в Исполнительный Комитет сенсацию за сенсацией.

* * *

Меня, в мое отсутствие, почему-то назначили в комиссию по рассмотрению вопросов о выходе периодических изданий. Затем, на следующий день или, быть может, 5-го марта, были дополнительно образованы две комиссии — «иногородняя» и «законодательных предположений». Меня назначили и в ту, и в другую. А кроме того, в один из этих же дней была образована крайне важная, упомянутая выше, «комиссия труда», в которую я также вошел вместе с Богдановым и Гвоздевым.

Увы, ни в одной из этих комиссий я почти не работал. У меня сохранились воспоминания только о двух, максимум — трех днях «деятельности» по части выхода периодических изданий и распределения для них типографий. Пренеприятные воспоминания!

Типографии, их число, размеры, оборудование, и хозяйственное положение надо было *знать*. Мы этого ничего не знали. Между кем и на каких основаниях «распределять» их? Можно ли и должно ли вытеснять из них старые печатные органы? И не угодно ли мотивировать это людям заинтересованным, как в органах, так и в типографиях?.. Сколько, наконец, газет можно поместить в каждую типографию, и как поделить их, когда несколько сторон — хозяева, рабочие, газетчики, претенденты — дают противоположные показания?...

Еще хуже обстояло дело с разрешением газет, ибо я стоял за разрешение *всех* газет, но не имел на это права. Как обеспечить удовлетворение, справедливых претензий и как установить, что ныне справедливо?.. И т. д.

Через два дня, измучившись и со всеми разругавшись, я бросил это дело, взмолившись перед Испол-

нительным Комитетом. Но все же дня два-три я разбирался во всем этом с осаждавшими меня представителями партийной прессы, старых газет и типографов — и, ни в чем не разобравшись, подписывал всякие разрешения, запрещения и предписания.

Комиссия «законодательных предположений», о которой подробная речь будет дальше, стала сразу в несколько ложное и никчемное положение и почти не работала. Не помню, посетил ли я хоть раз «иногороднюю» комиссию, получившую, наоборот, очень большое значение.

Но хорошо помню, что ни разу не посетил комиссии «труда», где (при отсутствии министерства труда в то время) сосредоточилось все насущнейшее дело регулирования положения труда в новых условиях. Эта комиссия быстро превращалась в самостоятельное большое учреждение, в котором шла огромная непрерывная работа. Но я в ней совершенно не участвовал. Ежедневно, по нескольку человек, осаждавших меня, как члена комиссии, я отсылал в «комнату № 7» за авторитетными раз'яснениями и помощью. Но сам так ни разу и не заглянул в нее, и даже — хорошо помню — не знал, где помещается комната № 7.

* * *

Такое положение дел имело довольно фундаментальные (хотя и вполне суб'ективные) причины. Во-первых, я сознательно не хотел зарываться в органическую работу, имея в перспективе «Новую Жизнь»: Тихонов уже где-то бегал по городу, искал денег, наводил справки в типографиях, мобилизовал журналистов и уже теребил меня, вызывая из

заседаний и требуя моего участия в этой работе по организации газеты. Работы здесь предвиделось много. А, во-вторых, дело было в том, что по своим настроениям, а может быть и по натуре, я обнаруживал тогда слишком мало склонности к кропотливым «органическим» трудам в учреждениях революции.

Все мои устремления и мысли были в сфере «высокой политики». Все мои усилия были направлены к тому, чтобы перескочить через все «экстренные» и «неотложные» текущие дела, как бы они ни были насущны, и наблюдать революцию с птичьего полета, рассмотреть из за деревьев лес, обслуживать, как должно, общие проблемы, которые с такой силой, так внезапно поставила перед демократией новая жизнь... Таковы, повторяю, были мои суб'ективные стремления. На практике из этого выходило не много.

Да простит мне мою дерзость почтенная Клио, но я все же вспоминаю защитительную речь Карно перед героями термидора — речь, где Карно описывает работу Комитета Общественного Спасения и его отдельных членов. Карно свидетельствует, что эти последние разделялись на две категории: «тружеников», заваленных свыше человеческих сил текущими делами, не ведавших никакой общей политики и фактически не ответственных за нее, и «политиков», всецело определявших общее направление политики и, целиком ответственных за общие мероприятия Комитета Общественного Спасения...

В рассказе Карно центр тяжести заключается в том, что Ком. Общ. Спасения имел в своем составе людей, не ответственных за его политику. Я же

хочу сказать, что в нашем Исп. Комитете были люди, почти чуждые всякой «органической работе». И едва ли я не являлся крайним выражением этого типа.

Я принадлежал к числу тех, про кого впоследствии председатель Чхеидзе говорил, злобно косясь в мою сторону:

— У нас тут есть товарищи, которые не работают, а только приходят на предмет политического воздействия...

И сейчас, среди вермишели и нудной черной работы случайного характера, я был по преимуществу занят «высокими» проблемами... Революционное правительство теперь создано, общее положение демократии в революции теперь установлено, общий характер взаимоотношений между Советом и Временным Правительством уже более или менее ясен. Словом, установлена и ясна общая политическая ситуация.

Но необходимо безотлагательно определить, что надлежит делать, какую «линию» взять Совету в этой вновь сложившейся ситуации. Было необходимо наметить линию текущей политики, наметить ряд очередных практических шагов советской демократии во внутренней политике и во внешней. Было необходимо уяснить себе, как надлежит теперь использовать уже совершившийся переворот — во-первых, для дальнейших политических и социальных завоеваний российской демократии, а во-вторых, — для ликвидации войны, то-есть тем самым для мирового пролетарского движения.

* * *

Но в данную минуту перед центральным советским учреждением стоял ряд важных, чисто практических вопросов, к решению которых было необходимо приступить немедленно. Ими и занялся 3-го же марта Исполнительный Комитет.

Это был ряд вопросов, связанных с переходом столицы на «мирное положение». Во избежание излишней неурядицы и затруднений в хозяйственной жизни, было необходимо пустить в ход все учреждения и предприятия.

Что касается правительственных учреждений и армии чиновников, то забота об их надлежащем функционировании лежала всецело на новом правительстве: на то оно и было призвано к жизни, с точки зрения советской демократии, чтобы безотлагательно наладить государственную машину нового строя.

И действительно, «правое крыло» ревностно занялось этим. Оно быстро заместило важнейшие посты во всех ведомствах кадетской и всякой «земгорской» публикой, которой чиновная армия, генералитет и офицерство подчинились легко, мгновенно, без всяких трений и даже с демонстративным «энтузиазмом». Государственный механизм продолжал выполнять насущную работу почти без потрясения и без всякого перерыва...

Были естественно большие опасения за транспорт. Но низший железнодорожный персонал оказался на высоте положения, продолжая работу в полном об'еме и не предпринимая ничего по собственной инициативе, без призыва Совета Рабочих Депутатов; все же высшие служащие и технический персонал официально выразили покорность думскому комитету и «отдали свои силы его работе» под предво-

дительством Бубликова. Здесь дело обстояло как нельзя лучше.

Так же было и в армии. 2-го же марта, приказом думского комитета, на ответственнейший пост командующего войсками Петербурга и его окрестностей был назначен генерал Корнилов, «несравненная доблесть и геройство которого на полях сражения известны всей армии и России»... Как известно, в апрельские дни, в эпоху кризиса первого революционного кабинета, Совету пришлось ликвидировать ретивого генерала за его не в меру энергичную поддержку Милюкова против народа; но при первых шагах этот действительно популярный и отважный генерал, либеральный «патриот», был крайне удачной креатурой цензовиков — безупречной с точки зрения офицерства и максимально авторитетной для солдат... Вообще говоря — в дальнейшем это могло, пожалуй, несколько затруднить борьбу за армию для советской демократии: но на первых порах, в частности, это хорошо закрепляло новый статус со стороны «фронта», и облегчало «введение в норму» жизни столичного гарнизона.

Наконец, опять-таки 2-го марта, была дана по всей России директива служить новому строю со стороны могучей организации капитала, со стороны Совета С'ездов представителей промышленности и торговли. Основательно лягнув павший строй, служивший отечественной плутократии верой и правдой, — об'единенный капитал, «преклоняясь перед подвигом Государственной Думы» и «отдавая себя в полное распоряжение» думского комитета, «призвал все общественные, торгово-промышленные организации России, биржевые комитеты, комитеты торговли и мануфактур, купеческие общества, об-

щества заводчиков и фабрикантов, с'езды представителей отдельных отраслей промышленности и торговли и весь торгово-промышленный класс России — забыть о партийной и социальной розни, которая может быть сейчас только на пользу врагов народа, теснее сплотиться вокруг Временного Комитета членов Государственной Думы и предоставить в его распоряжение все свои силы»...

И здесь машина заработала. О земствах, городах и их всевозможных организациях никаких особых забот не требовалось. Под флагом «либерального» правительства вся «цензовая общественность» уже пришла в движение и действительно была готова с удвоенной энергией обслуживать нужды государства вообще, а... борьбу его с «дерзким врагом» в особенности.

* * *

В сфере восстановления «нормального хода» государственной машины советской демократии, Исполнительному Комитету, естественно, надлежало обратить свои взоры в иную сторону. Ему надлежало обратиться к пролетарским массам и перевести на «мирное положение» те предприятия, которые обслуживались рабочими. Забастовка в Петербурге была почти всеобщей. Надо было ее ликвидировать. Уже накануне в «Известиях» был помещен призыв открыть все магазины — в дополнение к открытым банкам — и тем самым, во-первых, способствовать налаживанию хозяйственного аппарата, а во-вторых, продемонстрировать закрепление нового строя и «нормальную жизнь» в новых условиях.

Теперь предстояло пустить в ход столичные

фабрики и заводы, в первую же очередь — трамвай. Восстановление нормального уличного движения в виде трамвая должно было явиться ярким символом окончательно победившей революции и начала «мирной» жизни в свободном Петербурге...

Покончив с насущными организационными вопросами, создав вышеописанные комиссии, Исполнительный Комитет и перешел к этой очередной задаче.

* * *

3-го марта заседания Исполнительного Комитета, из комнаты № 13, где он работал во второй ее половине, за портьерой, были перенесены, совсем в другой конец Таврического дворца — в комнату № 10, по соседству с большим думским залом. Эта небольшая комната выходила в широкий шумный корридор, прилегающий к «белому залу», и не представляла ни малейших удобств. Но в прежнем, более укромном месте, работать уже было немыслимо: эта резиденция Исп. Ком. стала слишком популярной.

Комната № 10 могла быть лишь временным пребыванием Исп. Ком., впред до надлежащей ориентировки в недрах Таврического дворца, где советские центральные организации решили закрепиться окончательно, несмотря на все старания Родзянки нас оттуда выжить. Пока топография Дворца была для нас еще темна, и надлежащей организации «хозяйственной части» у нас еще не было, Исп. Комитету пришлось занять эту неудобную комнату, первоначально отведенную для редакции и конторы «Известий». «Известия» же пришлось вытеснить попросту в корридор, так как журналисты «большой»

буржуазной прессы, занимавшие (еще в Государственной Думе) комнату, смежную с № 10, не склонны были пускать к себе новых членов и вообще кого бы то ни было, и даже имели смелость приставить к своей двери часового, которого я, впрочем, позаботился снять...

Внешняя картина заседаний Исп. Комитета в ближайшие дни была в общем та же, что и раньше. Извне попрежнему наседала толпа. Внутри шла прежняя нудная, изнурительная чехарда «внеочередных заявлений», «экстренных вопросов» и «порядка дня»... Заседания были попрежнему почти непрерывны и попрежнему не носили следов какого бы то ни было внешнего благообразия. Однако, с избранием постоянного секретаря, с 3-го марта, завелись протоколы; постановления Исп. Комитета кроме того стали печататься в «Известиях»... Председательское же место стал отныне систематически занимать Чхеидзе.

Какие-то силы озаботились нашим пропитанием. Сначала давали чай, хлеб и разную холодную закуску; но вскоре, на каких-то основаниях, завели горячие обеды и ужины. В течение долгого времени «сервировка» всего этого и наши приемы питания были вполне варварскими. Наши иностранные знатные гости через несколько недель еще имели случай наблюдать и удивляться, как мы по очереди подходили к столам яств и питей, наливали чай из более чем сомнительных чайников в жестяные заржавленные кружки, передавая их друг другу; залезали грязными перочинными ножами в банки с консервами, помогая пальцами; отламывали от краюхи хлеб, мешали в кружках ручками и карандашами и вытирали газетами измазанные руки.

Но, Боже, каким лукуловским пиршеством кажется ныне это «сухоядение»! Огромные пакеты с сахаром не переводились, и мы тогда не желали знать, что значить пить чай «в прикуску». Масло, сыр, колбасы, всевозможные консервы были в изобилии. И ломились столы от белого хлеба — самого, кажется, вожделенного продукта для северян 1918 и 19 годов.

Обеды потом были также на славу. На второе давали всевозможные каши со сливочным маслом. Диву даюсь и не могу понять, как мог я быть к ним равнодушен и те счастливые времена!..

На какие средства готовились эти обеды, хорошенько не знаю: за них никто ничего не платил. А готовились их многие сотни, вернее же тысячи — для всех бесчисленных обитателей Таврического дворца — членов Исп. Комитета, сотрудников, бесконечных депутаций, делегаций, караула, всяких частей и т. д. Вообще достаточно было попасть, проникнуть в Таврический дворец, чтобы всем, кому вздумается, уйти оттуда сытым по горло. Поистине, счастливые времена!

В заседаниях еда была, можно сказать, перманентной. Но надлежащих результатов это не имело, а имело — ненадлежащие. Проводя в Таврическом дворце ежедневно, по 10—15 часов и перекусывая на ходу, что придется, мы все таки не насыщались, а истощались и изматывались чрезвычайно: питаться как следует мы все таки не успевали, и до сих пор мой образ жизни тех времен ассоциируется у меня с ощущением вечного голода.

В заседаниях же Исп. Комитета хвосты и толпы около еды и непрерывное хождение за ней по ком-

нате — изрядно усиливали беспорядок и затрудняли работу... Чхеидзе, прикованного к председательскому месту, это раздражало невыносимо.

— Товарищи, — уже не кричал, а орал Чхеидзе, — я призываю к порядку и протестую. Вы тут в заседания удовлетворяете свои естественные потребности, а я так не могу работать. Я закрою заседание..

* * *

Но заседания не закрывались и продолжались целые дни до позднего вечера.

В первом часу дня (3-го же марта) меня позвал к телефону Никитский, делегированный Исп. Комитетом в градоначальство в качестве помощника нового «общественного градоначальника». Никитский сообщил, что в градоначальстве озабочены возобновлением трамвайного движения. Вместе с городской управой, сменившей старого голову, Лелянова, на гибкого европейца и хорошего муниципала Глебова, — градоначальство стало в тупик перед следующим обстоятельством. Как быть с пассажирами-солдатами?..

Ясно, что отныне они будут ездить не только на площадках, но и внутри вагонов на равных правах с прочими гражданами. Но будут ли они платить? Если не брать с них платы, то не очевидно ли, — говорили в градоначальстве, что в трамвае будут ездить одни солдаты и одни бесплатные пассажиры. Свободный многотысячный столичный гарнизон разовьет по городу огромное движение. Бесплатно солдаты в трамвае будут передвигаться на самых ничтожных расстояниях, будут садиться в трамвай

на одну-две остановки. И тогда прощай трамвай для остального населения! Ни женщинам, ни детям, ни старым и слабым — не видать места в трамвае, как своих ушей...

Никитский просил меня принять меры в Исп. Комитете, чтобы так или иначе сократить солдатское движение — в интересах всей столицы вообще и самого трамвая, в частности. Лучшим способом для этого в градоначальстве и в управе считали введение платы для солдат.

Я лично был того же мнения, но Исп. Комитет решил иначе. Когда, после избрания комиссий, перешли к «возобновлению работ» и, в первую голову, к трамваю, здесь произошло первое столкновение «деловых соображений» с демагогией, к которой, по мнению большинства, обязывало положение. Я отстаивал для солдат половинную плату (5 коп.), — по крайней мере внутри вагонов. Но большинство не решилось на это и постановило опубликовать ко всеобщему сведению, что солдатам предоставляется ездить в трамваях бесплатно и размещаться где угодно.

Из кого состояло это большинство, я не помню. Но несомненно — как то, что оно тут отдало дань демагогии, так и то, что эта демагогня в значительной степени оправдывалась наличной ситуацией. Это были дни, когда революция, свобода, а особенно Совет — были пустыми звуками для солдатской массы. Эта масса, как таковая, — еще вчера слепое орудие царизма, — вырвавшись из под ярма, грозила завтра превратиться в столь же слепого и весьма разгульного «хозяина положения», способного натворить величайших бед. Обращаться с гарнизоном тогда было необходимо до крайности

деликатно и было необходимо немедленно, во что бы то ни стало, создать для него непререкаемый авторитет, в который бы он верил, который бы считал своим, и потому ему повиновался...

Совсем иное было дело, когда через много месяцев, накануне октябрьского переворота большевики «приручали» теми же способами изнывшие от безделья петербургские полки (или их обрывки): если в марте трамвайная демагогия была средством превратить слепых в зрячих, то в октябре она имела целью одурманить зрячих, сделать свободные, преданные революции и Совету массы слепыми исполнителями воли якобинского кружка... В котором-нибудь из следующих томов я опишу заседание петербургского Совета перед самым «октябрем», когда большевики перед толпой солдат распинались из за того же самого трамвайного пятачка, наложенного на гарнизон обнищавшей в конец эсеровской городской управой. Вот тогда это была не слишком привлекательная картина!...

Итак, трамвай решили пустить в ход. Но это оказалось технически невозможным: в Петербурге были большие снежные заносы как раз в дни забастовки. Представитель города заявил, что не надеется пустить трамвай до вторника, а 3-го была только пятница. Жаль! Появление трамвая на улицах революционной столицы означало бы не только огромное облегчение для жителей: это было бы символом восстановления порядка, началом «нормальной» жизни в закрепленном новом строе...

Но характерно вот что. Никому из нас не запало в голову ни малейшего сомнения в том, что вопрос о трамвае — не только об открытии движения, но и о плате для солдат, — правомочны решить именно

мы, Исполнительный Комитет Совета Рабочих Депутатов; а кроме нас решить его не только все бессильны, но и не правомочны... Не городская дума, не правительство, не гарнизонное начальство, а Совет Раб. и Солд. Депутатов. Это был боевой вопрос революционной ситуации, и тут мы ни с кем ни делили власти. И никакая иная власть тут не решилась оспаривать наших прав.

* *
*

Перемена резиденции Исп. Комитета ассоциируется в моей памяти с новым пополнением его состава. На первом заседании в комнате 10-й, 3-го марта, впервые присутствовали офицеры, явившиеся из сфер «военной комиссии», из правого крыла. Это были знакомые нам — Филипповский, Мстиславский, Добраницкий и, может быть, кто-нибудь еще. Не могу толком сказать и едва-ли когда-нибудь знал, какую именно военную организацию они представляли. Кажется, это была офицерская социалистическая организация, входившая в Совет и наполненная довольно сомнительными социалистами.

Из ее представителей в Исп. Комитете — С. Д. Мстиславский не «привился» в советских учреждениях и вскоре исчез из них — в литературные предприятия. Двое же других, напротив, оставались деятельными участниками Исполнительного Комитета до самого «октября». Помню, я долго не мог привыкнуть к их мундирам и погонам среди нашей «нелегальщины» вчерашнего дня. Офицеры казались пришельцами из иного, враждебного мира, и не верилось, что моряк Филипповский взаправду с.-р.,

а Добраницкий — настоящий партийный меньшевик, в дальнейшем очень левый.

* * *

В середине дня кто-то принес в Исп. Ком. текст отречения Николая II... Документ этот ранним утром привезли из Пскова Шульгин и Гучков, ездившие за «отречением» от имени Временного Комитета Гос. Думы.

Последнее обстоятельство засвидетельствовал ныне Милюков в первом выпуске своей «Истории Революции». Но Милюков не сообщает, знали ли об этом поручении члены думского комитета Керенский и Чхеидзе. Таким образом, я доселе не знаю, может ли быть этим членам президиума Совета вменено в вину соучастие в попытке нашей плутократии сохранить в последний момент монархию и династию Романовых... В то время никому из нас не пришло в голову пред'явить им это обвинение или даже попросту разузнать об этом. Было слишком хлопотно, слишком некогда и слишком необ'ятно все происходящее...

Мне неизвестно также, реагировали ли Чхеидзе и Керенский на этот акт, если он незаконно был совершен частью думского комитета от имени всего учреждения, без их согласия и ведома. Но я категорически утверждаю, что Исполнит. Комитет, уже получив акт об отречении, не знал, при каких условиях он был подписан, и ничего не подозревал ни о миссии, ни о поездке Гучкова и Шульгина.

Конечно, последний «манифест» Николая не произвел в Исполнительном Комитете никакого впечатления. Посмеялись кем-то переданному сообщению, что Николай перед отречением «назначил» Г. Е.

Львова премьер-министром. Ужасно предусмотрительно со стороны мудрого и попечительного монарха! Ужасно тонко со стороны инспирировавших его дипломатов буржуазии!..

Мы посмеялись над наивным анахронизмом в тексте последнего манифеста, но не уделили ни малейшего внимания самому факту отречения. Для всех нас было очевидно: этот факт ныне, 3 марта, не вносит решительно ничего нового в общую коньюнктуру. Революция идет своим ходом, и новая комбинация сил складывается вне всякой зависимости от воли и образа действий каких-либо Романовых. Никаких Романовых 3-го сего марта нет, как уже не было их ни вчера, 2-го, ни даже позавчера, 1-го, как их не будет никогда впредь. Низложение Николая само собой разумелось — до такой степени, что в эти дни никто из нас не заботился о практическом и формальном осуществлении этого «акта». Никакие усилия, никакая дипломатия, никакие козни «правого крыла» тут ничего не могли изменить ни на иоту. Тут было все ясно — с «манифестом» так же, как и без него.

Маленькую неясность, недоговоренность советская демократия сознательно допустила в общем вопросе о республике. Мы не ставили ребром этого вопроса — ни в требованиях, обращенных к правительству, ни даже в агитации среди масс. Причины и цели этого были изложены мною в первой книге. Но и то — такая позиция Исп. Комитета была возможна и допустима только потому, что республика была обеспечена: она была в наших руках. В этом также ни у кого не было сомнений, и это позволило нам допустить роскошь умолчания — в дипломатических целях.

Республика была настолько несомненна, что даже самые крайние из наличных советских элементов не считали нужным делать из нее серьезный боевой пункт, не развили на этой почве никакой демагогии и легко мирились с временной «неясностью» в этом вопросе, не придавая ей серьезного значения. Общие же представления советских кругов о положении дел с отречением Николая и с об'явлением республики — недурно резюмировал именитый большевистский сатирик и поэт, Демьян Бедный, в нижеследующем стихотворении, напечатанном в советских «Известиях» 4-го марта.

Он скромно писал:

Что Николай лишился места
Мы знали все без манифеста,
Но все ж, чтоб не было неясности,
Предать необходимо гласности
Для «кандидатов» всех ответ:
Что «места» также больше нет.

Так в сущности и было. Таковы были у нас, в «левом крыле», представления о судьбе Николая. Так мы полагали и так мы заявляли о республике; но мы совершенно не считали нужным и были несклонны немедленно давать на этом бой. Как известно из предыдущего, мы лишь предупреждали и пресекали насколько могли все то, что «предрешало» монархию.

Акт об отречении, полученный в Исп. Комитете, не стал ни предметом серьезного внимания, ни тем более предметом официального обсуждения. Это был никчемный клочек бумаги, имевший для нас разве беллетристический, но никак не политический интерес.

Другое дело — в кулуарах и всех прочих помещениях Таврического дворца, попрежнему перепол-

ненных разношерстной толпою. Там яростно бросались на этот клок бумаги и вырывали его друг у друга. То же, говорят, происходило и в городе. Обывательская масса видела в этом документе важное событие — даже на фоне всего происшедшего в эти дни. В нем видели существенный этап, быть может, перелом в развитии революции. А были и такие странные люди, группы, круги, может быть, слои, которые только тут разглядели революцию, только тут увидели непоправимую гибель старого привычного уклада и только тут связали происходящие «беспорядки» с какими-то радикальными переменами.

Да, обыватель глуп, — говаривал хитроумный Милюков, для которого ныне этот акт отречения, эта ликвидация царя Николая — были не только самоочевидной необходимостью, но и последним средством избежать этих «радикальных перемен».

* * *

Однако, в «правом крыле» и, в частности, тому же Милюкову этот акт доставил не мало хлопот и огорчений... Дело было, конечно, не в факте отречения: оставить Николая «на престоле» — это выходило за пределы даже беспримерно пылкой фантазии новоявленного лидера монархизма. Но ведь предполагалось, что «престол» перейдет к младенцу Алексею, а брат Михаил будет регентом: ведь Милюков еще накануне об'являл об этом всенародно, как о совершившемся факте. А оказалось, что Николай всемилостивейше уступил наследие брату Михаилу, «благословил» его «на вступление на пре-

стол Государства Российского» и «заповедал» ему «править делами государственными».

С точки зрения правых монархистов и вообще последовательного монархизма, такой оборот дела был в принципе вполне благоприятен. Ибо с больным ребенком и с неизбежными дворцовыми махинациями вышла бы не монархия, а одна передряга. Даже в надежде, что это как-нибудь «образуется», все же при таких условиях надо было ожидать, что при младенце Алексее образуется не действительная монархическая власть, а одна лишь «конституционная» фикция, за которую, как за пустую ширму, будут прятаться «левые» сторонники «демократизма» и «парламентаризма»... Михаил, достойный сын Александра III, — другое дело. Это недурной путь к действительному торжеству монархического принципа.

Но вопрос то заключался в том, какими способами удержать, какими силами усадить Михаила на «престоле»?.. Для Милюкова, Гучкова и Шульгина — Михаил был явно предпочтительнее Алексея. Все они были не из тех, от кого надо было защищать Михаила, а из тех, кто был готов защищать его и за страх, и за совесть. Но ведь защищать его им приходилось не только от всего «левого крыла», не только от советской демократии, не только от всего народа, от всей страны, плюс еще своя собственная левая прогрессивно-кадетская фронда, размякшая в обывательском революционном пафосе и энтузиазме: Михаила, не в пример Алексею, приходилось кроме того защищать от самых благонамеренных элементов, от самых компактных групп «прогрессивного блока», от самых «широких» слоев, от самых надежных верхов плутократии, которые ока-

зались не в меру заражены конституционными иллюзиями, которые — как никак — обожглись на молоке и ныне склонны дуть на воду.

Против Алексея была вся страна и вся левая до Керенского и, пожалуй, до Некрасова. А против Михаила оказались те же, плюс еще далеко вправо до... самого Родзянки. Вот тут то и были хлопоты и огорчения.

Хотя я и не пишу истории, но представляется очень любопытным процитировать свидетельство «историка» — Милюкова. В своей «Истории революции» он рассказывает, что перемена кандидата на царский престол «делала защиту конституционной монархии еще более трудной, ибо отпадал расчет на малолетство нового государя, составляющее естественный переход к укреплению строго конституционного строя. Те, кто уже согласился на Алексея, вовсе не обязаны были соглашаться на Михаила. И, когда около 3-х часов ночи на 3-е марта до членов правительства, остававшихся в Таврическом дворце, дошли первые слухи об отречении Николая II в пользу Михаила, все почувствовали, что этим вновь открыт вопрос о династии»...

Правда, Милюков признает, что дело династии было безнадежно или, по его мнению, стало почти безнадежно и до этого. В полном согласии с тем, что я описывал в первой книге «Записок», Милюков свидетельствует, что настроение петербургских народных масс к вечеру 2-го марта дало себя знать настолько, что ни на династию, ни на монархию почти не осталось надежды. А думский комитет так перепугался народного возбуждения, так перепугался за «господствующее» положение буржуазии в революции, что «молчаливо отрекся от своего преж-

него мнения» и выдал династию вместе с монархией «левому крылу». В полном согласии с моим изложением Милюков признает, что за предшествовавшие сутки он не малому научился и готов был признать дело династии проигранным еще до «рокового» решения Николая.

Но все-же Милюков, вместе с прочими верными монархистами, полагал, что последнее слово еще не сказано; и «роковое решение» Николая крайне осложняло дело. Были, конечно, люди — из его друзей, — которые этого не понимали. Более наивный и более топорный Гучков, даже после всего урока ночи на 2-е марта, вернувшись с «отречением» из Пскова, тут же на вокзале рискнул «сообщить» железнодорожным рабочим о «назначении» Михаила царем; и он воочию убедился, что из этого может выйти...

Итак, об'ективно дело было одинаково безнадежно; но суб'ективно для лидеров тогдашнего монархизма, Николай своим последним актом чрезвычайно испортил игру. Недаром Милюков-«историк» бросает злобную фразу об этой «последней услуге родине» последнего царя.

* * *

Рано утром, в день своего всенародного рождения, 3-го марта, получило новое правительство этот сюрприз. Министры собрались на совещание с думским комитетом и стали судить, что делать. По словам Милюкова, были сделаны попытки изменить акт отречения и впредь до этого не публиковать его. Напрасные старания!..

Несомненно, среди членов кабинета и его периферии были люди с «закружившейся головой», вообще изменившие монархии и весьма склонные к республике. Они — хотя бы и втайне, — были рады поводу покончить с собственными колебаниями и сорвать монархию. Но больше было таких, которые видели и боялись, что упорство в защите монархии и династии в новой комбинации, «когда отпадал расчет на малолетство нового государя», кончится для плутократии не добром. И вместе с новоявленными республиканцами эти «реальные политики» отстаивали окончательную сдачу монархических позиций.

Во главе антимонархистов шел, конечно, Керенский — действуя и пафосом и угрозами, играя на своем особом положении «полномочного представителя демократии» в министерстве, подчеркивая особый вес своих мнений. К Керенскому склонялись премьер Львов и большинство вчерашних монархистов с Родзянкой во главе. Все они настаивали на отказе от престола Михаила Романова. В меньшинстве оказалось только двое, Милюков и Гучков, предлагавшие утвердить царем Михаила и бить ему челом на этот счет... Вечная слава храбрости и прозорливости двух верных рыцарей народной свободы!

Было решено перетолковать с самим кандидатом, причем и большинству, и меньшинству было позволено склонять его и направо, и налево, — к облагодетельствованию России и путем принятия «наследия», и путем отказа от престола...

Сцена этого собеседования — не совсем похожая на сцену из Бориса Годунова — была описана во всех газетах. Но там не было приведено красот двух

речей Милюкова. Из коих вторая была произнесена при страстных протестах Керенского, опасавшегося, что соблазн «престола» окажется для Михаила Романова превыше не только соображений личной безопасности, но даже превыше красноречия Керенского и Родзянки.

В газетах не было сказано, что Милюков, именуя страну без монарха «утлой ладьей», убеждая создать крепкую власть плутократии над народом, — ссылался не больше, не меньше, как на потребности самих народных масс, непреодолимо тяготеющих к «привычному символу» монарха. Этого в газетах не было.

Да никто бы и не поверил газетам, что ученый лидер буржуазии, двое суток наблюдавший народное возмущение при малейшем намеке на Романовых, как будто бы хорошо научившийся за эти сутки «лавировать и отступать» под напором народного гнева, — мог снова так основательно и так мгновенно забыть всю эту недавнюю науку, мог снова, очертя голову, броситься из «реальной политики» в мир скверных фантазий, и мог говорить этот заведомый вздор в лицо своему собственному кандидату в обожаемые монархи. Будь это в газетах, им бы не поверили.

Не было в газетах и того, что своего нерешительного протеже Милюков убеждал, между прочим, еще таким аргументом:

— Есть полная возможность, — говорил он, — вне Петрограда собрать военную силу, необходимую для защиты великого князя...

Всякому ведь ясно, что это означает. Военная сила, собранная для защиты Романова от народа и оказавшаяся для этого достаточной, означала пол-

ный разгром революции. Она означала осуществление до-революционной программы Милюкова вместо революции. Эта программа сводилась не к чему иному, как к планам некоего (описанного Милюковым в «Истории») «кружка» — заменить Николая, Александру и Распутиных Михаилом с какой-нибудь новой кликой и с «куцой» «конституцией» для плутократии. О «каком-то Учредительном Собрании», о каком бы то ни было демократизме раньше «полного уничтожения германского милитаризма» и, надо думать, о самом существовании Советов — не могло быть речи в случае успеха мобилизации Милюковым вокруг Романова контр-революционных военных сил.

Этой мобилизацией Милюков манил Романова днем 3-го марта — того самого дня, когда он же, Милюков опубликовал в качестве своей новой программы декларацию, продиктованную ему Исполнительным Комитетом и принятую им накануне...

Нет, — никаких достаточных сил Милюков уже не мог мобилизовать вокруг Романова. Кандидата на престол он 3-го вводил в заблуждение так же, как 2-го — Испол. Комитет. Переворот был уже благополучно завершен; время для ликвидации было безвозвратно упущено, и еще не приспел срок для неудачливой корниловщины. Но... вечная слава смелости и прямоте достойного лидера отечественной плутократии, который собственноручно, в дополнение к газетам, описывает свои подвиги за эти дни. Подвигов этих — сомнений нет — не забудут ни современники, ни благодарное потомство...

Увы! Милюкова поддержал только один Гучков... Продолжение сцены с большой яркостью описано уже в газетах. Выслушав речи «за» и «против», Михаил Романов пожелал секретно посовещаться с

Львовым и Родзянкой. Родзянко было отказал, но Керенский настоял на этой приватной беседе: с Родзянкой можно, но «посторонних влияний» и «телефонных переговоров» — нельзя. Посовещавшись секретно с Родзянкой и Львовым, Михаил Романов об'явил, что он отказывается от предприятия, которое было бы по существу бесплодной и скандальной авантюрой. Все присутствующие, кроме Гучкова и Милюкова, испытали от этого большое удовольствие, — но промолчали о нем. Керенский же, в неудержимом порыве, не преминул вскочить на подмостки и продекламировал так:

— Ваше Высочество, вы благородный человек, и я всегда отныне буду заявлять это. Ваш поступок оценит история, он высокопатриотичен и обнаруживает вашу любовь к родине ...

Керенский был искренний, хороший человек. Он самоотверженно и деятельно любил и родину, и революцию, и социализм, и демократию. Злостный вздор говорит Милюков, что в этих словах Керенского ничего не «чувствовалось», кроме «страха за себя» (!). Но... не чувствуется ли уже в этом импульсе Керенского и в редакции его заявления такой размагниченный, ребячливый, не знающий чувства меры романтик-импрессионист, которому, как до звезды небесной, далеко до вождя революции и государства?..

* * *

С Романовыми было покончено формально.. Но в советских сферах и даже в Испол. Комитете обо всем вышеизложенном ничего не знали, как не знали и об обстоятельствах отречения Николая. Не

знали об этом чуть ли не до вечера, до выхода № 8 информационного листка «Известий», издававшихся репортерами «большой прессы». Там, над текстом отречения Николая красовался аншлаг об отказе Михаила — в редакции, достойной высококультурной и не менее демократической, бульварно-литературной «братии». «Великий князь Михаил Александрович отказался от своих прав на престол», — писали эти господа, всенародно наградившие его таковыми «правами».

Вероятно, Чхеидзе, хотя и был членом думского комитета, ничего не знал ни о посылке в Псков Гучкова и Шульгина, ни о предприятиях «правого крыла» по отношению к Михаилу. Но министр Керенский в этих последних предприятиях во всяком случае принимал самое деятельное участие, — будучи вместе с тем товарищем председателя Совета и членом Исполнительного Комитета.

Обо всем вышеизложенном ни тогда, 3-го марта, ни когда-либо после Керенский не счел за благо сообщить демократическим советским организациям, посланником которых в министерстве он себя именовал. Пусть он действовал тысячу раз правильно; пусть он владел даже даром предвидения и наверняка знал, чем увенчаются его действия. Но не любопытно ли, не характерно ли, не знаменательно ли для будущей судьбы Керенского, что от имени демократии он действовал без согласия и ведома ее полномочных органов с первых же шагов...

Дело о Романовых 3-го марта уже не грозило серьезными опасностями революции. Но все же, не дай Михаил Романов своего ответа, так восхитившего нового министра юстиции, пустись Романов на авантюру отстаивания «своих прав», прояви Гуч-

ков больше осмотрительности, обратись он вместо железнодорожников к юнкерам, организуй он небольшой сборный отряд, хотя бы и «вне Петрограда», — существенных осложнений с делом Романовых нам бы не миновать.

И все-же Керенский не подумал держать Исполн. Комитет в курсе хлопот и мероприятий новорожденного кабинета, не подумал предупредить «левое крыло» о возможных осложнениях и войти с ним в контакт на случай «боевых действий» и защиты действительных «прав» демократии... Керенский был демократ не демократический, чуждый ее методов, оторванный от ее корней. Дурную службу сослужили эти его свойства и революции, а пуще ему самому.

* * *

3-го марта не было заседания Совета. Накануне он уже выполнил основную задачу этих дней и первую политическую задачу революции: создал новую власть и определил ее программу.

Текущая работа не могла выполняться пленумом и легла на Исполнительный Комитет, который, имея в своем составе президиум Совета, естественно должен был намечать программу работ пленума и заготовлять проекты его решений. Недостаточное внимание Исполн. Комитета к этому делу и недостаточные возможности заниматься им, конечно, были бы источником разрыва или недостаточного контакта между Советом и его исполнительным органом.

Это могло иметь очень нежелательные последствия. На примере заседания 1-го марта, где независимо от Исполн. Комитета вырабатывались ос-

новы «Приказа № 1», мы уже видели, к чему в иных случаях могла бы привести такая параллельная «самостоятельная» работа Совета и Исполн. Комитета в разных углах.

Заваленные необходимой мелочной текущей работой, мы решили покончить с ежедневными заседаниями Совета и, в частности, не собирать его 3-го марта. К тому же Совет не только был «излишен», а члены его бесполезны в Таврическом дворце: они были крайне полезны на местах, в районах, на своих заводах. И информация, и контакт Совета с массами были необходимы, как хлеб насущный; выступления же «на местах» советских лидеров, особенно виднейших, были возможны лишь в единичных случаях. Было необходимо каждому члену Совета развить агитаторскую и организационную деятельность среди своих — soit dit — избирателей.

Неловко сказать, но грех утаить: была и еще причина отложить заседание Совета: Совет безмерно увеличивал толкотню, суету, беспорядок и неразбериху во дворце революции. Это сделалось, наконец, невыносимо для членов Исполн. Комитета, совершенно истрепанных и без того. Работа в условиях, когда переход из комнаты в другую требовал невероятных усилий и времени, стала нестерпимой. Надо было хоть денек «отдохнуть от Совета» и тысячных толп, привлекавшихся им во дворец. Это стало чувствоваться всеми, и многие выражали таковые неприличные чувства, недвусмысленно посылая к чорту этот перманентный «митинг» среди рабочих аппартаментов Исполнительного Комитета.

Заседание было назначено на субботу, 4-го, — причем было постановлено, что пятница будет посвящена членами Совета работе на заводах и каждого

в своих учреждениях... К субботе предполагалось очистить хоры «белого зала» от арестованных и приспособить думский зал — зал Милюкова, Шульгина и Пуришкевича — для заседаний Совета.

* * *

Около 7-ми час. вечера я отправился обедать к доктору Манухину. И только тут я узнал об обстоятельствах отречения Николая. Манухин в этот день видел Гучкова, от него узнал об его поездке с Шульгиным в Псков и рассказал о ней мне.

Вернувшись во Дворец, я застал его пустым, а все заседания законченными. В новой комнате Исполн. Комитета, среди беспорядка, в облаках табачного дыма, новый секретарь Капелинский собирал свои бумаги и приводил в порядок протоколы. А в коридоре у этой комнаты, близ входа в большой думский зал, в конце вереницы раскинутых здесь партийных лавочек с плакатами и литературой, совсем «на ходу», зачем то сидел в кресле измученный Чхеидзе и, не спеша, переговаривался с кем-то из товарищей, одетый, несмотря на жару, в шубу, положив ноги на придвинутый стул... Поблизости стояло несколько посторонних людей, рассматривавших знаменитого рабочего депутата. Чхеидзе благодушествовал после трудов в мирной приватной беседе и, несмотря на отчаянную усталость, имел какой-то удовлетворенный вид...

Об этом «папаше» революции, несмотря на вредные его позиции, я храню самые теплые воспоминания. Чхеидзе не был годен в пролетарские и партийные вожди, и он никого никогда и никуда не вел:

для этого у него не было ни малейших данных. Напротив, у него были все данные, чтобы вечно ходить на поводу, — иногда немного упираясь. И бывали случаи, когда его друзья заводили его в такие дебри политиканства, где ему было совсем не по себе, и в такие авантюры, которым он не только не сочувствовал, но против которых решительно протестовал, хотя и... не публично.

Но, превратив его в икону, его водили, ибо основательно упираться он не имел силы. А зайдя, куда не следует, он бесплодно протестовал, ибо этот «околопартийный человек», по выражению Ленина, был безупречно честным солдатом революции, душой и телом преданный демократии и рабочему движению.

Я подошел к беседующей группе — с намерением рассказать о подвигах Гучкова и Шульгина во Пскове и запросить и выразить свое негодование по поводу политики «правого крыла» в вопросе о монархии. Но я не успел этого сделать. Чхеидзе имел ко мне свое дело. Он подозвал меня к самому уху:

— Вот, Ник. Ник., я хотел с вами поговорить — чем надо озаботиться. Надо ведь нам издать обращение к европейскому пролетариату... От имени Совета и русской революции.

Конечно!.. Я, как и многие товарищи, уже думал об этом. Но было некогда... И сейчас мы не успели окончить этот разговор. Подбежал кто-то и потребовал «на минутку» собраться в заседание Исполнительного Комитета: есть «экстренное дело»...

* * *

Поплелся Чхеидзе, побежали разыскивать друг друга, и человек 12 через несколько минут собрались в комнате № 12, в первой зале заседаний Совета... Ярко освещенный зал был довольно пуст. Стол «покоем» был разобран, и отдельные его части были теперь расположены по стенам. Через несколько дней в этой комнате утвердилась надолго канцелярия Исполн. Комитета. Сейчас же в ней виднелись небольшие кучки людей, солдат и матросов. Человек двадцать сгрудились в конце комнаты около какого-то стола. Оказалось, что перед нами «важное» нововведение: впервые раздают горячий ужин. Люди расходились от «буфета» с тарелками, плошками, мисками супа.

Сесть было негде. Мы, Исп. Комитет, сбились в кучу в углу комнаты и открыли «заседание» стоя. Экстренное дело состояло в гельсингфорсских событиях.

Были получены известия, что в Гельсингфорсе в Балтийском флоте произошли события, подобные кронштадтским. Переворот, несмотря на упорство противодействие и провокацию чинов флота, администрации и жандармов, произошел легко и быстро; но именно благодаря всему этому сопровождался экцессами и насилиями над начальствующими лицами. Несколько флотских офицеров было убито, и многие — на кораблях и на суше — сидели под замком.

Конечно, буржуазные источники передали нам об этих экцессах в преувеличенном виде. Говорили о погромах и массовых избиениях. Экцессы эти были неприятны и опасны — тем более, что происходили они на фронте, можно сказать, в виду неприятеля. Намерений и возможностей германского

генерального штаба никто не знал и никак нельзя было ручаться, что немцы сугубо не используют заминки и неизбежной временной неурядицы в нашем флоте.

Во всяком случае, было необходимо принять меры к «урегулированию отношений» среди моряков и обеспечить защиту Петербурга с моря. Надо было послать известного матросам и авторитетного для них делегата. Мы недолго поговорили и послали Скобелева, прикомандировав к нему одного солдата и одного матроса — из членов Исп. Комитета.

Скобелев выехал немедленно, в тот же вечер. Вернувшись через два дня, он 6-го марта докладывал в Совете о своей поездке. Это была не «командировка», а триумф представителя советской демократии — и в Финляндии, среди финнов, и во флоте, среди его «нижних чинов»...

Совету еще предстояла упорная борьба за армию, которую было необходимо вырвать из-под влияния буржуазии, чтобы обеспечить полное торжество демократии. Но флот уже был завоеван; он был отныне и навсегда уже верен Совету. И здесь перед нами стояла иная задача: беречь флот не от буржуазии, а от анархистских эксцессов и от разгула стихий. Во всяком случае, в смысле сохранения относительной боеспособности, флот остался надежным до конца, — несмотря на все вопли «патриотов», делавших вид, что они находятся в панике от возможного пришествия немцев, на деле же бывших в ярости от фактического пришествия демократии...

Что же касается мартовских эксцессов в балтийском флоте, то они были неприятны и опасны. Но, судя по рассказу Скобелева о поведении гельсинг-

форсских и флотских властей, надо удивляться, что эти экцессы были так незначительны...

* * *

Раньше, чем разойтись из нашего угла, где «заседал» Исполн. Комитет, я сделал «внеочередное сообщение» и рассказал о поездке во Псков, за спиной Совета, делегатов думского комитета на предмет спасения династии и монархии. Повидимому, никто из членов Исполнительного Комитета ничего не знал об этом до сих пор.

Отдельные члены выражали свое возмущение обычным рыцарским поведением верховодов плутократии. Но особого значения этому делу никто не придавал; официального его обсуждения никто не потребовал, и мы ограничились совершенно приватными комплиментами по адресу «правого крыла».

И в самом деле, стоили ли большего внимания все эти хитроумные махинации и планы думских политиканов, когда политиканы уже явно превращались в беспомощное игралище, в неприглядные жертвы революционного процесса, а махинации уже пошли прахом, и планы рассеялись как дым...

Республика была фактически завоевана; и мы были бы непростительно близоруки, если бы приковали к ней внимание в ущерб иным очередным насущным нуждам момента.

* * *

Мы разошлись — до завтра, на покой. Я опять не пошел домой, на Карповку, и собирался ночевать к «градоначальнику» Никитскому. Но сначала я решил забежать в правое крыло — повидать Керенского или кого-нибудь из «министериабельных» людей и расспросить, что там сделано, что делается, что намерены и когда намерены сделать во исполнение об'явленной утром программы нового правительства... В частности, я хотел выяснить, как обстоит дело с амнистией.

Я шел в правое крыло неофициально, меня никто не делегировал. Но все же впредь до реализации зревших у меня планов организационного воздействия на деятельность правительства, планов, о которых речь будет дальше — впредь до этого я твердо решил не упускать из виду работу правого крыла и систематически оказывать «давление» на него в пределах выполнения им основных и простейших пунктов нашей программы.

Уже простая, легкая демонстрация «контроля» со стороны Исполн. Комитета могла в правом крыле для всех, имеющих глаза и уши, достаточно раз'яснить горизонты по части наших будущих взаимоотношений. Давление и «контроль» на первых же шагах, без всякой передышки, должны были продемонстрировать, что со своей программой, со своими «условиями» Исполнительный Комитет шутить не намерен, что намерения его, напротив, вполне серьезны; и если новое правительство видит в них «клочек бумаги», в частности, или рассчитывает на самодержавное положение вообще, то оно жестоко ошибается.

* * *

«Правое крыло» переехало за это время еще правее. Вход в министерские аппартаменты был теперь уже в самом конце корридора — чуть ли не первая дверь от входа во дворец с Таврической улицы.

Звание члена Исполнительного Комитета, сообщенное часовым-юнкерам и блестящему офицеру, подействовало достаточно хорошо. В одной из ближайших комнат, где стучала машинка, диктовались «бумаги», трещал телефон, — я застал довольно много разного рода людей. Половина была незнакомых и совершенно чужих, важного вида военных и штатских. Но другая половина состояла из хорошо знакомой дореволюционной сферы Керенского, из разных радикал-народников, литературно-педагогических н.-с.-ов и думских трудовиков.

Тут же сидела и жена Керенского, Ольга Львовна, совершенно измученная, в ожидании мужа. Она тоже дежурила здесь в целях «давления» и «контроля»: она контролировала, чтобы Керенский в течение дня хоть что-нибудь проглатывал на ходу, и сейчас собиралась оказать на него решительное давление, заставив его пойти домой и заснуть несколько часов. Сама, совершенно изнемогающая от бессонницы, она рассказала мне, что Керенский за дни революции еще не ложился в постель ни разу...

Был тут и Зензинов окончательно фигурировавший в роли приближенного лица и ад'ютанта нового министра юстиции. Вообще, тут было очень много «от Керенского». Он сильно заполонил министерские сферы и, как видно, энергично действовал и шумел среди них.

Мне сообщили, что сейчас он занят — на важном заседании с другими членами кабинета. Я разговорился с некоторыми из присутствующих, в ожида-

нии его, о том, о сем, о событиях в провинции и на фронте, о положении дел в левом и правом крыле.

Информация была как нельзя более благоприятна. Что же касается политики, то я вынес совершенно определенное впечатление: вся эта переферия Керенского, все эти радикальные и «народнические» обыватели совершенно не знали, что происходит у нас в советских кругах, и совершенно не интересовались этим.

Подобно просвещенной «литературной братии» из большой прессы, все эти люди носили в себе молчаливое убеждение, что Совет и демократия слишком маловесный фактор «высокой» политики; вся же политика сосредоточивается в «большом свете» блестящих эполет и блестящих министерских имен, избранных историей не из какого-нибудь чумазого, а из самого лучшего общества... Заблуждение, конечно, очень приятное, но в конце-концов не дешево оно стоило всем этим салонным демократам и сливкам интеллигенции!..

Насчет амнистии Зензинов или кто-то другой сообщили мне, что Керенский уже принял необходимые меры, разослал телеграммы, и во многих местах уже началось освобождение товарищей из тюрем и ссылки. Из ряда городов уже получены ответные телеграммы об исполнении приказа. Но в некоторых таких телеграммах имеются указания, что старое губернское начальство путается в категориях арестантов и встречает затруднения, требуя от министра юстиции более определенных распоряжений, детальных раз'яснений.

Вполне вероятно, что со стороны части местной администрации это было саботажем, — на почве

недоверия к совершившемуся перевороту и не полной определенности нового статуса: ведь телеграфный приказ Керенского, по всем данным, на местах был получен раньше, чем извещение об образовании нового министерства и список новых министров...

Телеграмма Керенского должна была бы быть подписана и премьером Львовым, и непонятно, почему это не было сделано. А затем, была небходима не телеграмма, а немедленный соответствующий декрет, который пара опытных «политических защитников» могла бы достаточно (для практических целей) разработать в два-три часа.

Об этом я считал необходимым поговорить с Керенским. Но он был «занят на важном совещании»...

Я достоверно не знаю, но предполагаю, что это было за совещание. Именно в это время, поздним вечером 3-го марта, от имени Временного Правительства была отправлена в Европу знаменитая радиотелеграмма «всем, всем, всем», извещающая официально весь мир о происшедшем в России перевороте.

Об этой радиотелеграмме мы, в Исполнительном Комитете, узнали только на следующий день, и нам предстоит основательно заняться ею в дальнейшем. Ибо важность этого акта и его влияние на «общественное мнение» Европы и, в частности, на «мнение» европейской демократии — совершенно неоспоримы.

Так же неоспоримо, что радио от 3-го марта своим появлением всецело обязано Милюкову и было делом его рук. Но на нем был штемпель всего кабинета, который, очевидно, принял и вероятно обсудил это первое свое выступление перед лицом Европы.

Вполне вероятно, что этому и было посвящено «важное совещание», на котором был занят Керенский в эти часы.

Последнее обстоятельство, впрочем, слишком несущественно, чтобы стоило делать на этот счет предположения, к тому же весьма скудно обоснованные. Но я делаю его потому, что мне хочется сделать тут еще одно предположение: обосновано оно, правда, еще меньше, но правдоподобия во всяком случае не лишено. А именно, — я склонен думать, что Керенский по вопросу об этом радио дал в совещании министров бой. И, быть может, он повлиял на редакцию радио, которое, вероятно, было составлено Милюковым в чертах, имеющих еще менее общего с действительностью...

Что Керенский в происходившем сейчас совещании вообще выдержал бой, в этом я почти не сомневаюсь — согласно нижеописанному контексту обстоятельств. Вопрос только в том, был ли бой по вопросу о радио, или на другой почве.

* * *

Керенский, наконец, вышел. Несколько человек бросилось к нему с разными делами. Несмотря на умоляющие глаза Ольги Львовны, я также решил задержать его на несколько минут.

Керенский был возбужден и, пожалуй, сердит. Но против обыкновения встретил меня ласково, с некоторым удовольствием и какими то — иногда случавшимися у нас — нотками интимности. Как будто на этом он срывал свою досаду на кого-то третьего... Я заговорил с ним об амнистии, о необходимости декрета и точных категорических распоряжений.

Керенский живо реагировал.

— Да, да... Где же Зарудный? Нашли его, наконец?.. — обратился он громко к присутствующим, при чем иные из его приближенных сделали вид, что они бросаются искать Зарудного. — Два дня не могу отыскать его!...

— Я приглашаю его в товарищи министра юстиции, — добавил Керенский, обращаясь ко мне.

Зарудный мог, конечно, через несколько часов представить надлежащий декрет об амнистии. Но, во-первых, Зарудный отклонил предложение Керенского. А во-вторых, очевидно, у Временного Правительства были еще «серьезные причины», заставившие опубликовать этот декрет только через неделю. Во всяком случае Керенский обещал немедленно принять меры, а затем заговорил о другом.

Он был уже в шубе, на ходу. Мы неудобно стояли у стены на проходе; тут выжидательно стояли какие-то люди. Но Керенскому, видно, хотелось высказаться и выложить какую-то «сверлящую» мысль... Он довольно неопределенно начал насчет борьбы на два фронта и насчет трудности ее, заговорил о затруднениях и препятствиях, которые ему приходится преодолевать в правительстве «в качестве социалиста», и довольно злобно отозвался о некоторых из своих коллег, которых он не назвал, но с которыми, видимо, имел столкновение. Затевать обстоятельный разговор на эту тему было явно невозможно. Я хотел ограничиться шуткой или «отпиской», хотя бы даже и довольно тривиальной:

— Разумеется, — сказал я, — министерское положение вообще хуже губернаторского, а ваше поло-

жение в министерстве Гучкова — тем более... Но подождите: через два месяца у нас будет министерство Керенского, — тогда будет иной разговор...

Керенский слушал серьезнее, чем следовало бы. Я не берусь восстановить его замечание в ответ на это; но за его смысл я ручаюсь. Проворчав по адресу каких-то своих коллег нечто вроде того, во-первых, что с ними нельзя иметь дела, а во-вторых, что они не особенно пригодны для управления революционной страной, — Керенский с сомнением, как бы про себя проговорил:

— Два месяца... Почему два месяца?.. Прекрасно справились бы и без таких людей...

Это было любопытно. Любопытен не только импрессионизм, заставлявший Керенского бросаться справа налево и обратно, ища и там, и здесь и опоры, и родной сферы. Такого рода качания в его трудном и по существу ложном положении были бы понятны и без импрессионизма. Но любопытен порыв Керенского, порыв в горние сферы «мессианства», проявившийся снова и появившийся на фоне столкновений и противодействий, встреченных в правом крыле...

Керенский, простояв три дня «во главе угла» величайшей революции, проскакав три дня по широкой столбовой дороге исторического бессмертия, — уже не хочет ждать два месяца! Высоко залетает этот шумный адвокат, этот бойкий лидер микроскопической группки третьеиюньских обывателей в Гос. Думе, этот патетический референт петербургских полулегальных кружков. Высоко залетает, — где-то суждено ему сесть?..

* * *

Я направился по Таврической и Суворовскому к Никитскому на Старый Невский... Я все еще не видел нового Петербурга, ни разу не побывав ни дома, ни где-либо в отдаленном районе от Таврического дворца. В городе сохранялось весьма строгое «военное положение» — в виде частых патрулей и постов новых, вооруженных с головы до ног милиционеров, останавливавших «подозрительных» и проверявших все без исключения автомобили...

Еще не были окончательно ликвидированы выступления «фараонов». Эксцессы и «несчастные случаи» еще имели место. Но беспорядков уже не было. Порядок и безопасность были установлены и обеспечены в столице.

Население организовалось не по часам, а по минутам. Новые «комиссариаты», районные советы — возникали как грибы и работали на перебой. Широко раскинулись в несколько дней социалистические партийные организации. На всех парах уже готовили муниципальную реформу, и среди старых «отцов города» измышляли, какие бы заплаты в экстренном порядке внести в старую организацию самоуправления соответственно новому «духу времени»...

Петербург встряхнулся — сверху до самых глубин и жил полной жизнью, дыша и функционируя всеми своими клетками. Здесь дела были в блестящем положении, и не могло быть сомнений, что этот организм легко справится со всеми болезнями — и на почве старой инфекции, и на почве своего революционного роста.

Опасности могли угрожать еще со стороны армии — не столько гарнизона, сколько со стороны пришлых частей, широким и непрерывным потоком

вливающихся в столицу. Об их агрессивных, контрреволюционных намерениях, конечно, уже не могло быть речи. Переворот был завершен и на фронте — легко и безболезненно, за исключением некоторых отдаленных частей, где до гроба преданные «его величеству» генералы еще целыми неделями скрывали от масс революцию и держали их почти в старом режиме. Но генералы эти, конечно, были совершенно бессильны, а их части совершенно безопасны.

Другое дело, дезорганизация и разложение полков, особенно прибывающих в столицу. Вот на этой почве, на почве разгула военщины, переполнявшей Петербург, в связи с недостатком хлеба, могла возникнуть опасность.

Правые элементы во всяком случае на всех перекрестках кричали об этом стихийном разгуле, об анархии, о полном разложении и распылении частей, не желающих ни кому-либо повиноваться, ни выполнять какие-либо обязанности. Наводнение же Петербурга войсками из всевозможных городов более или менее близкого тыла и фронта прямо трактовалось как переход города во власть военной стихии.

Конечно, все эти толки были обывательской паникой, если не провокацией, и оказались на деле сущим вздором. Но, в самом деле, где были силы, способные ввести в русло и обуздать солдатскую стихию, если бы она начала выходить из берегов? Авторитет Совета едва ли мог еще поспорить с голодом и ненавистью к офицерам, которых было еще некем заменить. Во всяком случае, здесь на лицо была опасность.

* * *

Но вот в конце Таврической я натолкнулся на густую человеческую массу, двигавшуюся с темного Суворовского проспекта. Это был большой воинский отряд в несколько тысяч человек, по меньшей мере полк в полном составе, а может быть даже и два полка.

Солдаты шли в полнейшем порядке, как ходили в строю при царе — по мостовой, выдерживая ряды, несмотря на темноту и явную усталость. Все были с винтовками; пулеметные ленты, надетые через плечо, придавали солдатам вид «полного вооружения». Очень многие тащили за собой на привязи какие-то небольшие плоские ящички, незнакомого мне доселе вида и неизвестного назначения.

Это была не толпа — ни в малейшей степени; это было самое настоящее, крепко организованное войско. Но ни одного офицера я с ними не заметил.

Живо помню охватившее меня чувство величайшего торжества и не меньшего «умиления». В этих строгих, усталых, сосредоточенных рядах никто не мог бы найти никаких признаков ни стихии, ни разгула, ни разложения. Это была не опасность, а опора революции...

Их, конечно, никто не привел в Петербург: они пришли сами. Зачем? Едва ли кто-нибудь из них мог обяснить это толком. Вот это, пожалуй, была стихия: стало быть так надо... Какие же силы держат их в рядах, не позволяют расползаться, заставляют кому-то повиноваться, чему-то подчиняться — при полном отсутствии и всякого начальства, и всякой возможности принуждения?

Я попытался спросить, что это за часть, откуда и куда она держит путь. Мне ответили на ходу, как бы оторванные от дела. Какая часть — не

помню; идут с железной дороги; откуда прибыли — тоже не помню, направляются на Охту, на ночлег... На Охту они шли не совсем по дороге. Очевидно, с ними не было надлежащих проводников, знающих столицу, и шли они, надо думать, более или менее на удачу... Да, все в порядке, все идет так прекрасно, как можно было только мечтать, но не ожидать на деле.

* * *

За ужином у Никитского мой пыл, впрочем, был несколько охлажден и мое настроение несколько испорчено.

«Градоначальник» только-что вернулся из своего почтенного учреждения и, мрачно сидя в мрачной, освещенной одной свечей, комнате (по случаю каких-то недоразумений с керосином), обменивался со своей нянькой впечатлениями дня. Я также имел старую привычку интервьюировать Анну Михайловну по части того, что говорят «в народе»; и нередко приходилось извлекать из этих интервью немало поучительного. Сейчас я также в первую очередь обратился к ней.

— Ну, что в хвостах? Меньше ли они стали? Больше ли стало порядка или без полиции теперь стало больше обиды?...

— Ну, хошь порядок все одно, — отвечала Анна Михайловна, — а хвосты ничего не меньше, а еще, должно, больше стали... Стоишь, как и прежде, по полдня...

— А что говорят?

— Что говорят! Говорят — слобода-слобода, а нам все равно ничего нет... Говорят — все одно,

богатые бедных обдирают, одни лавочники наживаются...

— Та-ак!..

Тот, кто некогда утверждал, что Москва сгорела от копеечной свечки, любил повторять в 1917 году, что революцию произвели бабы в хвостах. Любопытно, что же эти бабы, хотят произвести теперь? Чего зародыш — эти разговоры: реакции или будущего большевизма?

Никитский стал рассказывать о том, что делается в городе по сведениям «градоначальства», а также — что видел и слышал он в самом градоначальстве... Впечатления его были до крайности пессимистичны. Он уверял, что в городе «анархия идет полным ходом»; грабежи, убийства, безчинства продолжаются по прежнему; самочинные аресты распространились свыше всякой меры; надежной, дисциплинированной силы для водворения порядка нет никакой... По словам Никитского, помогает делу одна только воинская часть: «гвардейский флотский экипаж» (кажется, так, — но может быть я жестоко ошибаюсь в названии), откомандированный по этому случаю в распоряжение «общественного градоначальства», согласно требованию «градоначальника» Юревича...

Рассказ Никитского был, конечно, печален. В делах «анархии» и всяких эксцессов градоначальство было вполне компетентно: ибо, туда, на Гороховую 2, в прежний полицейский центр, продолжали стекаться все такого рода вести. Но именно потому это гороховое гнездо, имея дело по специальности с одними «несчастными случаями», готово и склонно было представить общее положение дел, как сплошной несчастный случай...

Никитский рассказывал пренеприятные вещи; но в конце концов, проведя с утра до вечера в атмосфере полицейской тревоги, воплей о помощи и борьбе с эксцессами, он естественно извращал общие перспективы и утратил надлежащие критерии. Теперь ясно: Никитскому, в ответ на его ворчанье, следовало сказать: ne supra crepidam; но тогда я готов был принять его выводы за чистую монету и заразиться его настроением...

Рассказывал Никитский, среди характерных мелочей жизни бывшего градоначальства и еще многое другое. Оказывается, вопрос о ценах и о борьбе с дороговизной в новых условиях — «низы» были готовы поставить не на шутку. К привычной власти — градоначальнику — явилась какая-то огромная «делегация» в сотню человек и требовала, чтобы были «приняты меры». Ее пришлось принять на улице, при чем конечно, получился огромный митинг, на котором Никитскому, как советскому делегату, более авторитетному для масс, пришлось бороться с голодной стихией посредством весьма ученой лекции о законах экономического развития. Из толпы отвечали по-просту — насчет жадности торговцев. Затем стороны разошлись, — обе не солоно хлебавши.

В градоначальстве денно и нощно перебывало множество офицеров, предлагавших свои услуги по водворению порядка. Были любопытные типы с самыми удивительными взглядами и представлениями о революции. Секретарь Никитского, командированный с ним из Совета, заведя беседу с компанией этих офицеров, коснулся войны и без обиняков раз'яснил им, что социалисты, сидящие в Совете, «против войны» вообще и, конечно, примут надлежащие

меры к тому, чтобы прекратить эту войну, в частности...

Результат получился весьма сомнительный, но крайне показательный. Брожение офицерских умов началось огромное. После крупных разговоров выяснилось, что все эти бравые патриоты действительно окажутся жестокими врагами Совета — больше того, совершенно определенно повернутся спиной к революции, если только Совет на самом деле говорит устами своего делегата в «градоначальстве»... Никитский едва разрядил атмосферу, замазывая и стирая углы.

Да, вопрос о войне еще не двинулся в Совете. А пора бы подумать о линиях меньшего сопротивления. Долго молчать нельзя: весь характер революции, перед лицом европейского пролетариата, будет извращен этим молчанием, — как впрочем будет затемнен и неудачным выступлением Совета. Выступления же этого ждут и точат на него зубы — и Сцилла и Харибда... Не связать ли первое такое выступление с воззванием к Европе, о котором говорили мы с Чхеидзе?

* * *

В градоначальство приводили длиннейшие вереницы «политических» арестантов. Не зная, куда девать их, ими наполнили Михайловский манеж, где разместили без особого комфорта. Были «замешанные», «подозрительные», «известные»; но, вообще говоря, добровольцы хватали всякую публику, которую почти в полном составе вскоре распустили по домам.

Огромное количество приводили охранников, — в частности, филеров. Никто не поверил бы, что их

такая масса была в столице. Кто-то в «градоначальстве» их допрашивал, как-то сортировал и что-то с ними делал... Жалкие и грязные существа держались, как им подобало. Униженно просили милости, ссылаясь на подневольную работу из-за куска хлеба, обещая клятвенно вперед, изменив царю и присяге, быть до гроба верными народу и революции... «Сознательный» гражданин среди огромной почтенной корпорации, нашелся только один. Но все же один «идейный» филер нашелся. На вопрос об отношении к революции, он, извиняясь и смущаясь, ответил:

— Не сочувствую... Служил верой и правдой. Очень предан был и любил государя императора. Изменить присяге не согласен...

Не знаю, что сделали с этим зловредным человеком, единственным из всех, который заслуживал доверия. Фамилию его забыл — либо я, либо Никитский.

* * *

Была уже глубокая ночь. Этой ночью по воздушным волнам летела радиотелеграмма с вестью по всему миру — о том, что следовало понимать под русской революцией, по мнению гражданина Милюкова.

---

2. ПЕРВЫЕ ШАГИ

Аграрные дела и проблемы. — Программа Громана и экономическая политика Совета. — «Комитет Орган. Нар. Хоз. и Труда». Экономика и политика в головах советских экономистов. — В Исп. Ком.: организационные отношения Совета и Правительства. — «До Учредит. Собрания». — «Регулирование» деятельности правительства. — «Давление», «контроль», проникновение в государственную машину. — Комиссия законодательных предположений. — «Советы министерств». — Министры и «пророки». — Комиссия «контакта». — Трудность проблемы «взаимоотношений». — Позиция большевиков. — Иногородняя Комиссия. — Вопрос о всероссийском советском центре. — Назначение Ник. Ник. Романова верховным главнокомандующим. — Чья инициатива? — Заявление Керенскаго. — Позиция Исп. Ком. — Парад войск. — У с.-р-ов. — Вопрос о ликвидации забастовки. — В чем трудность? — Радиотелеграмма Вр. Правительства. Ее текст. Ее смысл. Ее значение. — Писатель предполагает, редактор располагает. — Заседание Совета. — Доклад Громана. — «Возобновление работ» в Совете. — Похороны жертв революции. — «Под моим председательством». — Чхеидзе в роли большевика. — Провокаторы. — На Невском и дома.

Утром 4-го меня разыскивал «продовольственник» Франкорусский.

— Аграрное дело! — говорил он, прижав меня к углу в комнате № 10, — это по вашей части. У нас в продовольственной комиссии получаются известия, что во многих местах начались аграрные

беспорядки. Они резко отражаются на подвозе хлеба. Или во всяком случае м о г у т отразиться самым решительным образом. Необходимо принять меры. Надо от имени петербургского Совета разослать телеграммы на места с самым категорическим призывом не отвлекаться дележем земли от основной задачи — снабжения хлебом городов. Иначе — вы понимаете, что может произойти... для всей революции...

* * *

Продовольственная комиссия, действовавшая в это время, как нам известно, была образована путем слияния двух ее частей, — избранной Советом в его первом заседании, во главе с Громаном, и делегированной думским комитетом во главе с Шингаревым. Сведениям об аграрных беспорядках, исходящим из продовольственной комиссии, надо было доверять весьма условно.

Ее правая часть естественно могла «делать панику» на почве аграрных безпорядков — по тем же мотивам, по каким правые элементы муссировали всякие безпорядки вообще и играли на них. В основе этой «паники» лежали не столько интересы продовольствия, сколько интересы землевладения. И вполне естественно, что кадетские сферы всеми мерами стремились пресечь аграрную «анархию» — авансом, раньше, чем появились действительные ее признаки...

В самом деле, в 3—4 дня далекая хлебородная деревня едва ли успела встряхнуться до пределов массового аграрного движения. Да и время, сезон такового «движения» еще далеко не наступил. Поля

еще лежали под глубоким снегом, и делать с ними было нечего. Вполне вероятно, что устами продовольственника Франкорусского говорила в значительной степени аграрная паника правого крыла. Но все же это нисколько не мешало разослать на места телеграммы с призывом от имени Совета не увлекаться аграрными делами в ущерб продовольствию городов...

Однако, кому, на чье имя послать телеграммы?.. Посоветовавшись еще кое с кем, я послал в разные места, в губернские города, 5—7 телеграмм на имя Советов Рабочих Депутатов... Существуют ли таковые? На этот счет ни откуда, кроме Москвы, никаких сведений не было. Но советы должны существовать повсюду. Если еще нет, пусть организуются...

* * *

Сведения из продовольственной комиссии ставили перед нами впервые новую аграрную проблему. Было кристально ясно, что в недалеком будущем она не только встанет во весь рост, но неизбежно и неумолимо станет одним из «краеугольных камней» революции. Не нынче — завтра придется основательно думать о том, по какому руслу направить решение аграрной проблемы и какой взять при этом темп...

Характер и масштаб ставшей на очередь аграрной реформы никому в Совете не могли внушать сомнений. Лозунг «земля и воля» должен полностью воплотиться в революции. Мало того, он не может полностью не воплотиться в ней, «органически» слитый с судьбой и самой сущностью революции.

Если революция будет существовать вообще, то она победит и как аграрная революция. Банкротство же лозунга «земля — крестьянам» означает разгром революции.

Это надо понять немедленно. И в конечном счете нечего и пытаться «урезать» этот лозунг, ограничить или добиться «самоограничения» в этих требованиях крестьянства. Это дело совершенно безнадежное и явно контр-революционное...

Однако, это совсем не значит, что возможно распустить аграрную стихию или покорно следовать за ней. И еще меньше это значит, что Совету надлежит немедленно выбросить те аграрные лозунги, которые неизбежно придется ему выбросить в недалеком будущем.

Как именно наиболее рационально, легко и безболезненно провести аграрную реформу — невиданного в истории масштаба — это было еще не ясно. До этого мысли советских людей еще не доходили: было некогда. Но было совершенно бесспорно для всех тогдашних руководителей Совета: форсировать аграрную проблему в ближайшие недели вредно, и в этом нет ни малейшей нужды.

* * *

В корридоре у «белого зала» встречается В. Г. Громан.

— Я хотел с вами поговорить, — заявляет он в связи с моим рассказом о посланных мною телеграммах. — Вы чуть ли не единственный экономист в Исполнительном Комитете... Во всяком случае, человек, принимающий экономику близко к сердцу и способный быть проводником экономических идей

и программы демократии в теперешнем составе Испол. Комитета.

Действительно, в университетские годы, до того, как московская охранка с третьего курса перевела меня в Архангельскую губ., я не мало занимался экономическими вопросами и чуть ли даже не собирался в профессора. Да и после университета я посвятил экономическим, статистическим, особенно аграрным работам немало времени и изрядное количество печатных листов.

Но это было довольно давно. В последние годы я отошел от экономики к публицистике, журналистике, политике; перезабыл, что знал, и чувствовал себя в этих сферах совершенным диллетантом... Так что почтенная московская деятельница, Е. Д. Кускова, попала не в бровь, а прямо в глаз, когда однажды, представляя меня кому-то из своих знакомых, сказала:

— Это Суханов — бывший экономист...

Однако, в Испол. Комитете с экономистами дело обстояло действительно плохо, и Громан тоже был не далек от истины.

— Я еще при самодержавии, уже давно, — продолжал он, — разработал план одного учреждения. Я называю его Комитетом Организации Народного Хозяйства и Труда. Я исхожу из того, что война в России, так же как и во всей Европе, грозит народному хозяйству полным крахом, если оно будет продолжать свое существование на прежних частно-правовых, капиталистических основаниях, без вмешательства и регулирования государством... Сейчас в Петербурге хлеба всего на три или четыре дня. Положение с продовольствием катастрофическое. И поправиться оно не может без самых реши-

тельных мер, без немедленной хлебной монополии. Хлебную же монополию невозможно провести изолированно, без урегулирования всех остальных отраслей хозяйства, без установления твердых цен на продукты индустрии. Поэтому, нам необходимо немедленно действовать так, как в Европе: государству взять на себя регулирование цен, то-есть фактическую организацию народного хозяйства, а тем самым и распределение рабочей силы, оставшейся от всех бесконечных наборов. Для разработки всего этого необходимо особое обширное учреждение. И вот я предлагаю создать Комитет Организации Нар. Хоз. и Труда... Раньше эта идея была у нас непригодна, и мне с ней практически было делать нечего. Но теперь наступило время, когда осуществить ее необходимо — при содействии и участии Исп. Комитета.

Прогуливаясь со мною по людному шумному коридору, Громан развивал мне ту самую теорию «регулирования промышленности», которая в скором времени легла в основу всей экономической программы демократии. Громан был в огромной степени ее автором и был лидером вскоре образовавшейся компактной и дружной группы советских экономистов, работавших в «экономическом отделе» Исп. Комитета.

Эти советские экономисты почти не появлялись на общеполитическом горизонте и не участвовали в заседаниях Исп. Ком., не будучи его членами. Но все же их роль в советской политике была довольно значительна, а главное — очень любопытна.

Она оставила целую характерную полосу во взаимоотношениях между Советом и Временным Правительством — сначала цензовым, а затем «коалицион-

ным». С деятельностью «экономического отдела» мы будем сталкиваться на всем протяжении двух первых периодов революции; и будем наблюдать, как наши советские ученые, стоя в подавляющем своем большинстве на правом социалистическом фланге (а иногда, пожалуй, и за его пределами), но сталкиваясь вместе с тем, по роду своей деятельности, *с реальными потребностями страны и государства, — неуклонно тянули влево советскую политику*.

Впадая в трагическое противоречие сами с собой, сделавшись в скором времени предметом неистовой травли буржуазной печати, предметом постоянного подозрения присяжных советских соглашателей и капитуляторов во главе с Церетели; сделав свой «экономический отдел», а с ними и всю экономическую политику, об'ектом бойкота со стороны правящего советского большинства, — наши экономисты, если и не дали революции ровно ничего реального, то начертали все же интересную и характерную страницу в ее истории...

Я также числился в этих экономистах и был членом экономического отдела, но фактически почти не работал в нем. Впрочем, я «служил» советской экономике другим способом. Я систематически выступал в ее защиту в Исп. Комитете, добивался постановки в порядок дня бойкотируемых экономических вопросов и всячески сражался за интересы экономического отдела...

Практически экономика отсюда явно ничего не выигрывала, — ибо моя «большевистская» защита только компрометировала ее в глазах министериабельного большинства. Но с нашими экономическими сферами я тем не менее до конца сохранял «дру-

жественные отношения»; расценивался ими по прежнему в качестве «проводника» экономических идей в политику; а на исходе коалиции, когда каждый здравомыслящий человек должен был испытывать отчаяние перед надвигающимся крахом, — на исходе коалиции, я, кажется, достиг с лидерами экономистов и некоторого политического контакта.

Само собой разумеется, что я крайне заинтересовался планами Громана, очень высоко расценил их удельный вес в общем «контексте» революции и обещал со своей стороны полное посильное содействие этим планам в Исполнительном Комитете.

Организация народного хозяйства, «регулирование промышленности», экономическая программа демократии — это была вторая проблема, не столь коренная и не столь острая, как аграрная, но все же неизбежная и настоятельно выдвигаемая ходом революции...

Каждый встречный «советский» человек, завидя Громана, считал долгом подбежать к нему и спросить, как обстоит дело с продовольствием. Громан отвечал, что положение самое отчаянное. Он сообщал, что в Петербурге хлеба на три-четыре дня, а на колесах всего 16 милл. пуд. тогда, как нужно 100 милл... Вопрошавшие верили столь авторитетному «продовольственнику» и легко заражались его мрачным настроением.

Но Громан вообще нестерпимый пессимист и импрессионист. Если бы все его мнения и предсказания оправдывались хоть в десятой доле — от России, от ее государства и населения за протекшие два с половиной года революции не осталось бы ни малейшего следа... В частности, каким крезовым богатством, каким умопомрачительным благополу-

чием показались бы теперь, летом 1919 г., эти 16 мил. пуд. хлеба на колесах!

* * *

Собирался на заседание Испол. Комитет. На очереди стояли два фундаментальных вопроса, — один принципиальный, другой практический. Последний касался общего возобновления работ и был пока отложен. К первому приступили в начале заседания. Он был поставлен по моей инициативе, хотя и разрешен далеко не в согласии с моими предположениями.

Впрочем, в моей собственной голове вопрос этот далеко не принял кристально ясных форм, несмотря на то, что я, среди кутерьмы и неразберихи, раздумывал о нем в течение последних суток, а может быть и двух. Вопрос касался будущих организационных отношений Совета и Временного Правительства. Раздумывал я же примерно так.

Завершенным ныне мартовским переворотом революция не кончается, а начинается. Поставленное к власти национал-либеральное правительство есть не итог и не цель, а заведомо короткий этап революции, средство ее закрепления и развития в руках демократии. Это поистине тот мавр, который должен сделать, который — судя по началу — сделает свое дело и может после этого уйти. Должен уйти...

В перспективе виднеется Учредительное Собрание. Я весьма сомневался в его скором созыве. Помню, кому-то я говорил, что это — дай Бог к Рождеству. Главное же дело — я не был никогда энтузиастом и

фетишистом этого — не только учреждения, но, можно сказать, центрального пункта, цитадели, оплота, знамени революции.

Я смутно представляю себе, почему это было так. Но хорошо помню, что на протяжении ближайших месяцев, я, несмотря даже на добросовестные старания, не мог пробудить в себе тот внутренний пиетет к Учредительному Собранию, который со всех сторон, в очень больших дозах, я видел вокруг себя. Помню, как убийственно и, быть может, непростительно равнодушен я был к разным комиссиям — при Совете и при Временном Правительстве, а также и к заседаниям Испол. Комитета, где с той или иной стороны рассматривался вопрос об Учредительном Собрании... Решительно ничего дурного *я о нем не думал, — Боже сохрани! Но почему-*то ни в чем таком, что непосредственно его касалось, не принимал активного участия.

Итак, Учредительное Собрание было во всяком случае за горами. И никоим образом нельзя было ждать его с углублением, с продвижением вперед революции, с постановкой на очередь ее основных, ее обязательных проблем.

Ведь никому же не приходило, например, в голову, что дело заключения мира может ждать Учредительного Собрания! Ведь никто же не допускал, и, меньше всего, сами предприниматели, что после совершившегося переворота могут остаться прежними условия труда!.. Захват демократией дальнейших позиций, конечно, должен быть поставлен в зависимость не от каких бы то ни было формальных «моментов», а исключительно от соотношения сил. Ибо у нас — революция. Революция, начавшаяся в эпоху краха мирового капитализма... На-

ступление, поэтому, должно продолжаться по возможности немедленно, по возможности без перерыва, без передышки, — лишь в пределах необходимой осторожности, действительной конечной выгоды, здравого смысла. До Учредительного Собрания и до всяких перемен во Вр. Правительстве, если таковые суждены, надо вырвать у имущих классов все, что возможно; и надо наполнить совершенный политический переворот максимальным социальным содержанием.

Что надо для этого? Или — как лучше всего этого достигнуть?.. Для этого надо прежде всего диктовать Вр. Правительству очередные демократические реформы. А для этого надо разрабатывать их в соответствующих советских учреждениях. Для разработки их надо создать надлежащий аппарат — компетентный, разветвленный, оборудованный, гибкий.

Такою мне представлялась «комиссия законодательных предположений». В составе этого учреждения я мыслил, во-первых, огромное число социалистических специалистов по различным отраслям социальной политики, экономики и права; во-вторых, я мыслил в его составе длинный ряд подкомиссий или секций по тем же отраслям. Это учреждение должно для Совета разрабатывать «декретопроекты» (именно с таким термином я оперировал в данном заседании). Совет же в лице Испол. Комитета или в лице организованных «советских» масс, путем переговоров или иных способов «давления», смотря по обстоятельствам, — должен добиваться проведения соответствующих декретов и мер Врем. Правительством.

Это одна сторона дела. Из всего сказанного в этой плоскости вытекало создание «комиссии законода-

тельных предположений» при Исп. Комитете в Таврическом дворце...

Но есть и другая сторона медали. Во-первых, почему только «диктовать» Вр. Правительству то, что разрабатывает и признает необходимым Совет? Почему также не исправлять и не опротестовывать, в случае нужды, то, что разработает и признает необходимым само Вр. Правительство. Почему не «продвигать», не «давить», не «регулировать» систематически, находясь у самого источника?..

Во-вторых, все это совершенно неразрывно связано с контролем деятельности цензового правительства — в ее целом и в отдельных частях.

Фактически общая кон'юнктура революции, ее смысл, характер и цели — как они понимались мною — конечно, предполагали такой контроль и требовали его: о том, чтобы предоставить цензовому, ультра-империалистскому правительству делать безконтрольно, что ему заблагорассудится, хотя бы и в пределах нашего первоначального соглашения, — об этом не могло быть и речи. С правовой же, с формальной стороны для такого контроля не могло быть никаких препятствий и добросовестных возражений. Ибо решительно ни из чего не было видно, почему бы царское правительство, формально все же органиченное, — хотя бы и столыпинской думой, — должно было смениться вполне абсолютистским и бесконтрольным кабинетом цензовиков...

Конечно, этот кабинет был готов стать под чей угодно контроль, но не под контроль Совета; он с восторгом был готов признать свою «ответственность» перед Родзянкой и думским комитетом; но

понятно — он должен был отмахиваться и открещиваться, как от нечистой силы, от контроля со стороны «частных учреждений» вроде представительного органа большинства населения, органа всей демократии, — органа, полномочий и авторитета которого не оспаривал среди демократии никто.

Но — это была точка зрения «правого крыла» или Мариинского дворца; у нас в левом крыле Таврического — должна была быть и была другая. Поэтому контроль, как и «регулирование», нам надлежало поставить в порядок дня.

В-третьих, было естественно и было нужно не только «регулировать» и «контролировать» на корню, у самого источника; было естественно и было нужно — опять таки, согласно всему «контексту» революции, — проникнуть во все поры государственного управления, постепенно взять в свои руки органическую работу государства или, по крайне мере, приобрести в ней преобладающее значение.

Правда, именно силами демократии в огромной степени и раньше обслуживался государственный аппарат, не говоря уже о местном самоуправлении. Но сейчас было естественно и было нужно максимально усилить этот количественный «захват» государственной машины, а вместе с тем — видоизменить качество и характер этого процесса: сейчас надо было действовать в этом направлении под специфическим углом изучения, овладения и перерождения аппарата. Это, было нужно с одной стороны, в целях коренной «демократизации» методов управления во всех средних, мелких и мельчайших центрах, с другой же — в целях подготовки к буду-

щему переходу государства в руки демократии, к будущему об'единению в ее руках всей органической работы и политической власти.

В результате всего этого Совету было невозможно ограничиться работой только в своей (демократической) сфере, а в частности только в своем Таврическом дворце. Было необходимо этому «классовому» учреждению раскинуть свою сеть и на государственную организацию, а в частности и в особенности заложить свои ячейки в недрах правительства. Дело, стало быть не могло ограничиться созданием «комиссии законодательных предположений» при Исполнительном Комитете. Надлежало вместе с тем создать организационную связь между Советом и Вр. Правительством, протянуть нити и щупальцы Совета к центральным и местным органам власти.

Так стоял вопрос. Теперь — как он решался?

* * *

Какие организационные формы должна принять в ее ц е л о м эта система демократического «контроля», «давления» и «овладения» — об этом я, как следует, подумать не успел, никакого плана не разработал и никакой конкретной мысли в заседании по этому поводу не высказал. Но что касается организационных взаимоотношений с ц е н т р а л ь н ы м правительством, то дело рисовалось мне в таком виде.

Я полагал, что в каждом из министерств должен (прежним порядком) существовать «совет министерства»; он должен быть составлен из делегатов Совета Р. и С. Д. в большинстве своем или, по край-

ней мере, на паритетных началах; «совет министерства» не обладает никакими формальными правами по части «регулирования» деятельности министра и «обуздания» его; вместе с тем советские делегаты, как и пославший их Совет, не несут никакой политической ответственности за деятельность членов кабинета. Но советские делегаты в министерствах, прежде всего, находятся в курсе дел своего ведомства, а затем «советуют министру» те или иные мероприятия, проводя их в качестве официальных мнений «совета министерства».

Председатели советских делегаций в отдельных министерствах об'единяют деятельность всех этих делегаций, образуя особую коллегию. Коллегия же эта, находясь — с одной стороны — в тесном и непрерывном контакте с Исп. Комитетом, стоит — с другой стороны — лицом к лицу с советом министров, входя в непосредственные с ним сношения и применяя «давление» и «контроль» в сфере общей политики кабинета...

Такого рода схему организационно-технических взаимоотношений между Советом и Врем. Правительством я излагал и защищал в заседании Исп. Комитета 4-го марта. Разумеется, я развивал ее на почве вышеописанных политических предпосылок...

Еще и до этого заседания, «вентилируя» и оформляя мои соображения на этот счет, я рассказывал мои планы направо и налево. Помню, еще накануне я рассказывал их за обедом у Манухина. Манухин же рассказал всю эту схему своему соседу, Д. С. Мережковскому, жившему в том же доме. Мережковнемедленно перевел ее на свой божественный язык и резюмировал:

— Так... Это значит будет, как в ветхом завете.

Были цари, а при них пророки... У нас будут министры, а при них пророки из Совета.

Мережковский был «тип» правого крыла, но не политик. Внутреннего смысла всех этих советских «поползновений» он, конечно, не ухватывал и последствий их не оценивал. Столкнись он с ними несколько месяцев спустя, он, по прежнему их не понимая, — рвал и метал бы, стенал и плакал бы в патриотическом ужасе, в отчаянии и злобе, — уже потому одному, что они исходят из Таврического дворца. Тогда, через несколько месяцев, уже ничего доброго не могло быть из Назарета, — одно лишь ужасное, нестерпимое, богомерзкое! Но сейчас, в дни весны, все эти планы слушались с предвзятым благодушием и даже умилением. Так хороши, так свежи были розы!..

* * *

Однако, как бы то ни было, из всех этих моих планов ничего не вышло, точнее, остались одни огрызки... «Комиссия законодательных предположений» была, правда, избрана — в том же заседании 4-го марта. И состав ее был более многочисленным, чем обыкновенно — в расчете на ее будущее разделение на подкомиссии или секции. В нее вошли, кроме меня, Брамсон, Громан, Павлович-Красиков, Соколов, Стеклов, Франкорусский и Чайковский: как видим, все это были, более или менее культурные силы Испол. Комитета и его специалисты. Но в дальнейшей практике революции это учреждение все же оказалось совершенно мертворожденным и ничем не ознаменовало себя.

В № 7 официальных «Известий» сообщение об избрании этой комиссии сопровождается таким приме-

чанием: «при этой комиссии постановлено образовать подкомиссии для разработки программы экономических требований в интересах трудящихся, в частности, подкомиссии аграрную, рабочую и т. д.» Но на деле, насколько я знаю, не было ни подкомиссий, ни каких-либо «декретопроектов», получивших осязательные формы... Кто-то, в частности Брамсон, что-то делал, но не больше. Идея оказалась нежизненной.

Революция пошла своим ходом и потребовала борьбы в более широком масштабе, на более широком фронте, — не оставив заметного места для «органической» законодательной работы демократии в эпоху цензового правительства. Я лично, первый, не сделал ровно ничего в этой сфере, и, помню, только отмахивался в ответ на попреки Брамсона, говорившего, что мне, заварившему кашу, особенно неприлично отлынивать от ее расхлебывания.

Что касается «пророков» и делегаций при министерствах, то в заседании 4-го числа вся эта схема была — не отвергнута, но была «смазана». Делегации были признаны, не не оформлены. Конкретных очертаний эта идея не получила. И никакого соответствующего проекта не было в дальнейшем ни разработано, ни пред'явлено Врем. Правительству.

Было только признано, что такого рода внедрение в органическую работу министерства весьма желательно; но осуществлялось это впоследствии от случая к случаю, в отдельных министерствах и, конечно, без должного соблюдения в министерских коллегиях принципа паритета или демократического большинства.

Дальше, от случая к случаю, мне придется упоми-

нать об этих севетских делегациях в различных официальных учреждениях. Не в пример работе «комиссии законодательных предположений», делегациями такого рода я всегда очень интересовался, всегда отстаивал необходимость посылки их и их интенсивной деятельности не только в министерствах, но и в других учреждениях. При этом инициатива посылки делегаций и всякого рода представительства нередко исходила не от Испол. Комитета, а именно от правительственных и общественных организаций, стремившихся, во-первых, соблюсти декорум, во-вторых, осенить свои труды авторитетом советской демократии, и, в-третьих, в практических итогах этих трудов — пойти навстречу неизбежному.

* * *

Такая, примерно, судьба постигла идею «регулирования» советской демократией органической работы правительства. Та же в общем судьба была суждена идее «давления» и «контроля».

В заседании эта сторона дела встретила гораздо больше сочувствия и интереса — именно слева. Но вместо планомерной деятельности «пророков» и возглавляемых ими развитых коллективов во всех министерствах, — дело ограничилось созданием одной небольшой комиссии при Исполн. Комитете, которой и были поручены все сношения с кабинетом министров, весь «контроль» и все «давление» на него (по крайней мере, мирными дипломатическими средствами).

Конечно, это был паллиатив. Это было небрежное и никчемное решение вопроса. И никакого зна-

чения в революции оно не имело, особенно при избранном составе этой комиссии и общем характере ее деятельности... Характерно хотя бы то, что уже почти в самом начале, еще до сформирования мелкобуржуазно-оппортунистского большинства в Исп. Комитете — эта комиссия «давления» и «контроля» была окрещена (по-моему, Скобелевым) «комиссией контакта». Это было совершенно незаконно; и я лично ни одной минуты так не представлял себе задач этой комиссии.

Название, конечно, нисколько не повлияло на ее деятельность и не изменило ее. Но деятельность этой комиссии, конечно, была не чем иным, как извращением первоначальной идеи. «Комиссия контакта» получила в революции довольно широкую известность, и мне много много раз придется рассказывать о ней в дальнейших записках.

Не в пример делегациям при министерствах, создание «контактной комиссии» было формально постановлено. Но, отвлеченный другими делами, Исполн. Комитет отложил самые выборы, которые были произведены только 7-го марта. Я все же приведу сейчас целиком резолюцию Исп. Ком., связанную с этими выборами. Она недурно комментирует и резюмирует весь «контекст» предпосылок и итогов, идей и их воплощения, задач и их решения — в только что описанной сфере.

Составлялась эта резолюция, насколько помню, общими усилиями, тут же, в заседании 7-го марта. Озаглавлена же она: «Об отношении Совета Р. и С. Д. к правительству». Резолюция гласит:

«1. Исходя из решения Совета Раб. и Солд. Деп. и намеченной им линии общей политики, Исполнительный Комитет С. Р. и С. Д. признает необходимым принять неотложные меры в целях

осведомления Совета о намерениях правительства, осведомления последнего о требованиях революционного народа — воздействия на правительство для удовлетворения этих требований и непрерывнаго контроля над их осуществлением. — 2. Для осуществления этого постановления Исполнительный Комитет С. Р. и С. Д. избирает делегацию в составе следующих товарищей: Скобелева, Стеклова, Суханова, Филипповского и Чхеидзе и поручает им немедленно войти в сношение с Временным Правительством для соответствующих переговоров. — 3. По выяснении результата этих переговоров, избрать делегацию для установления постоянных сношений с Советом министров, с отдельными министерствами и ведомствами в целях проведения требований революционного народа».

Так, через пень колоду, вокруг да около ходила и нащупывала молодая советская мысль пути революции...

* * *

Почему ничего путного не вышло из моих вышеописанных планов?... Конечно, прежде всего по причине отсутствия надлежащих представлений о действительном дальнейшем ходе революции. Затем по причине сложности общей «ситуации». Но дело не обошлось без того, чтобы сложность общей ситуации не запутала и общего процесса обсуждения.

Обсуждение было нестройно и довольно бестолково. Мы видели, что самая резолюция была наименована «об отношении Совета и Вр. Правительства». И одно это уже указывает на трудность и сложность постановки вопроса.

На всем протяжении революции, до самого октября, приходилось сталкиваться с проблемой «отношений» между официальной властью и Советами. Но эта проблема всегда мыслилась и трактовалась, как проблема политическая, где речь идет об от-

ношениях политических. Между тем, в данном случае вопрос был поставлен об организационно-технических взаимоотношениях (и при том весьма сложных).

Понятно, что это, среди еще не остывшей битвы за новый строй, не могло быть ухвачено и рафинировано всеми участниками заседания. И обсуждение расплылось, распылилось, перепуталось. Целый ряд ораторов заговорил именно о политических отношениях, о «поддержке Вр. Правительства», о «постольку-поскольку», об отрицательном отношении к цензовикам и т. д. Говорилось, стало быть, о том, что возвращало нас к 1-му марта, к тому заседанию Исп. Ком., на котором вырабатывались «условия» для будущего кабинета и программа для него.

Этот вопрос, хотя бы на самый ближайший, на самый короткий период, казалось бы, был уже решен. Но слишком новы были все эти проблемы, слишком сложна и нова ситуация, и не было ничего удивительного в том, что Исп. Ком. несколько топтался и путался в этом круге вопросов.

В частности, я хорошо помню выступление большевика Молотова. Этот официальный представитель партии только теперь спохватился и только тут впервые заговорил о необходимости перехода всей политической власти в руки демократии. Конкретного он ничего не предлагал, но он выдвинул именно этот принцип — вместо контроля над цензовым правительством и вместо «давления» на него...

Однако, оказалось, что Молотов говорил не только как «потусторонний», «безответственный» критик, который может критиковать, сам ничего не делая и ничего реального не предлагая; Молотов, кроме того, как оказалось, вовсе не выражал мнения

своей партии, по крайней мере ее наличных руководящих сфер.

В самом деле, на следующий день, из газет мы узнали, что накануне, 3-го марта, петербургский комитет большевиков принял по вопросу о власти такую резолюцию: «П. К. Р. С. Д. Р. П., считаясь с резолюцией о Врем. Правительстве, принятой Советом Раб. и Солд. Деп., заявляет, что не противодействует власти Временного Правительства постольку, поскольку действия его соответствуют интересам пролетариата и широких демократических масс народа, и об'являет о своем решении вести самую беспощадную борьбу против всяких попыток Временного Правительства восстановить в какой бы то ни было форме монархический образ правления».

Такова была в то время официальная позиция большевиков. Но фронда перед правыми социалистами и демагогия перед массами — это тоже была их «официальная позиция». И Молотов не упустил случая пустить то и другое в ход, когда о власти решения никакого не принималось, когда практического значения его слова не имели, а так и остались — фрондой и демагогией...

Но так или иначе, вопрос о «контроле», «давлении» и «регулировании» был всем этим осложнен, был запутан и изрядно потрепан в своем практическом решении.

* * *

В том же заседании 4-го марта была избрана еще и «иногородняя комиссия», куда я тоже вошел и где я тоже не работал. Впрочем, главные работники этой важной комиссии пришли потом, во главе с

Богдановым и еще некоторыми видными меньшевиками... Задачей этой комиссии было создание «контакта» между столичным и провинциальными советами или соответствующими им организациями. А в частности, и пожалуй, в особенности, на иногороднюю комиссию была возложена рассылка советских комиссаров по тылу и фронту — на предмет пропаганды, агитации и организации масс...

Петербургскому Совету на первых порах революции, волей судеб, силою вещей, пришлось играть роль полномочного всероссийского демократического центра. Полномочия и авторитет Петербурга оспаривали правительственные сферы, играя — по жирондистски — на «локальном» значении петербургского Совета и на идее узурпации им всероссийского мнения демократии.

Но сама демократия в лице местных Советов, беспрекословно подчинившись воле судеб, считаясь с непреложностью силы вещей — сполна признала петербургский Совет выразителем ее собственной воли. Все Советы равнялись по петербургскому в своей политике. В первые месяцы революции, до самого всероссийского с'езда в июне, мне неизвестно ни одного случая конфликта, несогласия, протеста со стороны какого бы то ни было провинциального или фронтового Совета против действий столичного лидера...

Но все же ясно, что такое положение было противоестественно, и не было никаких оснований, не было возможности увековечивать его. Не нынче-завтра надо было поставить вопрос о всероссийском об'единении Советов и создании постоянного советского органа с непререкаемыми формальными полномочиями творить политику от имени всей демо-

кратии. В том же заседании я высказал это по поводу избрания «иногородней комиссии».

Конечно!.. Это разумеется само собой... Но никакого практического решения на этот счет тогда принято не было.

* * *

Сообщили о назначении Николая Николаевича Романова верховным главнокомандующим... Официальному обсуждению, насколько помню, это подвергнуто не было; но сенсацию в Исп. Комитете все же вызвало значительную.

Кто именно «назначил» этого господина, кажется, было не выяснено. Может быть, это сделал перед отречением, царь — по своей воле и инициативе. Может быть, это был хитроумный шаг со стороны цензовиков, подсунувших обреченному царю не только Львова, но и дядю-главнокомандующего.

Но со Львовым это были пустяки: это в конце концов была наивность — продемонстрировать после всего происшедшего, что новое правительство вовсе не создано революцией, а «законный монарх» поручил Львову «составить кабинет»... С главнокомандующим-Романовым дело было далеко не так невинно. Ибо невинному младенцу понятно, что если бы только армия в ы н е с л а такого «законного» главнокомандующего, если бы малейшая фактическая возможность командовать действительно оказалась в руках Ник. Ник. Романова, — то вся история нашей революции не имела бы ничего общего с пережитым нами «недавним прошлым»...

Но, быть может, бывший царь в этом деле совершенно не причем, и не играл в нем ни активной, ни пассивной роли? Может быть, в «назначении» Рома-

нова главнокомандующим проявилась в «чистом виде» добрая (!) воля и инициатива самих цензовиков?..

Конечно, в этом случае такого рода попытка была бы еще более «некрасива»: ибо в этом случае назначение Романова даже не носило компромисса со старыми царскими силами, а было уже прямым подкопом под совершившуюся революцию. Но, повидимому, именно так и было.

К тому же инициативу правительствующих цензовиков в этом деле косвенно подтвердил Керенский, заявивший в Москве, на публичный вопрос, так: «Не беспокойтесь, нами будут приняты меры, чтобы этого не было, но если бы это случилось, я бы в Совете министров не остался»... Последнее было бы, конечно, очень утешительно; но заявление все же свидетельствует, что уже после окончательного завершения переворота, после полного устранения династии, вопрос о назначении Романова во главе армии возник именно среди членов кабинета и был практически поставлен, и при том — в серьез.

Это было скандально! Керенский правильно оценил это предательское покушение на революцию, отбросившее в сторону самые элементарные приличия. Ведь даже в плутократической Франции члены старых династий, по закону, не имеют права занимать никаких офицерских должностей, не говоря уже о высших постах в армии... А здесь, еще в процессе ликвидации царизма, «революционный», поставленный народом «кабинет» пытался отдать армию, а с нею всю реальную силу в руки злейшего представителя еще не добитой династии!..

Мы не поставили этого вопроса на формальное немедленное обсуждение. Но, может быть, именно

потому, что всем было ясно до очевидности: дела так оставить нельзя, преступную попытку надо ликвидировать. И мы все знали: ликвидировать ее, вместе со всеми Романовыми, ровно ничего не стоит. Покушение было с негодными средствами. Жалкие потуги на реставрацию мудрых политиков, тонких дипломатом «правого крыла» ровно ни к чему доброму не приведут — кроме, быть может, их собственной преждевременной ликвидации.

* * *

Надо было посетить «правое крыло» — расспросить об амнистии и о других делах... Но правое крыло дворца почти опустело: министры разошлись по своим министерствам и начали «органическую работу» в прежних министерских помещениях, с прежними штатами, «признавшими» и революцию, и новых, невиданных «министров в пиджаках» — мгновенно, без сучка и задоринки... Для «высокой» же политики был отведен Мариинский дворец, где заседал Совет Министров.

В правом крыле я, кроме обычных «думских» людей, застал Некрасова. Он без особого сочувствия смотрел на мое «вмешательство» в разные дела, но открыто не высказывал это, стараясь только переводить разговор и адресовать свои собственные запросы к левому крылу...

Некрасов сообщил, между прочим, что образована верховная следственная комиссия для расследования преступлений царских сановников (ныне переведенных в Петропавловку из министерского павильона). С своей стороны, новый министр путей сообщения по-прежнему интересовался тем, что делается у нас

для регулирования по-прежнему скверных отношений между солдатами и офицерами. Расспрашивал он также о нашем отношении к ликвидации забастовки и к выходу газет...

У нас 4-го марта было составлено новое воззвание к солдатам о примирении с офицерами, — но кто, когда писал и принимал его, совершенно не знаю. Только сейчас, когда пишу эти строки, я вижу это воззвание в «Известиях» от 5-го марта. Может быть, это дело прошло у меня за спиной, когда я был занят другим; может быть я основательно забыл об этом. Не мудрено. Дел было все больше. Организация ширилась и разветвлялась. И охватить не только все, но важнейшее становилось невозможным, а описать теперь — тем более. Я и не стану пытаться не только «свести» максимум фактов, но и выбрать из них важнейшие. Пусть не будет системы. Пусть важное, забытое и уничтоженное, будет поглощено мелочами, оставшимися в памяти, пропущенными через мои руки. Повторяю снова и снова: я не пишу истории...

* * *

На воскресенье, 5-го марта, был назначен парад войск на Марсовом Поле. Назначен был Гучковым и вообще правым крылом — не в пример тому, что предлагал мне Станкевич двумя днями раньше. Парад, назначенный нашим Исп. Комитетом, казался мне, если и любопытным, то малоосуществимым — по соображениям высокой политики...

Сейчас в правом крыле «думские» люди и офицеры говорили о том, что завтрашний парад отменяется. Любопытно: он оказался неосуществимым и для

гг. министров — явно по тем же соображениям. Парад войск так и не был ни разу осуществлен Вр. Правительством, ни теперь, ни после — чуть ли не до самого Троцкого!

Еще бы! Ведь нельзя же устраивать смотр — при участии министров, генералов и... Совета. Но устроить его без Совета — также нельзя.

* * *

Встречаю в толпе левейшего с.-ра, Александровича. Он бежит с областной конференции с.-р-ов... Эсеры чуть ли не опережают в организации других: это уже вторая их конференция. 2-го состоялась общегородская, и ее резолюции были подтверждены областной.

У нас с Александровичем — «контакт» на почве интернационализма и оппозиции «оборончеству». Меня, старого «анти-марксистского» аграрника и сторонника эсеровской аграрной программы в общих ее основах, — Александрович давно и непрерывно зовет покончить с моим вне-фракционным положением и вступить в эсеровскую партию. Я посмеиваюсь и отмахиваюсь от этих любезностей.

Сейчас Александрович зовет меня в свою партию уже не как теоретика и работника вообще, но как интернационалиста в особенности. Я нужен ему для борьбы с правой, интеллигентско-оборонческо-обывательской частью партии и для роли одного из лидеров эсеровского рабочего интернационализма. Я же считаю эту борьбу с демократической буржуазией внутри эсеровской партии заведомо проигранной, а судьбу эсеровского интернационализма совершенно безнадежной: такова естественная природа,

таков законный удел мелкобуржуазной партии, которой уготована будущность блестящая, но не социалистическая.

Я посмеиваюсь и спрашиваю Александровича:

— Ну, что у вас на конференции?

Александрович сердито сверкает глазами:

— Конечно, они нагнали чорт знает кого!.. Но только — рабочие все с нами. У них одни господа, одна буржуазия!..

— А велико ли большинство?

— Да что! У нас всего несколько человек на областной конференции. На городской — там они чуть не провалились! Вот погодите, — прибавляет Александрович, показывая в пространство кулак, — Чернов приедет — он покажет этим.

Я посмеиваюсь. Александрович бежит дальше, сердито сверкая глазами.

На эсеровских конференциях вдруг нахлынувшие «в социализм» бывшие люди, размагниченные, но «любящие народ» интеллигенты и межеумки-обыватели — действительно показали себя. Даже Милюкову они доставили несколько приятных минут, а его «Истории» — весьма приятную цитату с благодарными комментариями к ней. Очень характерна резолюция областной конференции.

Авансы, сделанные Вр. Правительству, здесь можно оставить в стороне. Но, пожалуй, небезинтересно упомянуть о следующих высоко лояльных перлах резолюции. Во-первых за деятельностью Вр. Правительства «необходим контроль», и поэтому... «конференция приветствует вступление А. Ф. Керенского во Вр. Правительство в звании министра юстиции, как защитника интересов народа и его свободы и выражает свое полное сочувствие линии его по-

ведения в дни революции, вызванной правильным пониманием условий момента»...

Расчувствовавшиеся эсеровские политики здесь так увлеклись, что новой конференции пришлось их в скором времени «дезавуировать» — категорическим запрещением вступать членам партии в цензовый кабинет. На эту точку зрения эсеровская партия стала официально, отказав Керенскому в министерском мандате, как 2-го марта сделал и Совет. Лишь незадолго до ликвидации первого кабинета, эсеры, как партия, согласились на этот мандат... Конференция же 4-го марта не только об'явила министерский портфель Керенского продуктом его «государственной мудрости», но и не умудрилась изыскать никаких способов контроля над министерством, кроме государственной мудрости Керенского.

Второй пункт таков: «поддерживая Вр. Правительство в осуществлении его политической программы, конференция считает необходимым вести энергичную работу по подготовке Учр. Собрания пропагандою республиканского образа правления и всех социально-политических требований, выставленных в программе минимум партии с.-р.». Вот этот пункт и вызвал удовольствие Милюкова.

Еще бы! «Пропагандируйте» республику, сделайте милость, пропагандируйте до самого Учр. Собрания — пока Гучков с Милюковым будут действовать, сажая на престол одного Романова за другим — то «легально», как Михаила, то окольным путем, как Ник. Ник.! Пропагандируйте и насчет прочих «социально-политических требований», но только не требуйте ничего до Учр. Собрания.

Мартовские эсеры с готовностью заявили: да будет так. А Милюков посвятил им благожелательный

абзац в своей «Истории». Хорошо, что в руководящем органе демократии, в Исп. Комитете, эти элементы в то время не имели еще никакой силы и почти не были заметны там. Иначе не было бы никакой надежды, что первый Исп. Комитет за первые шаги российской революции заслужит хоть сколько-нибудь благожелательную строку в действительной истории великих событий.

* *
*

Вопрос о возобновлении работ, помнится, не вызвал в Исп. Ком. ни страстей, ни долгих дебатов. Было очевидно: победа окончательно достигнута, и дальнейшая забастовка есть не что иное, как бессмысленная разруха и без того разрушенных производительных сил. Вместе с тем создана и упрочена необходимая боевая организация в лице Совета; и при малейшей опасности, при малейшей к тому нужде — теперь петербургский пролетариат (а, пожалуй, и гарнизон) может быть мобилизован в 2—3 часа для какого угодно боевого выступления.

Существо дела было ясно для всех и не вызвало разногласий. Только большевики «из приличия», «из принципа», из-за того, что noblesse oblige, — считали долгом что-то проворчать насчет контр-революционности буржуазии, перед которой не пристало складывать оружия. Но это было нечленораздельно и не серьезно. Немедленная ликвидация забастовки и переход на новое «мирное» положение — были предрешены в Исп. Комитете.

Но трудность заключалась не здесь. Вопрос был в том, удастся ли немедленно ликвидировать забастовку и как это сделать? Среди масс было довольно сильное течение — не становиться на работу.

С одной стороны, слишком сильна была встряска, слишком велико еще было возбуждение, слишком подавляющи были впечатления от небывалого грандиозного праздника, выбившего массы из колеи, — чтобы легко и так быстро перейти от него к рабочим будням, к привычному распорядку, к заводскому ярму. Столичный пролетариат только что зажил новой, общественной жизнью, связался сотнями тысяч нитей со всевозможными новыми организациями, успел выработать себе новый «уклад», от которого приходилось отрываться для старого полузабытого станка.

С другой стороны, — спрашивается, на каких условиях возобновлять работы? — Вопрос этот был на языке у каждого «массовика». На старых? Но это же нелепо и почти немыслимо. После гигантского прыжка из царского азиатского рабства в царство свободы, невиданной в европейской «демократической» цивилизации, — это было трудненько переварить не только одному «массовику». Новых же условий труда еще не было. Они еще никем не созданы. И в частности, их не мог предложить Совет с его Исп. Комитетом, — не мог предложить, призывая к ликвидации забастовки.

Потому-то это дело, ясное по существу, было довольно щекотливым и требовало большой осторожности.

Авторитет Совета рос не по дням, а по часам; но здесь впервые государственные интересы, общие интересы революции, взятые Советом под защиту, сталкивались с самыми непосредственными, «шкурными» интересами масс. Советскому авторитету предстояло серьезное испытание. Ему приходилось идти на риск.

Но еще раньше, чем авторитет Совета будет испытан перед массами, приходилось испытать авторитет Исп. Комитета перед Советом. Дело могло принять дурной оборот еще в этой инстанции. Надо было действовать со всем вниманием и подготовиться, как должно. Надо было пустить в ход тяжелую артиллерию: было решено, что докладчиком по этому делу будет Чхеидзе.

Совет должен был собраться к вечеру в тот же день — в только что очищенном от арестантов «белом» думском зале. Но было уже поздно; не было заготовлено резолюции, да и докладчик — Чхеидзе был не прочь отложить вопрос. Решили посвятить ему особое заседание — завтра, в воскресенье, 5-го, и выступить там во всеоружии, с артиллерийской подготовкой.

Сегодня отвели заседание для Громана с его «насущнейшим» и «грозным» продовольственным вопросом, а также для некоторых иных дел, о которых отчасти мне напоминают жалкие протоколы «Известий», а отчасти безсильны напомнить, как я ни напрягаю память. Ну, и пусть эти дела останутся в протоколах или ждут своих «историков»...

* * *

Заседание Исп. Комитета разлагалось с каждой минутой и было на исходе. По смежному коридору текли густые массы «рабочих и солдатских депутатов» на заседание Совета в «белый» зал... В комнату Исп. Комитета вбегает возбужденный Н. Д. Соколов, где-то порхавший в последние сутки вне Таврического дворца. В руках у Соколова текст достославной радиотелеграммы Милюкова. Соколов с ним направляется ко мне.

— Посмотрите, что они сообщают Европе! Ведь это возмутительно!.. Это полное искажение действительности... Везде получится самое превратное представление о характере революции!.. Необходимо сейчас же написать опровержение — протест против фальсификации и изложение действительных событий. Вкратце... Сделайте это сейчас же, и пусть завтра же появится в «Известиях»...

Я впервые взял радио. Да, поистине — если это называется «дипломатическим искусством», то почему не назвать элегантным английским ключиком дюжий воровской лом?.. Конечно, возмущение Соколова имело все законные основания. Но дело не в том, чтобы негодовать и «плакать», а в том, чтобы «понять», насколько это вредно для дела революции и немедленно принять меры.

Милюков, который в своей «Истории» ведет изложение в духе своей радиотелеграммы, не хочет все же привести ее текст и даже упомянуть об этом дебюте. Не будучи историком, не могу со своей стороны воздержаться от воспроизведения нижеследующих выдержек из документа. Я цитирую радио по «Рус. Слову» от 4-го марта 1917 г. и допускаю, что некоторые явные несообразности обязаны своим происхождением порче первоначального текста.

«28-го февраля вечером (?!) председатель Гос. Думы получил высочайший указ об отсрочке заседаний до апреля, — так начинает Милюков свою историю и свое толкование переворота перед лицом Европы. — В тот же день (?!) утром нижние чины Волынского и Литовского полков, вышедши, на улицу, устроили ряд демонстраций в пользу Гос. Думы. К вечеру этого же дня волнение в войсках

и населении приняло крайне тревожные размеры... Исп. Комитет Гос. Думы решил принять на себя функции исполнительной власти. В ближайшие дни волнения перебросились из столицы на окрестности, и опасность приняла угрожающие размеры. С целью предупреждения полной анархии Вр. Правительство (?) взяло на себя восстановление военной власти... В короткий срок... комитету (Гос. Думы) и группировавшимся около него войскам петроградского гарнизона удалось мало-по-малу приостановить уличные эксцессы и восстановить порядок... Серьезное осложнение создалось под'емом настроения и энергичной деятельностью новых политических организаций. Вр. Комитету, однако, удалось вступить в сношения с наиболее влиятельной из них — Советом Рабочих Депутатов. Рабочее население Петрограда проявило большое политическое благоразумие и, поняв опасность, грозившую столице и стране, в ночь на 2-е марта говорило с Вр. Комитетом Гос. Думы как относительно предполагаемого направления реформ и политической деятельности последнего (?), так и относительно собственной поддержки будущего правительства...» И далее, заканчивая информационную часть депеши, Милюков сообщает об образовании кабинета, об его программе и об его составе.

Итак, конечно, весь сыр-бор загорелся из-за роспуска Гос. Думы, которую манифестация полков защитила от нападения царской клики. Власть, стало быть, «выпала» из рук старого правительства и была взята думским комитетом, «в пользу» которого демонстрировали полки. Ну, а великий всенародный шквал, начавшийся 24-го февраля, — шквал, в котором Дума вместе с царским прави-

тельством играла роль жалкого обломка крушения? Ведь именно это и была революция — ее сущность, определившая ее свойства и последствия...

Пустяки! «народные волнения» только мешали думским «старейшинам» и только осложняли положение. Но... этим «старейшинам» удалось так же хорошо справиться с народом, как и со старой властью. В короткий срок они восстановили военную власть, приостановили уличные эксцессы и водворили порядок. Осложение же на почве деятельности демократических организаций было не менее легко парализовано после того, как старейшины поймали на удочку Сов. Раб. Депутатов...

Словом, картина кристально ясна — да ведает ее весь мир, да торжествуют западные старейшины, да поучается благоразумию и послушанию европейский пролетариат, да намотают себе на ус петербургские события и доблестные союзники, и коварно-дерзкий враг. В Петербурге крупною буржуазией, вкупе и влюбе с военными властями, совершен национал-либеральный переворот, и тем предотвращена революция.

Правда, несколько подозрительно звучит программа нового правительства, где упоминается «какое-то Учр. Собрание». Но ведь на каких основах и когда оно будет созвано, об этом ничего, ничего не ведомо... Главное же, что вполне успокоительно должно воздействовать на «Европу», это отсутствие самомалейших указаний на судьбу старого испытанного «друга Франции» (слова Рибо) — Николая II. В самом деле, разве можно допустить, чтобы в случае существенных перемен в этой судьбе, о них умолчала бы официальная телеграмма? И разве можно допустить, что при отсутствии перемен в

судьбе династии, могли произойти существенные перемены в политике и в строе российского государства?..

Ясно: банкиры, промышленники и либеральные помещики, опираясь на поддержку войск, справившись с рабочими при помощи военной силы и широких обещаний, сменили власть камарильи на свое собственное министерство — под знаменем государственности, порядка и войны до полной победы...

Последнее комментировалось и подтверждалось прямыми красноречивыми заявлениями в заключительных строках радиотелеграммы. «Энтузиазм настроения (населения?) по поводу совершающегося дает полную уверенность не только в сохранении, но и в громадном увеличении силы национального сопротивления. К тому же приводят (?) и выпущенные комитетом Гос. Думы заявления, в которых постоянно упоминается о твердом решении народного (?) и национального (?) представительства сделать все усилия и принести все жертвы для достижения решительной победы над врагом».

Н. Д. Соколов был возмущен всей этой карикатурой на революцию, начертанной, как видим, безо всякого стеснения. Но он, оборонец, видя искажение действительности, все же естественно не направлял ни своего негодования в частности, ни своего внимания вообще — на ту основную точку, какой определялось главное значение, определялся главный вред всего этого документа. Между тем, мне, интернационалисту, значение милюковской телеграммы представилось прежде всего и больше всего в его специфическом свете — в свете проблемы войны и мира.

Правда, по вопросам будущей внешней политики,

Милюков выражался, как видим, не особенно категорически и не особенно широковещательно: он был связан не только своим положеніем в «Европе», но и своими положением в России; и на глазах Совета, после воспринятых внушений, он не решался форсировать свое «дарданелльство», не решался идти дальше «самого необходимого». Милюков, как видим, предпочитал ссылаться на косвенные и сомнительные признаки — на энтузиазм и на какие то апокрифические заявления думского комитета, о каких то «решениях» какого то «народного представительства».

Но и сказанного на тему о «войне до конца» было за глаза достаточно. Да если бы специально об этом не было сказано ни слова, то свыше меры довольно и остального. И мое беспокойство, прежде всего и больше всего, вызывалось именно тем, что милюковская телеграмма вместо благовеста демократического возрождения великой страны, наносила тяжкий удар европейскому пролетариату, борющемуся за мир.

Вот как, в согласии с радио Милюкова, представил в английском парламенте нашу революцию Ллойд-Джордж, один из главных заправил человекоистребления 1914—1918 гг. Он говорил 7-го марта; «Мы уверены, что российские события, делающие эпоху в мировой истории и являющиеся прежде всего торжеством принципов, ради которых мы начали войну, не повлекут за собой каких-либо замешательств или затруднений для ведения войны, но обусловят еще более тесное и плодотворное сотрудничество русского народа с его союзниками в деле борьбы за свободу человечества»... Откликнулось именно так, как аукнулось. А германская империа-

листская пресса, основываясь на том же радио, выбивалась из сил, чтобы перед массами изнемогавшего германского народа выдать нашу революцию не больше, не меньше, как за английскую интригу.

Народы Европы уже третий год задыхались в атмосфере позорной братоубийственной бойни. Классовое пролетарское самосознание, вместе с усталостью, голодом и всеми тяготами войны — все больше подтачивало и разлагало твердыни атавизма, шовинизма, гипноза и обывательской тупости. Атмосфера должна была разрядиться; классовая борьба против душителей человечества и культуры должна была быть развязана; дух классовой пролетарской солидарности должен был получить толчек и охватить раззоренные, истекавшие кровью народы.

Все это могла сделать русская революция, как первый взрыв народного гнева против нестерпимого гнета войны. Миллионы сердец цивилизованного мира должны были забиться при вести о великой народной победе в далекой России; миллионы глаз должны были обратиться на восток, с трепетом и надеждой, что поднявшаяся оттуда заря рассеет кровавый туман над Европой.

И вот, вместо того, русская революция предстала перед лицом всего мира в свете российского национал-шовинизма и «дарданеллской» идеологии Милюкова. Она предстала не как протест против войны, а как протест против неумелого ее ведения старой властью. Она предстала не как удар войне, не как непоправимая брешь в скале империализма, а как могучий фактор его усиления и укрепления боевых сил буржуазии.

Правда, силою обстоятельств русская революция

не могла явиться миру с пальмовой ветвью и показать ему, что она явилась на смерть войне, на защиту народов от неслыханного истребления: для этого на смену царизма должна была бы прийти народная власть, а не цензовый «кабинет» Милюкова. Но наша революция, *во всяком случае, могла* бы представиться Европе не в национал-империалистском наряде, могла бы при первом своем появлении не бряцать старым, грязным, окровавленным оружием перед глазами западно-европейских масс.

Это было хуже, чем ничего. Недоумение, разочарование, отчаяние — должны были быть результатом таких известий из России в среде западных социалистических меньшинств, собиравших в то время силы, строивших ряды для аттаки империализма...

Вспоминал я и о нашей эмигрантской армии, состоящей из интернационалистов за ничтожными печальными исключениями. Когда дойдут до них подлинные вести о революции? Что угодно будет сообщить о ней военным цензорам «великих демократий»? Быть может, правящие наймиты сферы Запада и их газеты оставят одни обрывки даже и от милюковского радио, дабы тем удобнее снабдить их любыми правдивыми комментариями?.. Что будут судить и рядить в своем невольном неведении учителя и вожди российского рабочего движения о роли, о позициях пролетарских групп столицы, о делах и планах своих учеников?.. Было необходимо реагировать на радио немедленно и по возможности внушительно.

— Напишите сейчас же заявление в «Известия»! — настаивал Н. Д. Соколов.

Я тут же, во время заседания, в комнате № 10 принялся за дело, написал полу-опровержение, полустатью строк в 80—100 и тут же отдал редактору «Известий», Стеклову — с комментариями насчет того, как важно для демократии немедленно, энергично и всенародно реагировать *на выступление* Вр. Правительства. Стеклов «принял к сведению» и, положив бумагу в карман, обещал напечатать в ближайшем же номере.

Увы, на-завтра статья не появилась — ни написанная мною, ни другая на ту же тему. Об'яснения Стеклова были неопределенны и сопровождались обещаниями поправить дело на следующий день. Но на следующий день было то же самое. Снова нечленораздельные об'яснения, которые ничего не об'ясняли, и снова обещания, которые препятствовали мне в формальном порядке аппеллировать к Исп. Комитету.

В результате, так статья напечатана и не была. И ни один официальный орган демократии — ни устно, ни печатно — публично не реагировал на акт Вр. Правительства, обезчестивший нашу революцию, при самом ее рождении, перед лицом демократической Европы...

Об'яснения и обещания Стеклова продолжались до тех пор, пока печатное опровержение устарелой телеграммы не стало уже нелепым анахронизмом... Но тогда уже стал на очередь иной способ реакции на злостное искажение лица революции политиками правого крыла: демократия, в лице Совета, сама должна была представить революцию Европе. На очередь стало советское воззвание «ко всем народам мира»...

* * *

Собирался Совет... Возобновление работ пришлось поставить в порядок дня, но его отложили к концу заседания, и по возможности на завтра: ибо у Исп. Ком. не было ни доклада, ни готовой резолюции. Центром заседания было решено сделать доклад Громана по «самому насущному и грозному вопросу революции» — о продовольствии. Были и другие дела, способные составить большие дни в парламентах органической эпохи, но прошедшие сейчас в советском пленуме в качестве «вермишели»...

Думский «белый зал» был, конечно, полон свыше меры. На 700—800 думских депутатских мест приходилось тысячи полторы «рабочих и солдатских депутатов». Были забиты проходы и верхние ложи для дипломатов и Гос. Совета, — где я заночевал в первую ночь революции... Зал, не столь художественный, сколь корректный, еще не видывал подобного нашествия и подобного людского состава, «обломка улицы» в своих стенах. Но с этих пор именно это была самая «настоящая» картина заседаний в «белом зале». Среди чистеньких (довольно канцелярского вида) пюпитров уже валялись окурки. Сидели в шубах и шапках. Кое-где мелькали винтовки и прочее вооружение солдат. Черные штатско-рабочие фигуры же начинали тонуть среди серых шинелей. Но не мало виднелось и интеллигентских физиономий. Хлеборобов-ходоков еще не было видно; но попадались фигуры из особого мира — не то лавочников, не то дворников, к которым, однако, по прежнему не лежало сердце.. Над всей этой массой тел, заполнявших без разбора и бывшие министерские скамьи, и места думских чиновников, и ложу журналистов, — густо висели клубы дыма и тянулись наверх к переполненным хорам. Над вы-

сокой председательской трибуной, прилепившейся к голой стене-экрану, зияла пустая рама царского портрета с неубранной короной наверху. Мягко и ярко светили с потолка невидимые электрические лампочки...

Было довольно торжественно. В новом месте, в «упорядоченной», не манежной обстановке, заседадание решил открыть сам Чхеидзе и как-то начал сначала:

— Товарищи, рабочие и солдаты! — закричал он во всю силу своих могучих легких. — Приветствую вас от имени восставшего народа и восставшей армии! Да здравствует всемирный пролетариат!.. Уже поднято знамя международного пролетариата. Да здравствует этот час!

Чхеидзе был, очевидно, не прочь, вызвав под'ем и некоторый энтузиазм собрания, позолотить предстоящую пилюлю приглашения на работы. Редко появляясь до сих пор в Совете, он завоевывал себе популярность и авторитет — перед завтрашним докладом.

— Это место, — продолжал он, — где заседала последняя, третьеиюньская Дума, — пусть она посмотрит теперь, пусть заглянет сюда и увидит, кто теперь здесь заседает! Там направо сидел Марков 2-й, а мы ютились там на краешке, вон там, маленькие. Да здравствуют все наши товарищи, которые когда-то сидели здесь и до сегодняшнего дня томились на каторге!.. Товарищи, ваше присутствие здесь говорит о том, что через некоторое время эти места будут занимать депутаты всенародного учредительного собрания!..

Настроение было поднято, контакт между оратором и еще новой, еще свежей аудиторией был, не-

сомненно, установлен. И Чхеидзе, сделав свое дело, исчез из «белого зала» под гром апплодисментов... Председательское место, по обычаю первых недель, занял первый попавшийся член Исп. Комитета, а на ораторской трибуне надолго водворился Громан, «с фактами в руках»...

Но Громан не ограничился ни фактами, ни ламентациями по поводу «катастрофического» положения продовольствия. Оратор (хотя, надо сказать, Громан вообще не «оратор», и слушать его приятно лишь в весьма деловых собраниях, а не в торжественные дни) — оратор сделал целый ряд предложений, столь же содержательных, сколь характерных для складывающейся ситуации...

Прежде всего продовольственную комиссию, созданную Советом, и пополненную делегатами думского комитета, Громан представил в качестве полномочного, хотя и временного продовольственного органа государства. И даже специально оговорил, что без согласия этой комиссии не должно проводиться никакое распоряжение по продовольственному делу.

Затем Громан декретировал участие «комиссаров» С. Р. Д. во всех местных и центральных продовольственных органах, а также охрану складов «при помощи революционного войска». Но этого мало: «комиссары С. Р. Д. должны немедленно взять под свой контроль разгрузку и распределение». В качестве постоянного верховного органа Громан предложил создать Центральный Продовольственный Комитет, создать «из существующих уже организаций С. Р. Д., городского и земского союзов и кооперативов»... Как известно, комитет этот действительно был создан. Наконец, свои организационные

предложения Громан увенчивает своим Комитетом Организации Нар. Хозяйства и Труда, каковое учреждение — как известно — постигла совсем иная участь.

Дальше, Громан уже законодательствует по существу дела. Продовольственная норма Петербурга ограничивается... исполинской нормой в целый фунт на едока ежедневно. Затем, по словам Громана, выработаны следующие меры: 1) всеобщая реквизиция хлеба у всех частных владельцев, имеющих свыше 50 дес. и 2) создание органов заготовок — губернских комитетов, земских советов, советов крестьянских депутатов, советов представителей кооперативов...

Я не стал бы останавливаться на всем этом в моих воспоминаниях, если бы все это не казалось мне весьма показательным. «Правый из правых» социалдемократ (потом Громан перестал быть таковым) выступает перед «частным учреждением», — во-первых, с весьма действенными предложениями, которые это учреждение немедленно должно осуществить, как власть; а во-вторых, выступает с законопроектами, крайне радикальными и богатыми совершенно новым социальным содержанием. Главное же — выступает перед «частным учреждением», не только не ставя перед ним вопроса, кому же надлежит теперь вести всю эту «органическую» государственную работу, но выступает, прямо подчеркивая, что вопрос о компетенции Совета в этой сфере предрешен в положительном смысле... Так чувствовал себя в создавшейся обстановке представитель нашего ультра-ликвидаторства, реформизма, бернштейнианства, легального марксизма и прочих «бранных» категорий общественной мысли.

Это было характерно и для обстановки революции, как таковой. Это было характерно и для будущей «линии» наших советских экономистов, стоявших политически от советского центра направо, но толкавших революцию влево и увлекавших ее вперед...

После тяжеловесного доклада Громана прений, кажется, не последовало. Доклад был «утвержден», а предложения приняты. Стало быть, Совет выступил, не сомневаясь в своих правах, и в качестве управляющей власти, и в качестве законодательного органа. Но, надо сказать, что никаких особых практических последствий этот содержательный вотум не имел и иметь не мог. Совет попрежнему выполнял по преимуществу моральные функции.

* * *

Без постоянного, фактически действующего президиума, без опытного руководителя, который чувствовал бы себя специально к тому приставленным, — очень страдала техника советских заседаний, в это первое время. Масса времени уходила на заявления и прения «к порядку». Исп. Ком. не разрабатывал сколько-нибудь тщательно порядка дня, а срочных нужд и дел у всякого было невероятное количество...

Помню, и в это заседание, вечером 4-го числа, бесплодно пробившись чуть ли не час над выработкой дальнейшего «порядка», собрание решило прекратить это нудное занятие, предложив находившимся на трибуне членам Исп. Ком. вести заседание, как им угодно. «Президиум», приберегая основной вопрос (о возобновлении работ) до завтра, поставил на

очередь деловую мелочь — вопрос о милиции, об участии рабочих делегатов в мировых судах и что-то еще...

Мгновенная реорганизация мировых судов была обязана Керенскому или его сотрудникам. Участие в них рабочих было предложено сверху, — и, если не ошибаюсь, тем же Н. Д. Соколовым было внесено сначала в Исп. Ком., где и было одобрено. Это было тоже замечательное явление. Это была революция, все еще заставляющая удивляться своему грандиозному размаху, все еще потрясавшая по временам все существо ее свидетелей, все еще пронизывавшая их ослепительными лучами радости и гордости среди черной изнурительной работы...

Прения о возобновлении работ все же начались — за исчерпанием прочих пунктов порядка дня. Начались без артиллерийской подготовки, без всякого доклада. Начались бурно — без участия лидеров, самими «массовиками» из рот и от станков. Начались, но не кончились, и вопрос был оставлен открытым до завтрашнего дня.

* * *

На завтра, в воскресенье 5-го, Совет собрался около полудня. В это время Исп. Комитет делал спешно последние приготовления к бою в Совете; во вчерашних прениях по поводу возобновления работ лишний раз была продемонстрирована острота и щекотливость этого вопроса. Споров в Исп. Ком. не было. Но надо было заготовить резолюцию. Я взялся написать ее и добрался, хотя и не особенно благополучно, до половины, до третьего абзаца: вышло довольно коряво. Но дальше я совсем не пошел и сдал кому-то продолжение работы. Дело было не

только в мало благоприятных условиях писания — среди заседания, гама и толкотни. Самый род литературы — резолюции и воззвания — был для меня тогда и остается доселе ужасно трудным. А в данном случае требовалась не только точная и ясная формула, но и изрядная дипломатия.

Резолюция о возобновлении работ, нося на себе резкий отпечаток этой «дипломатической» работы, довольно характерна как для положения дел в этом остром вопросе момента, так и для общей обстановки тех дней [1]).

Надо думать, многие члены Исп. Ком. были бы готовы опротестовать в этой резолюции, во-первых, самый об'ем содержащейся в ней директивы, во-вторых, юридическое толкование советских полномочий, и, в-третьих, политические пропозиции насчет «дальнейшей революционной борьбы» и т. д. Но я не помню прений по поводу этой резолюции, изготовлявшейся впопыхах...

В Совете председательствовал Н. Д. Соколов. Он торжественно начал заседание — не с деловых и

---

[1]) Я поэтому считал бы нелишним процитировать эту резолюцию из «Известий» (от 6-го марта), где она была напечатана крупнейшим шрифтом и заняла всю первую страницу:

«Признавая, что первый решительный натиск восставшего народа на старый порядок увенчался успехом и в достаточной мере обеспечил позицию рабочего класса в его революционной борьбе, Совет Р. и С. Д. признает возможным ныне же приступить к возобновлению работ в Петроградском районе, с тем, чтобы по первому сигналу вновь прекратить начатые работы.

Возобновление работ в данный момент представляется желательными и в виду того, что продолжение забастовок грозит в сильнейшей степени расстроить уже подорванные старым режимом хозяйственные силы страны.

В целях закрепления завоеванных позиций и достижения дальнейших завоеваний, С. Р. и С. Д. одновременно с возобнов-

«неприятных» прений о возобновлении работ, а прежде всего — с приветствий. Приехали первые гости: из Москвы, два советских делегата, рабочий и солдат. Это была еще новость. Совет напряженно выслушал рассказы о московских событиях, почти нам неизвестных, и дружно и шумно приветствовал гостей... Праздничное утреннее заседание началось с большого оживления.

Кроме москвичей, несколько местных делегаций уже чуть ли не третий день добивались чести предстать перед Советом и принести ему свой привет. Ловя членов Исп. Комитета, они просили оказать им протекцию в этом деле... Помню, в частности, делегацию служащих министерства земледелия, возгоревших желанием приветствовать революционную демократию и получивших, наконец, слово в Совете... Был в этот день и еще один гость, до-

---

лением работ призывает к немедленному созданию и укреплению рабочих организаций всех видов как опорных пунктов для дальнейшей революционной борьбы за полную ликвидацию старого режима и за классовые идеалы пролетариата.

Вместе с тем С. Р. и С. Д. признает необходимым одновременно с возобновлением работ приступить к разработке программы экономических требований, которые будут пред'явлены предпринимателям от имени рабочего класса.

Что же касается других городов России, то вопрос о возобновлении работ в тех из них, где таковые были прекращены, должен разрешаться Советами Р. и С. Д. этих городов в зависимости от местных условий.

При этом, поясняется, что рабочие и солдаты, входящие в состав Совета, городской милиции, районных организаций, состоящие при мировых судах, исполняющие организационные функции и т. п., работ не возобновляют до нового призыва С. Р. и С. Д. Точно также в день похорон жертв старого правительства, павших за свободу народа, работы не производятся».

стойно открывший своим появлением длинную серию знатных дебютантов, гастролеров и ходоков — из России и Европы — в недра революционной демократии. Это была Вера Засулич. Ей устроили горячую манифестацию, от которой дрожали стены. Но не думаю в конце концов, чтобы больше половины «рабочих и солдатских депутатов» когда-либо раньше слышали ее имя.

* * *

Я присутствовал в «белом зале» лишь в самом начале приветствий, а затем отправился в Исп. Ком. и во время появления В. И. Засулич был как раз занят писанием резолюции. Почти не заглядывал я в Совет и после, в течение целого дня. И только по рассказам узнал, что Соколов, после приветствий, раньше, чем обратиться к возобновлению работ, поставил еще один вопрос торжественного характера, — вопрос, которым довольно много занималась вся столица в эти дни...

Это были «похороны жертв революции». Ораторы рабочие произнесли в Совете несколько патетических речей, после которых было решено для организации похорон образовать особую комиссию; самые же похороны произвести, при участии всего петербургского пролетариата и гарнизона, 10-го марта на Дворцовой площади, «где пали жертвы 9 января 1905 года, как символ крушения того места, где сидела гидра Романовых»...

Узнав вечером об этом решении, я сильно забеспокоился. А на другой день, прочитав об этом в газетах, забеспокоился и «весь Петербург», имевший хоть самомалейший интерес к художественным свойствам чудесного города...

На Дворцовой площади!.. Гидра Романовых — это, конечно, прекрасно. Но разве можно изуродовать один из лучших алмазов в венце нашей северной столицы? Дворцовая площадь — это замечательнейший монолит, который, кажется, не допускает ни прибавки, ни из'ятия, ни перемещения хотя бы одного камня... Да и спрашивается, где же именно они выроют на Дворцовой площади братскую могилу и возведут мавзолей?.. Надо было немедленно принять меры против этого недоразумения и перерешить вопрос в пользу Марсова Поля.

Но к кому обратиться для предварительной агитации? Конечно — делу прежде всего поможет старый петербуржец Соколов, не раз с увлечением описывавший мне художественные красоты Петербурга, а в частности хорошо знакомые ему дворцы. С ним, с Соколовым — мы произведем дружную атаку на Исп. Комитет.

Встретив его вечером, я бросился к нему:

— Знаете ли вы, что случилось, что решил сегодня Совет?.. Он постановил похоронить жертвы революции на Дворцовой площади!..

— Да, — ответил Соколов характерно откидывая назад голову и разглаживая свою черную бороду на обе стороны. — Да, это было под моим председательством!..

Об этом обстоятельстве я совсем забыл... «Ра-аковой человек!» — вспомнил я слова Чхеидзе. Я слишком кипятился, а самый предмет представлялся мне самоочевидным. Речь моя, поэтому, не страдала избытком логики и убедительности. Соколова же, хотя несомненно и аффрапированного, положение главного участника преступления обязывало несколько упираться... Не помню, что именно говорил он

мне в ответ. Потом он, конечно, вполне капитулировал и энергично содействовал перерешению вопроса. Но сейчас он не слишком заразился моим настроением... Надо было принимать меры...

* * *

Доклад Чхеидзе о возобновлении работ, так же как и резолюция, носил на себе следы основательной «дипломатической» работы, а пожалуй, и основательной (но совершенно необходимой) демагогии. Вот что гласили центральные пункты его речи:

— Исп. Ком. единогласно пришел к заключению, что настал момент для возобновления работ на фабриках и заводах... Почему это надо сделать? Что же мы победили врага окончательно... и можно работать спокойно, не ожидая нападения? Нет, товарищи, такой спокойной работы мы еще долго не будем в состоянии вести, потому что мы в настоящее время ведем гражданскую войну... Мы, стоя у станков, должны быть на чеку, должны быть готовы в каждый момент выйти на улицу по первому сигналу. Вчера еще нельзя было стать на работы, но сегодня враг настолько обезоружен, что пойти на работы и стать у станка нет никакой опасности...

Коснувшись далее разрухи, заставляющей в интересах революции направить силы рабочего класса на производительный труд, Чхеидзе настаивал на организации пролетариата, как на основной задаче момента. А затем продолжал:

— На каких условиях мы можем работать? Было бы смешно, если бы мы пошли продолжать работы на прежних условиях. Пусть знает об этом буржуа-

зия... Мы, став на работу, сейчас же приступим к выработке тех условий, на которых будем работать...

Не правда ли, будущий официальный глава будущего капитуляторского большинства Совета умел выступать довольно по-большевистски?.. Но, повторяю, такова была действительная «потребность момента».

Оппортунизм? Конечно. Именно такова природа подобных методов воздействия. Но вопрос в том, где граница, за которой законные поиски меньших сопротивлений переходят в незаконное преклонение перед «силой обстоятельств»? Именно здесь невинное понятие переходит в злостное, а политическая характеристика в бранное слово.

В данном случае эта граница не была перейдена. Но через немного дней мы увидим того же Чхеидзе, выступающего перед тем же Советом по другому вопросу. Перекинувшись от «большевизма» к «трудовизму», Чхеидзе заложил тогда основу первому «недоразумению», завлекшему впоследствии революцию в непролазную трясину... Есть, очевидно, оппортунизм и оппортунизм.

Прения о возобновлении работ, как и накануне, были довольно горячими... Впоследствии в советской практике все прения пленарных заседаний были сведены к выступлениям одних «фракционных» ораторов. От имени фракций выступали одни и те же лица, по одному, редко по два. Свободные же выступления желающих почти не практиковались. Но в начале было не так. Вначале выступали одни вольные ораторы. К 5-му же марта в Совете еще не образовалось и самих фракций. Ссылки на партийность были очень редки. Мнения перемешива-

лись и дифференцированы были по прежнему очень слабо.

И сидели депутаты в полном фракционном беспорядке. Он, конечно не был создан искусственно, как при французской Директории, дабы пресечь сговоры и «действия скопом», оставив депутата наедине со своим разумением и совестью. Напротив, русская революция быстрыми шагами пошла по пути культа партийности и партийной дисциплины. Но в те дни еще не было никаких признаков фракционных тяготений, и депутаты рассаживались как попало.

Вопрос о возобновлении работ решался массами, повидимому, вполне индивидуально. Любопытно, что даже советские газетные сотрудники по выступлениям ораторов не могли рассмотреть их партийности; и в протоколах «Известий» при упоминании о речах «за» и «против», вместо «большевик» или «с. р», стоит в скобках, вслед за фамилией, «рабочий» или «солдат»!

Но огромное большинство говорило все же за возобновление работ с завтрашнего дня, с 6-го марта. И резолюция Исп. Ком., приведенная выше, была принята в Совете 1170-ю голосами против 30... Однако принять резолюцию в среде передовых рабочих депутатов — это одно дело, а осуществить ее при участии всей пролетарской массы — это другое. Вопрос о возобновлении работ, как мы увидим, еще далеко не был решен принятием этой резолюции.

* * *

Из заседания Исп. Ком. меня вызвал И. П. Ладыжников, друг М. Горького, его попечитель и секретарь. У него был таинственный вид. Отведя меня в сторону, он сообщил, что в его руках находится

пачка бумаг, взятых из петербургского охранного отделения. Бумаги попали к Горькому, который их исследовал и, в частности, обнаружил огромный список секретных сотрудников охранки. Список этот необходимо сейчас же рассмотреть мне вместе с ним, Ладыжниковым, и еще с кем-нибудь из партийных людей, близких Совету. Необходимо потому, что «кажется, в числе провокаторов имеются члены Совета»...

— Совета или Исп. Комитета?

— Не знаю... Кажется, Исп. Комитета. Кажется, видные деятели.

Если провокаторы оказались в числе советских депутатов, это не важно. В Совете, как видим, насчитывалось уже 1200 «решающих голосов» всякого типа и звания, в большинстве своем неведомых партийным центрам; за них руководители движения, конечно, не отвечали, а само движение ни с какой стороны от них пострадать не могло. Другое дело, если провокаторы проникли в руководящий центр, в Исп. Комитет Совета. Это было почти невероятно, но было бы скандально, если бы это был факт.

Помнится, я пригласил с собою Зензинова, имевшего огромные познания по части персонального состава «народнических» партийных сфер, и мы втроем пошли искать укромного стула. Повидимому, именно Зензинов, бывший более или менее своим человеком в правом крыле Дворца, привел нас в одну из отдаленных «думских» комнат, где велись несколько дней назад переговоры об образовании правительства.

Ладыжников развернул предательский список. Это была толстая тетрадь, быть может, не одна, с

сотнями имен... Неописуемое омерзение и стыд! Вереницы адвокатов, врачей, чиновников, муниципалов, курсисток, всевозможных студентов, литераторов, рабочих — всех племен и состояний... Абсолютно преобладали «представители духовной культуры». Соотношение же между числом провокаторов и «освещаемой» ими сферой было прямо убийственно для нашей прославленной интеллигенции!

В позорном свитке были указаны имена, клички, что «освещал» провокатор и сколько получал за труды. «Освещались» социалистические партии, студенческие и интеллигентские кружки, заводы, учреждения, солидные либеральные и даже не особенно либеральные группы. Для всего этого имелись специалисты. За что продавались доблестные деятели? Продавались за гроши: редко кто получал свыше ста рублей в месяц. Больше не стоило. Предложение, по крайней мере, на посторонний взгляд, было за глаза достаточное...

Мы с волнением пробегали список, боясь натолкнуться на знакомое или известное имя. Но я не помню потрясающих открытий — как будто только за двумя исключениями. Это были, — во-первых, «большевик» Черномазов, редактор «Правды», а во-вторых, рабочий «с. р.», игравший видную роль в период войны, имевший довольно интенсивные сношения с Керенским, учинивший над ним какую-то грандиозную провокацию и обеспечивший ему если не виселицу, то каторгу в случае заблаговременной ликвидации Гос. Думы. Фамилию этого гражданина я забыл[1])...

[1]) Впрочем еще одного забыл — студента Актива (Витка), очень способного человека, писателя, хорошо мне знакомого. Вероятно, по его милости меня выслали из Петербурга в 1914 г.

Относительно членов Исп. Ком. сообщения ни в малейшей степени не подтвердились. Список же, принесенный Ладыжниковым, потом долго печатался в газетах...

* * *

Поздно вечером, 5-го марта, я впервые отправился домой. До сих пор я почти не видел революционной столицы, как я ни стремился повидать ее. Мои наблюдения ограничились районом Песков. Но Петербург — город до крайности централизованный. «Народное движение» там искони тяготеет к Невскому, туда летит душа города во всех особых случаях, и только там надо наблюдать ее. Но я так ни разу и не был на Невском. Ни во время революции, ни во время ее увертюры.

Путь на Карповку был довольно далекий, и я просил еще удлинить его поездкой на Невский, хотя бы до Садовой. Но никакого удовлетворения я не получил. Было темно. Бурый мокрый снег шлепал под колесами автомобиля, который поминутно останавливали какие-то люди и требовали пропусков. Иногда кордон зевал, и автомобиль, проскочивший далеко вперед, останавливали издалека сзади криками и свистками, заставляя круто затормаживать машину на всем ходу. Шофер волновался и пререкался с милицией, и уже одно это портило — либо об'ективную картину, либо настроение наблюдателя.

Вероятно, впрочем, что никакой картины не было. По темному Невскому шло много каких-то людей, заполняя тротуары. Больше ничего... Я не видел и не знаю, что случилось с этими людьми нового,

— я не вкусил этой толпы. Чуть не на каждом доме грузно висели мокрые темные флаги.

На Карповке тот же скромный и невзрачный дореволюционный швейцар кому-то толковал о новом, революционном домовом комитете... Я впервые шел легально в собственную квартиру — «с высоко поднятой головой», не думая ни о конспирации, ни о прописке, или, наоборот, думая о том, что перед лицом самого швейцара я ничего не желаю обо всем этом знать. Я внимательно и, должно быть, победоносно посмотрел в глаза швейцара: что же думает он при встрече со мною, по всей совокупности обстоятельств?.. Но ничто не отразилось на его челе.

* * *

Дома у меня было важное «телефонное» дело. Я должен был позвонить Горькому — за безнадежностью личного визита... Надо было, во-первых, предупредить насчет варварского покушения на Дворцовую площадь. Вмешательство Горького могло, конечно, поправить дело при наименьших затратах энергии.

Второе дело было, пожалуй, важнее. Надо было безотлагательно двинуть дело с «воззванием к народам мира». Я придавал очень большое значение этому акту и этому документу. И мне казалось, что самым достойным, самым подходящим автором его мог бы быть М. Горький. Я самочинно решил предложить это дело Горькому и с'агитировать его. Мы основательно поговорили по телефону.

Горький принял к сведению дело о похоронах, прибавив к этому, что надо принять меры к охране

художественных ценностей столицы. Кажется, какой-то вандализм учинен был в эти дни в Петергофском дворце, и это произвело на Горького очень сильное впечатление. Он решил взяться за дело.

Насчет воззвания, выслушав меня о том, что требуется, и мою агитацию об историческом значении документа, — Горький высказал некоторые сомнения, но твердо обещал попытаться. Завтра же, во второй половине дня, я должен был получить рукопись в Таврическом дворце. Превосходно!..

---

3. СОВЕТ и ВЛАСТЬ «САМООПРЕДЕЛЯЮТСЯ»

Умиленная пресса. — Неудавшаяся эмиграция царя. — Алексеев и Керенский об эмиграции. — Вопрос о Романовых в Исп. Ком. — Мандат Гвоздева. — Гучков о солдатских вольностях. — Военные вопросы. — Солдат-мужик в революции. — Манифест «ко всем народам» написан. — «Выборность начальства» в солдатской секции. — Керенский «спасает положение». — Сцилла и Харибда «манифеста». — Правительство о войне. — Вопрос о печати в Исп. Комитете. — Выборы «контактной комиссии». — Советские муниципалы. — Приказ ген. Алексеева. — Генералитет и революция. — Судьба резолюции о возобновлении работ. — М. Горький и охрана художественных памятников. — М. Горький выступает в Совете. — Похоронная комиссия и похоронный студент. — Снова «возобновление работ». — В агитационной комиссии. — Совет и партии. — Большевики и советская дисциплина. — Страна организуется. — «Известия». — Советские финансы. — Декреты об амнистии и об отмене смертной казни. — Министерства за работой. — «Вывод частей». — Новая резиденция Исполн. Комитета. — Обстановка. — Кшесинская в Исп. Комитете. — Вопрос о реквизиции помещений. — Новая присяга. — 8-ми часовой рабочий день. — Судьба этого лозунга. — Советское «воззвание к полякам».

Вышли газеты... Из новых, социалистических, впрочем, успела мобилизоваться к 6-му марта только «Правда». Мы встретимся не раз с этим почтенным органом. Меньшевистская «Рабочая Газета» появилась только 7-го. Не в пример «Правде», официальный

состав редакции «Рабочей Газеты» был опубликован и... вызывал недоумение. Редакторами были обозначены два потусторонних, заграничных интернационалиста, Мартов и Аксельрод, и два местных махровых шейдемановца, Потресов и Засулич, которые только могли быть фактическими редакторами. Это спутывали все представления о меньшевиках в революции вообще и об их газете, в частности. На деле, однако, газету повели левые — больше всего, кажется, Ерманский. Что из этого вышло, мы также увидим дальше.

Появились об'явления о скором выходе эсеровского центрального органа. Тут тоже был винегрет — с той разницей, что в редакции могли фактически работать и лебеди, и раки, и щуки: и Гуковский с Зензиновым, больше тяготевшие к либеральным сферам, и Ракитников с Русановым, которым и хочется, и колется, и Мстиславский с Разумником, которым в облаках сам чорт не брат. Встретимся мы и с «Делом Народа»... Сейчас речь не об этой новой литературе.

Сейчас бурно, оглушительно грянула в трубы и литавры вся старая буржуазно-бульварная печать. Черносотенных газет в Петербурге не появилось, — я уверен, не только потому, что Исп. Ком. не разрешил их. Марков 2-й сгинул вместе со своей «Земщиной» в первый же момент революции. Прочие без субсидий не могли бы влачить и самое жалкое существование и были, конечно, никому не опасны. Уцелевшие в Москве заслуженные «Москов. Ведомости» не рискнули хоть бы полслова проронить против революции и просто промолчали, ограничившись информацией... Либеральная же и желтая печать излила в эти дни целое море «энтузиазма», умиления

и благодушия. Все, кому было до революции столько же дела, сколько до прошлогоднего снега, все, кто на рабочий класс смотрел в лучшем случае, как на докучливого кредитора, с тою же смесью боязни и злобы, — все рассыпались в своей любви к свободе, в преданности Учр. Собранию, в комплиментах героизму и «благоразумию» народных масс и их вождей.

В своем «демократизме» газеты шли тем дальше, чем они были ближе к бульвару. А дальше других пошла, пожалуй, протопоповско-амфитеатровская «Русская Воля», упорно демонстрируя на первой странице аршинный плакат: «да здравствует республика»! Этой было нечего терять. Центральному органу кадетов — монархической «Речи», отягощенной славными традициями борца против всяких революций и беспорядков, приходилось быть куда сдержанней и осторожней. Но и там можно было прочитать горячий диффирамб Совету и его вождям: диффирамб принадлежал перу правейшего либерала и националиста, Е. Трубецкого...

В Исп. Комитете мы с любопытством и снисходительной усмешкой победителей проглядывали об'емистые нумера, восторженные передовицы газет... Но не скажу, чтобы вся эта пресса много занимала наше внимание и вызывала к себе серьезный интерес. Сейчас уже она не могла быть фактором, способным изменить курс событий. А поскольку пресса вообще могла быть фактором колоссальной силы, — постольку и у нас, у Совета, уже существовала и готова была развернуться во всю ширь социалистическая пресса. В ее монопольном влиянии на массы — по крайней мере р а б о ч и е — мы не имели оснований сомневаться.

* * *

Уже давненько... — хотя давность была относительная, ибо дни тогда казались по меньшей мере, неделями и, по значению своему, равнялись годам — давненько поговаривали близ Исп. Комитета о судьбе Романовых. Бывший царь раз'езжал по России, куда ему заблагорассудится: из Пскова, после отречения, поехал в ставку, в Могилев, затем собрался в Киев, к матери, потом, — как говорили, в Крым... Большого значения этому не придавали, но некоторые «неудобства» от этого все же проистечь могли. Об этом стали поговаривать.

Но вот 6-го числа были получены сведения, что Николай Романов с семьей «уезжает» в Англию. Генерал Алексеев заявил от его имени Вр. Правительству о желании царской семьи эмигрировать за границу. Правительство на это согласилось и уже начало по этому поводу переговоры с британским правительством... Конечно, наша «сознательная» буржуазия весьма высоко оценивала такой исход дела династии и едва-ли не видела в нем источник реванша. А «несознательные» обыватели из «лучшего общества» естественно усмотрели в такого роде плане Романовых не что иное, как новую победу революции. Стоит вспомнить о том, как будущий министр, господин Кишкин, увидев у премьера Львова телеграмму Алексеева, произнес неподражаемое: «свершилось»!...

Но вот Керенский в Москве — правда, с некоторым опозданием, 7-го марта, но при бурных восторгах обывательской толпы, — так говорил об этом деле, как о деле решенном:

— Сейчас Николай II в моих руках, руках генерал-прокурора. И я скажу вам, товарищи: русская революция прошла бескровно, и я не хочу,

не позволю омрачить ее. Маратом русской революции я никогда не буду... Но в самом непродолжительном времени Николай II под моим личным наблюдением будет отвезен в гавань и оттуда на пароходе отправится в Англию...

Нет, гражданин Керенский, дело обстоит совсем не так просто! Конечно, вызывать громовые «ура» вашими историческими познаниями, вашим политическим пониманием и вашей гуманностью — мы вам воспрепятствовать не можем. Но судьба династии все же должна быть решена так, как того требуют интересы революции, а не так, как вы «позволите» — в вашем энтузиазме, в меру вашего политического понимания и исторических познаний. Будет ли отвезен Николай II в гавань, отправится ли он в Англию — об этом «позвольте» иметь суждение и нам.

Утром 6-го Исп. Ком. имел об этом суждение. Суждение было не сложное. Как бы ни были мало искушены советские деятели по части истории, но элементарное было для нас ясно. Было ясно то, что показалось очевидным и первому попавшемуся станционному смотрителю, и десяткам рядовых французов, едва ли особо просвещенных, но действительных «патриотов», арестовавших не низложенного монарха, не огрызок величия, не обломок крушения, блуждающий по стране без надлежащего смысла и без всякого к нему внимания, а арестовавших «законного государя», царствующего во всем блеске французских королей — при попытке его «отправиться» за границу... Этим людям было ясно, что значит пустить монарха, «недовольного своим народом», в стан врагов революционной Франции. Было, слава Богу, ясно и всем нам, что не только Людо-

вик XVI, но и ни один монарх на свете не поколеблется, ни в каком случае жизни, расправиться иноземными — вражьими или «союзными», солидарными или наемными штыками с родной страной, раздавить родной народ для утверждения своих «законных прав» на его угнетение и эксплоатацию; и ни один монарх не сочтет такой заговор делом Иуды и пределом человеческой гнусности, а лишь своей естественной функцией и законным образом действий.

Николай Романов собрался бежать, правда, в «великую демократию» — вслед за Карлом Марксом и Петром Кропоткиным. «Автократическая» же страна, столп мировой реакции — была в это время дерзким и коварным врагом. Но все же было бы слишком — ожидать от Исп. Комитета такой сверхестественной близорукости, которая скрыла бы от нас все перспективы развития нашей революции, долженствующей неизбежно превратиться в пугало, в страшного врага для всех без различия «великих» автократий и плутократий, для которых жалкая фигурка Николая в иных обстоятельствах (близких к переживаемым ныне, в июне 1919 г.) была бы прямо кладом...

Было очевидно: пускать Романовых за границу искать счастья по свету, ждать погоды за морем — нельзя. И об этом, насколько помню, не спорили в Исп. Комитете. Перебирая в уме фигуры Чайковского, Чернолусского, Станкевича и прочих правых членов, украшенных офицерскими эполетами или без них — я не припоминаю все же ни одного выступления в духе Керенского, не припоминаю ни слова против того, что Николая необходимо задержать в стране.

Суждение шло в иной плоскости. Полученное известие гласило, что Николай с семьей уже бежит заграницу. Комиссар Исп. Комитета по жел.-дорожным делам донес, что два литерных поезда с семьей Романовых уже направляются к границе — будто бы с ведома и разрешения Вр. Правительства. Куда именно направляются поезда, в заседании точно не было установлено. Из одних источников сообщали, что Романовы едут через Торнео, из других — через Архангельск.

Надо было немедленно снестись с правительством и предложить ему задержать Николая. В виду позиции, занятой Мариинским дворцом, было признано очень быстро и единодушно, что дело Романовых Совет должен взять в свои руки и во всяком случае категорически потребовать, чтобы никакие меры ни к каким Романовым не применялись без предварительного соглашения с Исп. Комитетом... Постоянного органа сношений с правительством еще не было у Совета: «комиссия контакта» была избрана только 7-го. Поэтому, в Мариинский дворец была в экстренном порядке снаряжена особая делегация, состава которой я не помню.

Но что же сделать с Романовыми? Об этом некоторое время спорили и, судя по тому, что в конце концов остановились на временной мере, истина рождалась здесь довольно туго... Как будто кто-то, слева, требовал непременно Петропавловки для всей семьи, ссылаясь на пример собственных министров Николая и на прочих слуг его. Но не помню, чтобы стоило большого труда смягчить решение Исп. Комитета. Была решена временная изоляция самого бывшего царя, его жены и детей в Царскосельском дворце.

Больше разговоров возникло по поводу того, что делать с прочими Романовыми —«кандидатами» и некандидатами. Кажется, было решено заграницу не пускать никого, и всех по возможности прикрепить к каким-нибудь своим усадьбам. Все это должно было быть продиктовано Вр. Правительству на предмет соответствующих распоряжений...

Но этого было недостаточно. Ведь по нашим сведениям, Романовы были уже в дороге. Ограничиться требованиями, хотя бы и ультиматумами к Вр. Правительству было нельзя. Исп. Ком. без долгих разговоров, без всяких вопросов о своих функциях и правах, постановил дать приказ по всем жел. дорогам — задержать Романовых с их поездом, где бы они ни оказались, и сейчас же дать знать об этом Исп. Комитету. А затем один из членов Исп. Комитета, с подобающей свитой, был отряжен для ареста Николая в том месте, где будет остановлен его поезд, и для водворения всей царской семьи в Царском Селе...

Предназначенный для этой цели член Исп. Комитета был Кузьма Гвоздев. Дело это не особенно подходило к его натуре и отрывало его от обязанностей, гораздо более ему свойственных. Собрание, однако, руководствовалось тем (довольно маловажным) обстоятельством, что Гвоздев — коренной рабочий, особенно ярко воплощающий в своем лице волю пролетариата. Вооруженный отряд при Гвоздеве также состоял из надежных и известных пролетариев столицы.

Выполнить свою миссию Гвоздеву не пришлось. Вр. Правительство быстро и послушно взялось выполнить требования Исп. Ком. Еще раньше, чем на другой день Керенский в Москве успел «под лич-

ным наблюдением» проводить Николая в Англию, правительство постановило «лишить его свободы», изолировать в его старой резиденции, о чем и опубликовать во всеобщее сведение.

Вопреки слухам, царь находился в Ставке, в Могилеве, куда приехала его мать. Специально командированные за ним комиссары Вр. Правительства — из «левых» думских партий — выехали в Могилев в тот же день и благополучно доставили бывшего «самодержца» в царскосельский дворец... Исп. Комитет Совета, в свою очередь, командировал своего представителя в Царское Село — для ревизии всего там происходящего. Это было поручено Мстиславскому, который посетил дворец, лично удостоверился в присутствии там «узника», познакомился с условиями его жизни, нашел все вполне удовлетворительным и обо всем доложил Исп. Комитету.

Романовы, с этого времени до июля, жили в этих условиях в Царском Селе, не привлекая к себе ничьего особого внимания и почти незаметные в ослепительном каскаде событий... Как жили-были, о чем думали, что делали — по крайней мере сам злосчастный «властелин шестой части земного шара»? Об этом каким-то особенным первобытно-эпическим стилем рассказывал сам этот «властелин», этот любопытнейший человеческий тип, в своем прелестном дневнике, так неграмотно и пошло комментированном впоследствии большевистскими «учеными» газетчиками...

Гвоздев же потом, через несколько месяцев (а казалось — лет) революции, в часы досуга, в часы сладких воспоминаний о далеких прошлых битвах, говорил мне:

— А помните, как мне писали мандат арестовать Николая II-го?..

— Помню... Ну, и что?

— Ничего... Я этот мандат берегу. Так — на память...

* * *

«Вышел» приказ военного министра, Гучкова, о солдатских правах и вольностях. Он довольно точно воспроизвел добрую половину известного нам советского «Приказа № I», упраздняя «нижние чины», «тыканье», титулование, запрещение вне службы всего дозволенного прочим гражданам и т. д. Прямо и текстуально разрешая «участие в различных союзах и обществах, образуемых с политической целью и пр.», приказ Гучкова официально санкционировал прежде всего солдатскую советскую организацию, а затем и внутренние профессиональные (или корпоративные) об'единения, то-есть всякого рода армейские комитеты.

Приказ Гучкова с его санкцией неизбежного, уже пустившего такие корни, которые никаким Гучковым выкорчевать было теперь не под силу, — приказ этот не явился событием. К существу дела он ничего прибавить не мог. Он был только — не менее дела Романовых — характерен для начинавшегося «самоопределения» власти и Совета. Ведь автором приказа был тот самый Гучков, который устроил скандал, который чуть не сорвал «правительственную комбинацию», узнав, что Милюков и Родзянко считаются с мнением какой-то демократии и даже — беседуют с ее делегатами о программе правительства, о государственных делах... Мы посмеивались.

Опыт не проходит даром. События volentem ducunt, nolentem trahunt.

* * *

День 6-го марта вообще был переполнен всякими военными, то-есть солдатскими вопросами... Я лично всегда очень не любил этих вопросов и не был в курсе дел «солдатской секции» в течение всех этих месяцев.

Эту неприязнь к солдатским делам, это томление духа всякий раз, когда в Исп. Ком. поднимались «военные» вопросы (а это было чуть не каждый день), я об'ясняю себе не только тем, что мне была глубоко неинтересна «органическая» работа в области глубоко чуждых мне «профессиональных» солдатских дел. Этого пассивного фактора было недостаточно. Очень скоро к нему присоединился активный — в виде сознания, что солдатчина есть величайшая помеха, есть крайне вредный и весьма реакционный элемент нашей революции, хотя именно участие армии и обеспечило ее первоначальный успех...

Правда, зловредность солдатчины, как будто еще не давала оснований бойкотировать вообще солдатские дела, связанные неразрывно с дальнейшими судьбами революции. Казалось бы — наоборот, она должна была привлечь к ним внимание. Но указанные свойства солдатчины давали основание для того, чтобы в скором времени «возненавидеть» солдатские дела охладеть к солдатским «органическим» вопросам, сделавшись для них непроницаемым, как лед. Для этого были все основания у такого верхогляда и белоручки, каким был я в Исп. Комитете.

Солдатчина была, конечно, уже нисколько не

опасна совершившемуся перевороту. Уже давно исчезли последние тени опасений, что в ее власти может оказаться город, что революция может пострадать от разгула солдатской стихии. Дело было не в этом. Дело шло теперь не об опасности, а именно о вредности армии, то-есть ее непосредственного участия в творчестве нашей революции.

Непосредственное участие в революции армии было не что иное, как форма вмешательства крестьянства, форма его проникновения в недра революционного процесса. С моей точки зрения, марксиста и интернационалиста, это было совершенно неуместное вмешательство, глубоко вредное проникновение — и при том же вовсе не обязательное вообще, а обязанное лишь особому стечению обстоятельств.

Жадное до одной земли, направив все свои государственные мысли к укреплению собственного корыта, а все свои гражданские чувства — к избавлению от земского и урядника, — крестьянство, будучи большинством населения, имело, вообще говоря, все шансы «пройти стороной», соблюсти нейтралитет, никому не помешать в главной драме, на основном фронте революции. Пошумевши где-то в глубине, подпаливши немного усадеб, поразгромив немного добра, — крестьянство получило бы свои клоки земли и утихомирилось в своем «идиотизме сельской жизни». Гегемония пролетариата в революции не встречала бы конкурренции. И единственный революционный и социалистический по природе класс довел бы революцию до желанных пределов.

Так, казалось бы, могло быть, так можно было бы ожидать при иных условиях революции.

Но сейчас было не то. Сейчас крестьянство было

одето в серые шинели, во-первых, и чувствовало себя главным героем революции, во-вторых. Не в стороне, не в глубине, не в Учр. Собрании, не в органической эпохе, а тут, над самой колыбелью, у самого кормила революции неотступно, всей тяжкой массой, стояло крестьянство, да еще с винтовкой в руках. Оно заявляло: я хозяин не только страны, не только российского государства, не только ближайшего периода российской истории, — я хозяин революции, которая не могла быть совершена без меня... Это было совершенно неуместно и крайне вредно. У революции были задачи и притом основные — крайне трудные, а пожалуй и непосильные крестьянству. Их можно было с успехом выполнить лишь при его нейтралитете, без его помехи.

Главная из таких задач была ликвидация войны. Крестьянство, проникшее в недра революции, здесь было бесполезно, но могло быть весьма вредно: оно не могло помочь, но могло крайне напортить. Пока сила инерции, отсутствие «настоящей» войны еще держали массы в окопах, до тех пор крестьянство, одетое в шинели, как ему и полагается, шло на поводу у буржуазии, прислушиваясь ко всякому национал-шовинистскому вздору, ко всяким противонемецким жупелам оборонцев. В это время с ним легче было говорить о наступлении, чем о мире. В самые же первые недели крестьянская армия была еще всецело во власти старых «военных» понятий, во власти кадетско-офицерских нашептываний о войне. В первые недели солдатская масса Петербурга не только не слушала, но не позволяла говорить о мире, готовая поднять на штыки каждого неосторожного «изменника» и «открывателя фронта врагу».

Впоследствии же, когда после месяцев революции старые жупелы потеряли силу, а в окопах стало нестерпимо, — те же массы, та же темная стихия бросилась, сломя голову, за тем, кто позволял в любой момент бросить окопы и звал домой — «грабить награбленное».

В первые недели, и именно в описываемые дни в Исп. Ком. все еще не могли найти надлежащей формы, надлежащей почвы, на которую можно и должно было поставить насущнейшую проблему ликвидации войны... Было от чего «возненавидеть» эту солдатчину и негодовать на ее неуместное вмешательство. Было отчего с грустью смотреть, как в Совете, в недрах революции, пролетариат все больше и больше тонет среди этих непроглядных мужиков в их серых шинелях.

Конечно, эти массы нуждались в лидерах. Лидеры появились в большом числе — в лице всяких прапорщиков, обыкновенно из «миттлейферов» весьма сомнительного образа мыслей. В начале этим господам было раздолье. Набросившись на солдатские массы в Совете и близ него, эти господа вначале хорошо поработали над дискредитированием Совета и его Исп. Комитета, как гнезда «открывателей фронта». Но потом, довольно скоро, эти кадетствующие «советские» деятели в массе своей исчезли из Совета неизвестно куда; единицы же проникли в Исп. Ком., чтобы делать «высокую политику».

Настоящего лидера мужицко-солдатской массы еще на лицо тогда не было: советские «народники», с.-р. и трудовики, были слишком чужды народному движению, чтобы стать во главе «родственных» масс: эти тянули к «лучшему обществу» и там делали свою политику. А советское болото, обрывки дум-

ской соц.-дем. фракции, горе-циммервальдцы, Скобелев и Чхеидзе, тогда еще не оторвались от интернационалистского ядра Исп. Ком.... Настоящий лидер мужицко-мещанско-солдатских масс тогда еще только собирался выезжать в столицу из Иркутска...

* * *

Чего хотят сегодня эти серые шинели?.. Заседание солдатской секции было назначено в 11, но в два часа оно еще не начиналось. Депутаты терпеливо ждали, дремали в креслах, бродили по зале, собирались в митингующие группы. Чувствовалось всеобщее утомление. События уже поистрепали советских людей, особенно свежих массовиков, непривычных к подобной работе и не охваченных с другой стороны, тем исключительным нервным под'емом, какой неизбежно должны были испытывать вожди.

Весь Дворец уже не имел прежнего вида. В нем было шумно, людно, беспорядочно, но уже не было ни прежней беспролазной давки, ни перманентных митингов на каждом шагу. Все «входило в норму».

По открытии заседания Скобелев долго рассказывал о своей поездке в Гельсингфорс, и деловые вопросы начались чуть ли не к вечеру. В порядке дня, стояли, между прочим, выборы солдатского исполнительного органа. Он был составлен, не в пример Исп. Комитету, сразу из многих десятков человек, пожалуй, даже из сотни, и был назван Исп. Комиссией. Она заседала потом по соседству с Исп. Комитетом и решала какие-то свои солдатские дела, — по временам тягаясь, препираясь с Исп. Комитетом и

чего то от него требуя... Я «ненавидел» эти дела и был не в курсе их до самого конца. Знаю, однако, что там до конца верховодили прапорщики и писаря «либеральных» профессий, сначала просто тянувшие без толку к министерским сферам, а потом сделавшие из Исп. Комиссии прочный пьедестал для советских шейдеманов...

Часа в 4 мне принесли пакет от Горького — с обещанным манифестом «к народам мира». Я бросился искать укромного места, чтобы проштудировать его в спокойной обстановке и вообще заняться им всласть... Увы! такого места, конечно, не нашлось на доступной мне территории Дворца, и я кончил тем, что отправился в «белый зал», в заседание солдатской секции, где говорились шумные речи, но где — как я надеялся, — меня никто не тронет, если я того не пожелаю. Вообще говоря, это выглядит довольно парадоксально — поиски спокойствия и уединения в парламентской зале. Но потом это вошло в норму — не у одного меня. Что делал бы я потом, по выходе «Новой Жизни», с десятками рукописей, постоянно наполнявших мои карманы, если бы не читал и не выправлял их в заседаниях Совета и Исп. Ком. Где и когда я вел бы редакционную переписку? Наконец, сколько передовиц впоследствии написал я за столом президиума, а потом и на собственном колене, в советских заседаниях?.. Во всяком случае, герой чеховского «Т-с-с!», таким условиям работы едва ли стал бы завидовать.

Я расположился на кафедре, с правой стороны, на секретарском месте, среди облепивших серых шинелей, и занялся манифестом. Передо мною мелькали ораторы. Мелькали и самые вопросы — о солдатских правах, об организации гарнизона, о переводе

некоторых частей — и большей частью передавались на разработку Исп. Комиссии.

* * *

Манифест был написан превосходно, хотя больше напоминал рассуждение, чем воззвание. Но дело было в том, что текст Горького не заключал в себе ни грана никакой политики. Революция рассматривалась исключительно в плоскости культуры и культурных мировых перспектив. Ни нашей возрожденной общественности, ни проблеме войны автор не уделил почти никакого внимания.

Такой подход к делу был в высокой степени свойственен Горькому. Но это совершенно не устраивало Совет в его конкретном и крайне важном деле... Оставить манифест в такой редакции было явно невозможно. Для ускорения дела, я было попробовал «прикинуть» некоторые поправки и вставки. Но поработав некоторое время в этом направлении, я убедился, что из этого ничего не выходит. Тогда я, на всякий случай, тут же, на каких то клочках, написал другой текст, — чтобы иметь в запасе и скорее двинуть дело с манифестом. Мой текст вышел совсем в другом роде, — он был слабо исполнен, но больше подходил к обстоятельствам времени и места. А в его содержании было то, что необходимо было сказать в этих условиях, — хотя сказать следовало бы иначе...

* * *

Кончая манифест, я прислушивался к прениям в Совете, которые вдруг стали очень жарки. Не знаю, каким образом, но речь зашла об офицерах, и боль-

шинство ораторов-«массовиков» требовало ни больше, ни меньше, как выборности начальства. Атмосфера разогревалась... Председательствовал бойкий, много говоривший прапорщик Утгоф, который потом стал правым эсером, но пока еще не «осознал себя» и умеряющим речам членов Исп. Комитета противопоставлял такую демагогию, что небу было жарко.

Солдатские лица разгорались. Депутатам явно наступили на больное место, и черноземные трибуны чуть не в истерике изливали свои чувства, описывая тяготы солдатской жизни и требуя полной ликвидации старого начальства, поставленного свыше.

Члены Исп. Комитета, отважно плывшие против течения, еще поддерживались огромной частью зала; но зато другая часть уже неистовствовала и гудела, как в дальнейшие большевистские времена... Но тогда на эту «массу» уже была партийная дисциплина, а сейчас полезла стихия, и подстегиваемая умным председателем, показывала свой коготок.

Я тоже выступил против постановления о выборности начальства, но невразумительно и неудачно. Положение было очень трудное. Вопросов войны и фронта было касаться нельзя: они были еще совершенно сырые. Между тем, именно в этой плоскости, в плоскости дезорганизации фронта, можно было бы развить понятные, легко усвояемые аргументы. Вместо того пришлось аппелировать к созданному и санкционированному Советом статусу: власть вручена ведь буржуазному министерству; ему же подобные реформы непосильны, и нелепо их от него требовать; сейчас надо вплотную заняться своей организацией; пока же ограничиться правом отвода особо одиозных офицеров и т. д. Это было

скучно и неубедительно. Настроение все повышалось. Идя с трибуны на свое место, я натолкнулся на солдата, который загородил мне дорогу и, потрясая у меня перед глазами кулаком, в ярости кричал о господах, не бывших никогда в солдатской шкуре...

Надо было что нибудь предпринять. Резолюция о выборности начальства могла вызвать передрягу в тылу и на фронте, — передрягу действительную, а не фиктивную, как то было с «Приказом № 1»... Хорошо я поступил или дурно, но, собрав свои клочки с манифестом, я спешно направился в правое крыло — искать Керенского.

С Зензиновым, упорно пребывавшим в правом крыле и «охранявшим входы» Керенскому, мы об'яснились в двух словах. Он немедленно вызвал своего патрона, почему то —не в пример другим министрам — еще сохранившего базу в Таврическом дворце. Керенский выбежал из своих убежищ, прихрамывая или вообще плохо передвигаясь и опираясь на довольно внушительную дубинку... Я вспомнил, что Керенский не так давно перенес тяжелую болезнь, в результате которой он лишился одной почки. Финны во время этой болезни, протекавшей в Гельсингфорсе, носили лидера российской левой на руках, а Горький и Манухин сокрушались — зачем Керенский лишился почки, когда Манухин брался отстоять ее.

Захлебываясь и спеша, я рассказал Керенскому, что происходит в солдатской секции, и предложил ему следующее:

— Надо сделать все возможное, — сказал я, — чтобы показать гарнизону, что состав офицерства не останется прежним... Они требуют выборного

офицерства. Об'явите им от имени правительства, что при назначении начальствующих лиц, власть будет руководствоваться отношением к ним солдатской массы, то-есть фактически будет применяться право отвода. А во-вторых, скажите, что правительство отныне открывает самый широкий доступ в офицеры тем, кто был лишен этой возможности по происхождению и по политической неблагонадежности. Если вы выступите с этим, то это несомненно будет бочкой масла в море...

— Но ведь совет министров ничего такого не постановлял, — возразил Керенский.

— Ничего, — настаивал я, — скажите, что вы, министр юстиции, вошли в совет министров с таким требованием и не сомневаетесь в его успехе.

Керенский немедленно бросился в «белый зал», пробираясь через толпу. Какая-то дверь, охраняемая церберами, разверзлась перед Керенским и тут же закрылась передо мною. Я отправился кругом. Придя в залу, я застал Керенского уже на кафедре, положившего свою дубинку на пюпитр и ожидавшего, пока председатель, не столь глубокомысленный, сколь речистый, кончит свою речь о том, что офицером может быть и хороший солдат и что никаких особых свойств и знаний для этого не требуется.

Керенский был шумно встречен, и его выступление, несомненно, имело реальный эффект. Вообще говоря, вопрос был затем как то смазан. Предложение же о доступе в офицерство для «политических», для евреев и т. п. — действительно было внесено Керенским в совет министров.

* *
*

Вечером, в комнате № 10, я уселся в уголке с Чхеидзе и тихонько ему одному читал проект манифеста к «народам мира». Он также, кажется, признал все литературные преимущества горьковского текста; но для Чхеидзе было ясно, что там не сказано того, что сказать было необходимо от имени народной революции. Я познакомил его и с моим «запасным» текстом. Чхеидзе относился к делу с величайшим напряженным вниманием и просил повторить отдельные фразы:

— Да, да... Вы скажите, вы напишите, что наступило время... наступило время народам взять в свои руки дело войны и мира.

Со слов Чхеидзе я внес поправку или вставил в текст именно эту фразу... В общем Чхеидзе признал пригодным мой вариант. Я немедленно дал мои клочки переписать на машинке. А затем давал нескольким товарищам для приватного ознакомления — большевикам, трудовикам, центру. Одни одобряли, другие основательно критиковали.

О содержании этого манифеста я скажу несколько слов потом. Трудности же при разработке этого документа — были очевидны. Тут было две Сциллы и две Харибды. Во-первых, по существу дела: тут надо было, с одной стороны, соблюсти «циммервальд» и тщательно избежать всякого «оборончества»; с другой же стороны, надо было «подойти к солдату», мыслящему о немце постарому, и надо было парализовать всякую игру на «открытии фронта» Советом, на «Вильгельме, который слопает революцию»... Эта «двойственность» задачи, эта противоречивость требований заставляла танцовать на лезвие, под страхом сковырнуться в ту, либо в другую сторону. И, конечно, это не могло не от-

разиться роковым образом на содержании манифеста.

Во-вторых, Сцилла и Харибда были в самых условиях прохождения манифеста через Исп. Ком.: правые тянули к прямому и откровенному оборончеству, социал-патриотизму, совпадавшему — с точки зрения редакции манифеста — с солдатско-обывательскими настроениями. Левые, напротив, как огня, боялись «шовинизма», всякой вообще «защиты» и всего того, что могло бы быть санкцией между-национальной вооруженной борьбы. Сделать приемлемым манифест для того и другого крыла — было задачей, если и осуществимой, то довольно головоломной. Приходилось не то, что «выбирать выражения», а «рассматривать» под микроскопом каждую запятую — и с одного, и с другого конца. Это заставляло не видеть из-за деревьев леса, затемняло общий смысл, центральное содержание — в интересах мелочного построения фраз. Обо всем этом мне придется по существу сказать несколько слов, когда речь будет итти о дальнейшей судьбе этого манифеста. Но во всяком случае, именно всем этим в огромной степени об'ясняется, а пожалуй, и оправдывается слабость этого важного документа революции.

* * *

Утром 7-го, петербуржцев радовал долгожданный трамвай... Вагоны вышли, разукрашенные флагами, всякими эмблемами и просто красной материей. Прохожие останавливались и любовались.

А в газетах все мы читали вторую официальную декларацию Вр. Правительства, помеченную 6-м марта... Первую правительственную декларацию, от

2-го числа, мы хорошо знаем. Мы знаем, что это была декларация не «самостоятельная», а целиком продиктованная правительству Исп. Ком.: там заключалась правительственная программа, выработанная в левом крыле для кабинета Милюкова — и больше ничего.

Так оставить дело правительство, конечно, не могло. В этой программе ведь совершенно отсутствовал необходимый для него пункт: «война до конца». Чтобы восполнить этот пробел, эту зияющую и кричащую пустоту, совет министров, повторив программу в новой декларации, предпослал ей новый пункт «о доведении войны до победного конца». И чтобы поставить над «и» все надлежащие точки, совет министров впервые об'явил, — впервые по крайней мере для всеобщего внутреннего употребления: «Правительство будет свято хранить связывающие нас с другими державами союзы и неуклонно исполнит заключенные с союзниками соглашения»...

Так, «самоопределялось» наше революционное правительство в своих — soit dit — государственных, а на деле классовых задачах, в частности и в особенности — связанных с войной... Ну, что ж! У нас, в Исп. Ком. как раз в те же дни подготовлялся первый международный акт российской революционной демократии: у нас также совершалось «военное самоопределение». Что из этого всего выйдет — поживем, увидим.

* *
*

В Исп. Комитете было много дел... Я застал обсуждение вопроса о печати. Не знаю толком, почему

именно возник вопрос и не помню, в чем именно заключался центр проблемы. Кажется, дело шло о разрешении черносотенных изданий. Как известно, Исп. Комитет, на основании постановления Совета (еще в первом его заседании 27 февраля), разрешал выход газет в зависимости от их политической физиономии. Большинство газет в столице было «разрешено» еще до ликвидации всеобщей забастовки. А суворинское «Новое Время» ухитрилось выйти без разрешения, коего оно не получило от издательско-типографской комиссии Исп. Комитета... Эта комиссия, после того, как я из нее вышел, состояла из Стеклова и Александровича, всегда готовых тащить и не пущать. Очевидно, они не разрешали правых газет и распорядились насчет репрессии по отношению к «Новому Времени». И, очевидно, их действия кто то обжаловал перед Исп. Комитетом, который и занялся 7 марта вопросом о печати. Прения были довольно продолжительны и скучны. Для левой вопрос решался тем, что речь идет о черносотенных изданиях, о явных врагах революции. Левые не хотели и слышать о свободе для них. Правые отстаивали всеобщую свободу печати.

Я очень решительно вмешался с «маниловской» речью, также отстаивая всеобщую и неограниченную свободу слова. Я утверждал, что принцип нельзя убивать вообще, а убивать безнаказанно — в частности. Я утверждал, что вместе с тем защита принципа свободы есть самая здравая и самая реальная политика. Ибо никогда правые издания, если бы они даже и действительно вышли, не могли иметь под собой меньше материальной и моральной почвы, чем в те времена. Сказав черносотенным газетам:

добро пожаловать на открытую арену, — мы заставили бы их зачахнуть и умереть бесславной смертью в несколько дней. И было не только преступно, с точки зрения принципа, но было неумно, с точки зрения реальной политики, загонять черную сотню в подполье, устранять собственных врагов с собственного поля зрения, с поля зрения тех, кому ничего не стоило раздавить черную прессу в три дня силой морального авторитета...

Да и вообще, преступно, неумно и смешно — рабочему и солдатскому, демократическому органу, после победоносной, блестяще завершенной борьбы, после обеспеченной победы, на глазах цензового правительства, соблазняя его скверным примером — применять такую дикую меру, как разрешительная система. Пользоваться таким оружием в данной обстановке — это так же преступно, неумно и смешно, как впереди несокрушимого «танка» посылать на врага молодца с дубинкой... Я «маниловски» отстаивал полную свободу печати и снятие всяких запрещений.

Дело решал центр... Увы! центр в большинстве своем соединился с левой. О Стеклове, с его «крутым нравом», конечно, не приходится говорить. Но вот я хорошо помню выступление председателя Чхеидзе... Он был мрачен и растерян, видимо, в борьбе с самим собой. Нежелание оторваться от демократических принципов боролось в нем со страхом, как бы несколько проблематичных правых листков не одолели революции или не нанесли бы ей тяжелого урона. Наконец, борьба разрешилась. Чхеидзе вскочил с места и, обращаясь, главным образом ко мне, стал неистово кричать, выкатив глаза, жестикулируя руками, извиваясь всем телом:

— Нне-ет, мы не па-азволим!... Когда происходит война, мы не дадим оружие врагу! Когда у меня есть ружье, я его не дам врагу! Я ему не скажу: вот тебе ружье, возьми... стреляй в меня. На, вот тебе ружье... на вот тебе... на! Не-ет, — я ему не скажу!...

Да! Хорошо было бы, если бы каждый ответственный деятель, а тем паче лидер революционной демократии отдавал себе точный и ясный отчет в том, где действительная опасность и где фикция, ее прикрывающая, где действительные враги и где ветряные мельницы...

Вопрос был решен в пользу запрещения правых газет, приостановки «Нового Времени» и подтверждения разрешительной системы — со стороны Совета. На другой день это постановление было опубликовано, это пятно на демократии Совета было оставлено. А еще через день, прочитав приказ, все «большие» газеты, мягко и с грустью (еще мягко и еще с грустью!), попрекали Исп. Ком. за бесцельный возврат к старым порядкам, за скороспелую измену собственным принципам, за трусость перед несуществующими врагами, за омрачение великих дней торжества демократии... Попрекали более, чем справедливо, — жаль, что слишком мягко!.. За пользование правом революции, за узурпацию правительственных функций, за «двоевластие» — однако, еще не попрекали. Еще не вполне «самоопределились».

Впрочем, уже 10-го марта постановление о печати было официально отменено. Трех дней было довольно, чтобы рассеять все страшные опасности или чтобы... образумиться. Кстати сказать, в Москве ничего подобного не было. Когда московская черная

пресса обратилась за разрешением выхода в местный Исп. Ком., — она получила достойный ответ: у нас ныне свобода печати, и никаких разрешений никому не требуется.

* * *

Следующим пунктом повестки в Исп. Комитете был манифест «к народам мира»... Я огласил текст Горького. С ним получилось то же, что мы видели и раньше: эта превосходная статья была признана недостаточно подходящей «к случаю». Мой текст, оглашенный после этого, был признан в общем приемлемым. Возникли небольшие прения главным образом, о редакции отдельных мест. Справа и слева, конечно, хотели ставить точки над «и»; но каждое такое выступление встречалось гудением противоположной стороны... Я посмеивался.

Кончилось тем, что мой текст был «принят за основу» — с пожеланиями, чтобы я внес поправки в соответствии с материалом прений. Заседание пленума Совета, на котором должен был быть принят манифест, предполагалось 10-го марта. В Исп. Комитете дело пока на том и остановилось.

Было запущено еще одно дело: еще не была избрана комиссия для сношений с правительством, для «регулирования», «давления» и «контроля». Исп. Ком. приступил, наконец, к выборам, чтобы потом — очевидно, в виду особой важности этой комиссии — представить ее на утверждение Совета... О составе «контактной комиссии» я уже упоминал. При выборах же ее, не в пример другим комиссиям, проявилась борьба течений. Дело было, вероятно, не в характере комиссии, а именно в том, что процесс само-

определения Совета и советских групп с каждым днем двигался вперед.

Борьба течений при выборах в «контактную комиссию» проявилась в столкновении кандидатур — правой Гвоздева, и левой — моей. Такой напряженности при выборах еще не замечалось... Я получил большинство в один или два голоса... После выборов подоспел Н. Д. Соколов. Он очень досадовал, что выборы прошли без него, когда он был в какой-то командировке, и очень жалел, что не попал сам в «контактную комиссию». Сношения и дипломатия с высокими сферами это, действительно, была его сфера... Но в этой «контактной комиссии», поскольку она вообще существовала, я также считал свое участие небесполезным: наступило время и довольно скоро, когда мне одному пришлось вести в ней левую линию, а также осуществлять в ней, по мере сил, «давление» и «контроль», — в несколько своеобразном и неожиданном направлении...

* * *

От нового петербургского городского головы, Глебова, отлично приспособлявшегося к новой обстановке, было получено предложение: во-первых, назначить ему в товарищи делегата Совета Р. и С. Д., а во-вторых, делегировать еще пять советских представителей в состав «совета городского головы»... Прекрасно! Это шло по линии того же «проникновения» демократии в государственную жизнь, по линии той же системы регулирования, давления и контроля, которая не удалась во всем ее об'еме, не удалась, как система, но все же осуществлялась обрывками, по частям.

Я, помню, уделил этому делу много внимания, подбирая кандидатов в «советские муниципалы». В товарищи городского головы я решительно выдвинул Никитского, человека очень к тому подходящего и уже изнывающего за своей полицейской работой в градоначальстве. Впоследствии Никитский на этом посту стал притчей во языцех для всей буржуазии и ее прессы, перепуганной революцией. Его травили, как вреднейшего экспериментатора и разрушителя городского хозяйства. Но когда я, еще до назначения Никитского на этот пост, свел его с Глебовым, для предварительного ознакомления и контакта, то обе стороны остались друг другом очень довольны... Действовал же Никитский на своем посту, на мой взгляд, напротив, очень хорошо и представлял Совет вполне удачно. Ни одного недоразумения у него с Исп. Ком. я, во всяком случае, не помню — до самого того дня, когда Никитского сместили с этого поста одержавшие на выборах верх право-эсеровские обыватели, составившие в Гор. Думе с кадетами единый фронт.

При выборах в Исп. Комитете у Никитского был только один конкурент — мало серьезный. Но все же с этим делом провозились еще несколько дней. Кто был командирован в «совет городского головы», — я не помню. Но помню, я рекомендовал Глебову еще одного демократического члена управы, моего товарища по ссылке, безнадежного трудовика и «эстетического социалиста», но знающего, фанатического и несомненно демократического муниципала, М. Н. Петрова. Глебов этим также был очень доволен...

«Городская коммуна», до ее реорганизации, была обеспечена людьми революции. Значения этого ни

в каком случае нельзя было преуменьшать... Формальное утверждение их в гор. Думе состоялось, однако, еще через целую вечность, только через две недели — 24 марта.

* * *

В перерыве заседания Стеклов шумел по поводу приказа, изданного ген. Алексеевым на фронте. Ген. Алексеев получил известие, что на фронт едет депутация в пятьдесят человек и именем нового правительства обезоруживает жандармов. Генерал навел справки, и оказалось, что подобной депутации правительство не посылало. Тогда он умозаключил, что имеет дело с «чисто революционными разнузданными шайками, которые стремятся разоружить жандармов на железных дорогах и, конечно, в дальнейшем будут стремиться захватывать власть как на железных дорогах, так и в тылу армии и, вероятно, попытаются проникнуть и в самую армию». По этому случаю генерал приказывает: «при появлении где-либо подобных самозванных делегаций, таковые желательно не рассеивать, а стараться захватывать их и по возможности тут же назначать полевой суд, приговоры которого немедленно приводить в исполнение»...

Документ, конечно, в высшей степени содержательный и замечательный. Бравый генерал собрался карать смертной казнью разоружение жандармов, даже в тылу! Такого генерала надлежало немедленно скрутить в бараний рог — или устранить совсем или привести к покорности революции. Такое «явление», конечно, было совершенно нетерпимо. Практически же документ был нисколько не опасен, а только смешон. 7-го марта, когда «чисто револю-

ционные шайки» были окружены ореолом героев и освободителей, а разоружение жандармов стало богоугодным делом для самого заплесневелого обывателя, — в это время документ ген. Алексеева производил впечатление упавшего с луны. Об'ясняться он мог только тем, что был подписан 3-го марта, когда почтенный генерал еще не имел надлежащих понятий о том, что такое революция. Никаких трагических последствий приказ этот не мог иметь даже на фронте. Нас же в Исп. Комитете он больше развеселил, чем встревожил.

Но в деле была, конечно, важная сторона: генерал то все-таки никак не мог взять в толк создавшуюся обстановку и новые комбинации общественных сил. И ясно: это не отдельный генерал, а весь высший командный состав — как бы падок ни стал он на «революционные» фразы о народе, свободе и проч. На это приходилось обратить самое серьезное внимание и избрать надлежащую линию пресечения — опять таки между Сциллой и Харибдой. Нельзя было прямо и решительно громить систему: это значило бы создавать немедленный и полный развал на собственную голову. Но было необходимо прямо и решительно пресекать все то, что являлось эксцессом, что вступало в очевидный конфликт с совокупностью новых условий.

Необходимость, точнее неизбежность коренных перемен в армии была очевидна для всякого. В военном министерстве уже работало под председательством бывшего «популярного» министра Поливанова «особое совещание по улучшению быта армии». Но одно дело, разработать в четырех стенах законы, декреты, положения, а другое — перевоспитать, переродить целую корпорацию, закоренелую в своем

кастовом бытии. Заставить генералитет действительно воспринять революцию — это дело, если не было безнадежным, то требовало огромной работы, такта, времени.

Пока же выступление ген. Алексеева не было и не могло быть единственным сюрпризом. Дня через два подоспел другой приказ — ген. Радко-Дмитриева. Этот господин, уже прожив дней десять в новом строе, уже имевший время хоть немного его переварить, грозил военно-полевым судом за упущения по части чинопочитания и отдания чести. Он об'являл в приказе, что это есть «основа дисциплины и именно разумной дисциплины». А потому — во имя народа, свободы, победы — по всей строгости закона и военного времени...

Конечно, очень трудно сначала было генералам. Но потом попривыкли...

* * *

Говорили о том, что советская резолюция о возобновлении работ надлежащего успеха за эти два дня не имела. На петербургских заводах шло брожение и непрерывные митинги. Было не мало заводов, которые определенно и сознательно не подчинились постановлению Совета.

Конечно, вопрос на местах заключался не в чем ином, как в условиях возобновления работ. Основное и необходимое условие, выдвигаемое петербургским пролетариатом, был восьмичасовой рабочий день. Это «квалифицированное» требование, выдвинутое в первую голову, свидетельствовало о сравнительно высоком уровне движения. Но, с другой стороны, в условиях войны и падения производительных сил, это требование — не в пример повышению

заработной платы — имело свои отрицательные стороны, и сулило трудности, о которых речь будет в дальнейшем.

Иные заводы приступили к работам, пред'явив сепаратно требование о 8-ми часовом рабочем дне; иные не приступали, пред'явив ультиматум; иные же заключили соглашение с администрацией, удовлетворившей требования рабочих...

Во всяком случае, картина была пестрая. Ликвидация забастовки шла не дружно, и авторитет Совета — по крайней мере, когда Совет гнул направо — оставлял желать весьма многого. В заседании рабочей секции Совета, уже собиравшейся в «белом зале», было необходимо поставить вновь вопрос о возобновлении работ и настоять на выполнении советских постановлений. Но вместе с тем начиналась каторжная работа в комиссии труда — по разработке условий работ, по разбору конфликтов, бесконечно нудных и острых недоразумений... Хорошо, поистине, в поте лица потрудились там Гвоздев, Богданов, Панков — между молотом и наковальней.

* *
*

В Таврическом дворце появился М. Горький. Я встретил его в корридоре. Он пришел от петербургских художников — по делу об охране памятников. Он принес небольшое воззвание и хотел, чтобы оно завтра же было расклеено по улицам от имени Исполнительного Комитета [1]).

---

[1]) Мне хочется привести это прекрасное трогательное воззвание, написанное Горьким. Написанное отнюдь не для тех, от кого могло исходить действительная опасность произведениям искусства, оно очень хорошо отражает свойства Горького, как

Горький просил меня взять текст и «провести» его по возможности немедленно. Но я непременно хотел, чтобы Горький лично вошел в соприкосновение и контакт с Исп. Ком. И после краткой артиллерийской подготовки Чхеидзе насчет воззвания, я затащил Горького в комнату Исп. Ком., где разлагалось и кончалось заседание. Попытка Чхеидзе торжественно встретить писателя, поэтому, не удалась, и Горький, на ходу изложив свое дело, прочитал воззвание. Оно было молчаливо принято и тут же отправлено в типографию.

Но, конечно, воззванием нельзя было ограничиться. Горький поднял вопрос о похоронах жертв революции на Дворцовой площади, представив соображения художников и изложив их собственные проекты насчет Марсова Поля... Припоминаю, что художников было несколько групп, и было несколько «течений» по данному вопросу. Ко мне обращалось два-три человека, защищая, кроме Марсова Поля, еще Таврический сад и, ка-

---

автора «действенного» обращения к массам в целях воздействия на них. Воззвание гласит:

«Граждане, старые хозяева ушли, после них осталось огромное наследство. Теперь оно принадлежит всему народу.

Граждане, берегите это наследство, берегите дворцы, они станут дворцами вашего всенародного искусства, берегите картины, статуи, здания — это воплощение духовной силы вашей и предков ваших.

Искусство это то прекрасное, что талантливые люди умели создавать даже под гнетом деспотизма и что свидетельствует о силе, о красоте человеческой души.

Граждане, не трогайте ни одного камня, охраняйте памятники, здания, старые вещи, документы — все это ваша история, ваша гордость. Помните, что это почва, на которой вырастет ваше новое народное искусство.

Исполнительный Комитет Сов. Раб. Деп.».

жется, еще какое-то место для похорон. Излагали свои планы и как будто показывали чертежи. Вообще среди художественного мира было движение. Говорили о наступившем золотом веке для искусства, о министерстве по делам искусств и т. д... Со всеми проектами похорон я направлял к Горькому.

Чхеидзе был в затруднении, как поступить с состоявшимся решением Совета насчет Дворцовой площади. Большого энтузиазма к этому он, однако, не проявлял. Я настаивал, чтобы Горький немедленно выступил в собиравшемся Совете (рабочей секции) и тем разрубил вопрос. Я усиленно провоцировал Горького на это выступление, не сомневаясь в его эффекте вообще и практическом эффекте, в частности. Решили, что Горький сейчас выступит.

* * *

В «белом зале» глаз отдыхал от серых солдатских шинелей на черных одеяниях и культурных лицах передовых пролетариев России. Но была та же неряшливость, то же курево в зале...

Появился первый деревенский ходок — мужичек с котомкой. Он бойко приветствовал братьев-рабочих, их победу, их организацию и впервые провозгласил от имени крестьянства: «Вся земля народу!» Его дружно поддержали и шумно проводили...

Чхеидзе пришел представить Совету почетного гостя и, прокричав «ура!», неуклюже назвал его:

— Это Алексей Максимович Горький.

После оваций, Горький изложил дело, не особенно удачно, не конкретно, не рассчитав голоса по зале,

разбавив вопрос о похоронах изложением проектов народных празднеств и различных предположений работников искусства... Горькому, как следует, похлопали, но на вопрос, желает ли Совет пересмотреть свое решение о месте похорон, голосование ответило отрицательно!.. Горькому никто не возражал. Не пожелали, и все тут. Неисповедимы пути народных движений, народных собраний, народных мгновенных импульсов...

Похороны, как известно, состоялись в конце концов все-таки на Марсовом Поле. Но как это произошло, я не помню. Кажется, дело было по-просту решено постановлением Исп. Комитета, установившего, по соглашению с художниками, «техническую невозможность» похорон на Дворцовой площади и отменившего на этом основании постановление Совета... Горький же с тех пор в Совете не появлялся — как ни звал я его туда, как ни провоцировал его снова на непосредственное общение и контакт с центральным органом революции.

* * *

В этом же заседании рабочей секции специальный доклад об организации похорон делала специальная похоронная комиссия. От ее имени выступал студент какого-то специального заведения, специально прикомандированный ко всяким церемониям и торжествам. Необыкновенно длинный человек с необыкновенно узкими плечами и большой головой — этот похоронный студент всегда появлялся на горизонте во всех таких случаях и, неподвижно стоя на кафедре, глухим замогильным голосом докладывал распорядок и технику церемоний... Это была большая

и ответственная работа. Именно ей и этому студенту, в частности, в огромной степени мы обязаны были тем, что все торжества, процессии, манифестации того времени проходили не только без несчастий, но в изумительном порядке, с полным блеском.

Боялись, конечно, провокации и ходынки. Черная сотня как-никак еще существовала. Воспользоваться стечением всего революционного Петербурга, устроить провокационную панику, массовую давку, стрельбу и сыграть на этом во время смятения еще не устойчивых умов — это могло быть очень соблазнительно для потерпевших темных сил, куда то исчезнувших с открытого горизонта...

С другой стороны, «лучшие военные авторитеты» утверждали категорически, что миллионную массу пропустить в течение дня через один и тот же пункт совершенно невозможно. Говорили, что это окончательно и бесповоротно доказано и теорией, и практикой массовых передвижений войск. Между тем в похоронах должен был принять участие весь петербургский пролетариат, весь гарнизон; и собиралась на похороны также вся обывательская и интеллигентская масса, горевшая первым энтузиазмом. Это было гораздо больше миллиона верных участников.

И риск, и трудности были, стало быть, огромны. Обеспечить порядок приходилось, в полном смысле, самому населению и приходилось положиться на его сознательность и самодисциплину. Молодая милиция и громоздкий, разбухший, совершенно неопытный в этих делах гарнизон — сами по себе ничего не могли сделать. Зато, если бы все сошло хорошо, то это был бы блестящий экзамен и новая огромная победа петербургской демократии.

Сейчас похоронная комиссия, в лице длинного студента, изложив все затруднения, требовала отсрочки похорон, назначенных на 10-е. В противном случае, она ни за что не ручалась... Отсрочка была дана.

* * *

А затем рабочая секция занялась снова возобновлением работ. Длинный ряд докладов с мест вскрыл интереснейшую картину рабочего Петербурга в дни затихающей бури. Совету приходилось завоевывать и отстаивать свой авторитет среди колеблемой массы. Почва была очень скользкая. Но председатель Богданов мужественно поставил вопросы ребром и получил положительные ответы. Было постановлено: 1. признать решения Совета Р. и С. Д. обязательными для всего рабочего класса Петербурга и 2. подтвердить обязательность постановления Совета о возобновлении работ. Против второго пункта голосовало 15 человек. Особого внимания удостоился непослушный московский район, которому Совет смело постановил вменить в обязанность немедленно стать на работы. Правильно!.. 7-го марта состоялось собрание агитационной комиссии Исп. Ком. — с участием многих «агитаторов». Комиссии этой, конечно, предстояло огромное будущее. И теперь она уже широко развернула свою деятельность в пределах города. Требования на агитаторов и пропагандистов были колоссальны, безграничны. Все хотели знать и еще ничего не знали...

В агитационной комиссии пришлось поднять ряд сложных вопросов. Ведь все агитаторы были партий-

ные люди. Как поступать им в своих выступлениях от имени Совета?.. После основательных прений «общие положения» были установлены — в том смысле, что в крупных, принципиальных вопросах агитаторы были обязаны придерживаться политической платформы Исп. Комитета и Совета. Но каждому предоставлялось, отгородившись от Совета, развивать и свои партийные взгляды.

Этим, конечно, ни в какой мере не разрешался больной вопрос о взаимоотношении партий и Совета, — вопрос, с которым Исп. Комитету пришлось в острой форме столкнуться еще в ночь на 2-ое марта. С тех пор этот вопрос неоднократно вставал на очередь, но так и не обсуждался. Насколько помню, он так и не был никогда обсужден в Исп. Ком. Да его, повидимому, было и невозможно разрешить теоретически — так, чтобы решение было приемлемо для Совета и для партий. Практически же, когда началась резкая партийная диференциация, когда она сделала безнадежной самую постановку вопроса в теоретической плоскости, — тогда вопрос этот легко решила сама жизнь, решил «стихийный» ход революции.

В ночь на 2-ое марта Исп. Комитет столкнулся с самочинными и вредными действиями петербургского «междурайонного комитета» — большевистской автономной организации, выпустившей прокламацию против офицеров в острейший по погромам момент. Очень любопытно, что с тех пор эта организация успела сама поставить и разрешить вопрос о своих отношениях к Совету. Вот какую резолюцию вынесла она по вопросу о возобновлении работ: «Принимая во внимание, что исходящий от Совета призыв к возобновлению работ не содержит в себе

указаний на минимум необходимых изменений в условиях труда и способен внести расстройство в ряды рабочего класса, — межд. ком. считает необходимым предложить Совету Р. и С. Д. немедленно поставить на обсуждение вопрос о введении 8-ми часового рабочего дня, о нормировке заработной платы, об изменении состава заводской администрации и введении охраны женского и детского труда. Но вместе с тем, констатируя, что Совет является в данный момент единственным выразителем воли пролетариата, что сила рабочего класса заключается в единстве, и всякая разрозненность действий учтется в данный момент врагами революции, как признак его слабости, — пет. меж. ком. призывает рабочих подчиниться решениям Совета».. Большевикам-междурайонцам, отлично знавшим, что вопрос об изменении условий труда уже поставлен в Совете, конечно, было необходимо накормить волков «партийности»; если они сочли при этом нужным сохранить овец дисциплины и единства, — то это было прекрасное начало. В добрый час!..

* * *

Революция раскинулась по всему лицу русской земли. Со всех концов ее поступали сотни, тысячи известий о перевороте, происшедшем легко, мгновенно, безболезненно и спрыснувшем живой водой, вызвавшем к жизни придавленные, прозябающие народные массы. Телеграммы говорили о «признании», «присоединении» войск (вместе с командным составом), рабочих, крестьян, чиновников, буржуазии и всякого люда...

Естественно, что население разбивалось на две

группы: одна тяготела к Мариинскому дворцу, другая — к Таврическому. Средина — мелкобуржуазные слои — колебались, но понемногу выбирали, самоопределялись. Пока это было, впрочем, нелегко, ибо пока на видимой поверхности были тишь и гладь.

Советы в мгновение ока образовались повсюду. Образовались, конечно, кое-как и действовали, не мудрствуя лукаво; но это были организации, опорные пункты демократии и революции... Профессиональные союзы росли, как грибы. «Известия» были переполнены воззваниями, приглашениями, повестками всевозможных, самых неожиданных союзов и «ассоциаций». Вероятно, сотни митингов и организационных собраний происходило ежедневно в Петербурге.

Все партии и политические группы, не исключая микроскопических и никчемных трудовиков, н.-с.-ов, «Единства», тех же «междурайонцев», — сломя голову, бросились в работу и уже развили такую энергию, что буржуазия на эту бешеную скачку смотрела изумленными очами и начала, чем дальше, тем откровеннее, высказывать свой страх...

У самой буржуазии кадеты поглотили всех прочих. Более правые казались уже не по сезону и исчезли, как дым. Но дело от этого нисколько не менялось. «Партия народной свободы» стала вполне прочной цитаделью всей плутократии и степенно выступала со знаменем государственности и порядка. Сейчас она готовила с'езд и неустанно рассуждала на тему — монархическая она партия или республиканская. Милюкову, вместе с мартовскими кадетами, нахлынувшими справа, приходилось трудненько — против левой моды, против обывательской мягкости и народолюбческого энтузиазма...

Страна и демократия организовалась не по дням, а по часам. При виде этого радовалось сердце, и думалось: теперь необходимы скорее новые демократические муниципалитеты: — при них, если так пойдет дальше, цензовики у власти скоро будут излишней роскошью. Еще несколько недель, — и мавр, пожалуй, закончит свое дело.

Отрадно и поучительно было заглянуть тогда в наши «Известия», взглянуть на эту вереницу обращений, приглашений, об'явлений. Но не скажу, чтобы «Известия» в то время вообще могли доставить удовольствие советскому патриоту. Боже мой, — что это был за беспорядочный, невыдержанный, расхлябанный, «неумелый» орган! Безо всякой руководящей «линии», с возмутительным подбором и расположением материала, с заголовками, ни на иоту не соответствующими тому, что находится под ними, с самыми удивительными сообщениями, — это была не газета, а какой то калейдоскоп механически втиснутых в полосы отрывков. При таких условиях «Известия», конечно, не имели будущего.

Стеклов, естественно, не имел времени заняться этим делом вплотную. Другие, очевидно, не чувствовали себя достаточно устойчиво в редакции и не имели достаточно развязанных рук. Кроме того, у Стеклова были какие то недоразумения с техникой, с типографией и ее администрацией. Его обвиняли в самоуправных, дезорганизаторских действиях и в «превышении власти». Приходили с жалобами. Дело «Известий» разбиралось в Исп. Ком. Была назначена комиссия для расследования. Чем кончилось дело — не помню.

* * *

8-го марта нам пришлось заняться советскими финансами. У Исп. Ком. уже было обширное делопроизводство, канцелярия, штаты. Организация все ширилась и разветвлялась. Требовался солидный бюджет, и финансовая комиссия, с Л. М. Брамсоном во главе, корпела над его разработкой.

Очень многие советские работники бросили для Совета все свои дела и заработки. Они должны были лечь целиком на бюджет Совета. Но источников доходов кроме доброхотных даяний и «Известий» — не было никаких. И измыслить их, а особенно обеспечить поступления — было до крайности трудно.

Приняли воззвание к жертвователям. Потом много таких воззваний выпускала финансовая комиссия. Применяли отчисления от заводских, профессиональных и других организаций. Прибегали к займам. Увы, финансы «частного учреждения», насколько я знаю, никогда не процветали — до самого октября.

Сейчас было сделано предложение — не помню, от кого оно исходило — обратиться к правительству с предложением ассигновать на нужды Совета, как всероссийской организации, 10 милл. руб. из государственных средств... Я лично был против этого предложения. Ведь каково бы ни было фактическое положение Совета в государстве, все же с формальной, с государственно-правовой точки зрения это было «частное» учреждение, классовая организация, которую, согласно создавшейся временной конституции, писаной и неписаной, никак нельзя было включить в наличную систему государственных учреждений. Следовательно, ассигнование из государственных средств могло быть произведено только в порядке ссуды или субсидии.

А это предполагало такие взаимоотношения между советом и правительством, каких на деле не было, каких не могло быть, не должно было быть. В интересах полной классовой независимости демократии от цензовиков, в интересах полной свободы борьбы Совета с цензовым правительством — я высказывался против обеспечения советского бюджета путем правительственной субсидии.

В этом отношении я опять-таки разошелся с большинством и правых, и левых: правые не предполагали или не хотели борьбы, левые не видели или не хотели видеть связи между борьбой и субсидией... Было решено обратиться к правительству, через «контактную» комиссию, за ассигновкой в 10 милл. руб.

Пожертвования вообще не могли обеспечить советский бюджет. Но сейчас они поступали в огромном количестве — от всевозможных организаций и частных лиц всякого звания, не исключая буржуазии. Таков был энтузиазм и таков был ореол Совета в те идиллические времена... Еще более широкой рекой текли пожертвования на нужды амнистированных товарищей — ссыльных, каторжан, эмигрантов. Здесь, в сфере благотворительности, именно буржуазия сочла тактичным тряхнуть мошной. Во мгновение ока был создан фонд в полмиллиона рублей (по тем временам — огромная сумма), который все рос и которым распоряжался особый комитет, во главе не то с В. Н. Фигнер, не то с О. Л. Керенской. Это была насущная нужда, и она была хорошо удовлетворена за счет «общественного энтузиазма».

* * *

Декрет об амнистии, наконец, был опубликован 8-го марта. Пора! Недоразумений было не мало и после декрета. Об отдельных категориях «преступников» пришлось дать дополнительные постановления в последующие дни... Молодой министр юстиции терпел одну неудачу за другой в своих товарищах: желательные ему кандидаты отказывались один за другим. Но все же министерство Керенского работало, не покладая рук и, пожалуй, обгоняло соседние ведомства в своей «органической» работе, в реформаторской деятельности.

На следующий день Керенский провел декрет об отмене смертной казни. Это также было встречено всеобщим энтузиазмом. Но... не была ли судьба этой меры самым из всех горьким издевательством над великой революцией! Мы встретимся со смертной казнью, с борьбой за нее и против нее, через немного месяцев. Мы увидим, как «во имя революции», смертную казнь отстаивал тот, кто отменил ее, а боролись с ним те, кто «во имя революции» применяли потом массовые казни без суда. Не только над революцией издевались люди, — издевались всенародно над самими собой. Не мудрено! Пережита великая трагедия, сила и глубина которой не стала от того меньше, что для участников и современников эта трагедия так часто казалась фарсом...

Другие министерства также, впрочем, работали очень хорошо. Милюков вел свою тайную дипломатию, подготовляя «признание» революционного правительства доблестными союзниками. Гучков неустанно трудился над трудной задачей, как бы в армии устроить все по-новому и оставить все по-старому. Шингарев, с Громаном над душой, работал над продовольствием и подготовлял хлебную моно-

полию. Коновалов и Терещенко ухаживали одновременно и за промышленниками, и за «товарищами-рабочими», — при чем первый хлопотал над созданием в своем министерстве отдела труда, чтобы потом сделать из него самостоятельное министерство; второй изыскивал «безболезненные» пути к финансовой реформе и делал доклады об улучшении курса русского рубля. Не без дела был и святейший прокурор, В. Н. Львов, — ибо духовенство встряхнулось, быстро «самоопределялось» и задумало не на шутку стать государством в государстве — особенно в Москве.

8-го же марта я заглянул в солдатскую секцию. О выборном начальстве там, кажется, забыли, но были заняты хронической болезнью столичного революционного гарнизона — вопросом о выводе частей из Петербурга. Дело шло о выселении в места прежнего расположения вновь прибывших частей, не склонных возвращаться к пенатам. Относительно этих частей правительство в первоначальном нашем «договоре», не брало на себя никаких обязательств; и вообще держать их в столице не могло быть оснований. Солдатская секция постановила: разрешить вывести те части, которые имеют признанных солдатскими собраниями офицеров, имеют выборные солдатские комитеты и необходимое вооружение...

Вопрос о выводе частей прошел не мало фаз и стадий, оставаясь всегда благодарной почвой, ударным пунктом для всяких искателей меньших сопротивлений в сердцах темных масс. В течение 8-ми месяцев этот вопрос хронически выплывал на арену, а перед самым октябрьским переворотом, он же явился последней каплей, переполнившей чашу, вы-

лившей солдатскую стихию в подставленные пригоршни большевиков.

* * *

Исп. Комитет переезжал в новое помещение. Комната № 10 была нужна для редакции «Известий», и Исп. Ком. рад был от нее освободиться при первой возможности. Новое помещение, в другом конце Дворца, было относительно удобным и стало постоянным до самого переезда в Смольный. Это была большая комната № 15, расположенная не на ходу; правда, в ней было довольно низко и при больших скоплениях людей довольно душно; но она имела то неоцененное преимущество, что при ней была передняя, с телефоном, в которой могли помещаться «службы» и солидные заградительные отряды.

Меблирована комната была также довольно убого. Кое какой стол, не хвативший на весь разросшийся Комитет; не в избытке разнокалиберные стулья, иногда трех-ногие, или плетеные кресла, иногда продавленные; турецкий диван, неизвестно почему попавший в революцию; пустой шкап, служивший исключительно для прикрытия двери в следующую комнату, в комнату, солдатской Исп. Комиссии, и с треском во время заседаний отодвигаемый нетерпеливыми товарищами, нежелавшими обходить кругом; у окна «закусочный» и «чайный» кухонный стол, уставленный разного вида кружками, стаканами, банками, чайниками, об'едками; и, наконец, гармонично дополняло обстановку великолепное золоченое трюмо — Бог весть, кому раньше служившее и почему оставленное в этой компании. Оно напоми-

нало блестящего генерала, осаждаемого где-нибудь на импровизированном митинге новыми гражданами — солдатами и отбивающегося от них в яростном споре непривычными, плохо идущими с языка словами: *«нет, послушайте, товарищи, конечно, мы теперь все равны» и т. д...*

Что было в этой комнате раньше — я не знаю; но с 9-го марта и до самой «коалиции» здесь заседал Исп. Комитет. Заседания его имели все тот же мало внушительный вид. Было непрерывное хождение — по делам и без дела. За недостатком места люди жались по стенам, стоя и сидя иногда по двое на стуле. Обыкновенно было жарко, и в углу — за отсутствием вешалок — лежала куча шуб, около которой возились и шумели товарищи, разыскивая свои вещи.

Переезд в новое помещение внес некоторую пертурбацию в работу Исп. Ком. Пока шло элементарное устройство новой резиденции, Соколов, перебегая от одного члена к другому, вел агитацию насчет воззвания к полякам, которое он считал необходимым принять и опубликовать вместе с манифестом «ко всем народам». Никто против этого не возражал, и предлагали Соколову наметить текст воззвания...

Пришел А. В. Пешехонов, бывший комиссаром Петербургской Стороны, и делился своим административным опытом. Рассказы его были любопытны, насыщенные не столько пессимизмом, сколько свойственной ему «трезвостью» и сознанием трудности очередных задач.

* * *

Меня позвали в переднюю, говоря, что меня требует, от имени Керенского, какая-то «дама». Я направился к выходу, но взволнованная дама, небольшая, одетая в черное, фигурка, уже вошла в почти пустую комнату Исп. Ком. Ее сопровождал представительный, блестяще одетый барин, с великолепными усами и типичным обликом комми-вояжера.

Немолодая, изящная женщина, протягивая мне какую-то бумагу, совершенно невнятно, робея, запинаясь и путаясь, заговорила о том, что ее направил ко мне Керенский, что он выдал ей эту бумагу, и что она теперь совершенно свободна, и никакому аресту она не подлежит, и ее невинность, лойяльность, непричастность вполне установлены и т. п. Не понимая, в чем дело, я невольно перевел вопросительный взор на ее спутника. Тот шаркнул ногой и сказал:

— Это госпожа Кшесинская, артистка императорских театров. А я — ее поверенный...

Я боялся, что могущественная некогда балерина расплачется от пережитых потрясений и старался ее успокоить, уверяя, что решительно ничто ей не угрожает и все возможное будет для нее сделано. Но в чем же дело?.. Оказалось, что она пришла хлопотать за свой дом, реквизированный по праву революции и разграбляемый, по ее словам, пребывающей в нем несметной толпой. Кшесинская просила в крайнем случае локализировать и запечатать имущество в каком-нибудь углу дома, а также отвести ей помещение в ее доме для жилья.

Дело было трудное. Я был ярым врагом всяких захватов, самочинных реквизиций и всяких сепарат-

но-анархистских действий. В качестве левого, я никогда не имел ничего против самых радикальных мероприятий по праву и самых радикальных изменений в праве; но был решительным врагом бесправия и «правотворчества» всеми, кто горазд, на свой лад и образец. В этом отношении я готов был идти дальше многих правых и нередко вызывал этим замечания среди глубокомысленных советских политиков, что в голове у меня хаос и непорядок, что неизвестно почему — я мечусь справа налево, что человек я ненадежный, и никогда не знаешь, чего можно ожидать от меня.

Против сепаратных захватов помещений и предприятий я боролся, насколько мог. Но успеха имел не много. Во-первых, принцип спотыкался о вопиющую нужду вновь возникших организаций, имевших законное право на жизнь. Во-вторых, принцип был не убедителен не только для левых, но и для многих центровиков, — и сепаратно-самочинные действия «по праву революции» практиковались в самых широких размерах. Не одного меня шокировал, напр., штемпель на наших «Известиях»: «Типография Известий Совета Р. и С. Деп.»; он стоял там безо всякого постановления, соглашения, вообще основания; типография была чужая; но ничего мы с этим поделать не могли.

Дело Кшесинской было трудное, и я не знал, как помочь ей. Я спросил:

— Где ваш дом?

Кшесинская как будто несколько обиделась. Как могу я не знать знаменитого дворца, притягательного пункта Романовых!

— На набережной, — ответила она, — ведь его видно с Троицкого моста...

— Помилуйте, — прибавил «поверенный», — этот дом в Петербурге хорошо известен.

Мне пришлось сконфузиться и сделать вид, что я также его хорошо знаю.

— А кто его занял?

— Его заняли... социалисты-революционеры-большевики.

Повидимому, Кшесинская произнесла эти трудные слова, представляя себе самое страшное, что только есть на свете... Что же тут делать? И почему именно ко мне ее прислали?

Я остановил пробегавшего Шляпникова. Дом заняли большевики. Грабят? Пустяки — все ценности сданы хозяйке. Почему и на каком основании дом занят самочинно? — Шляпников посмеялся и, мухнув рукой, побежал дальше...

Я обещал поставить вопрос в Исп. Ком. и сделать все возможное, чтобы «урегулировать» дело с помещениями. Будем надеяться... Но ни я, ни она, кажется, ни на что не надеялись.

В ближайшие дни вопрос о распределении помещений поднимался в Исп. Комитете не раз. При самочинных захватах было не только без конца обид для старых хозяев, но было без конца несообразностей и взаимных несправедливостей среди самих реквизирующих. Я настаивал на образовании особого центрального учреждения при городской думе, с участием советских представителей, и полагал, что там надо сосредоточить все дело подыскания и распределения помещений, предоставив этому учреждению диктаторские права. Как будто такое учреждение действительно было образовано, но едва ли оно обладало необходимой полнотой власти и внесло в дело надлежащую планомерность. Хаос, самочинство, оби-

ды и жалобы — продолжались еще долго и были изжиты с трудом.

* * *

Правительство опубликовало текст новой «революционной» присяги. Он был признан неудовлетворительным. Не знаю, по чьему настоянию, было постановлено выработать другой текст и предложить его правительству. Эрлиха, меня и еще кого-то третьего заставили быть комиссией для составления советского текста...

В новой комнате, без стульев, расположившись полулежа на окне, мы занялись этим делом. За основу было естественно взять правительственный текст. Одиозность его заключалась, собственно, в том пункте, где речь шла о повиновении:

> ...всем поставленным надо мною начальникам, чиня им полное послушание во всех случаях, когда этого требует мой долг солдата и гражданина перед отечеством.

Комиссии следовало придать условность этой готовности повиноваться и подчеркнуть, что повиновения быть не должно, когда приказание направлено против... Кого и чего? Как это выразить? Против революции? Свободы? Народа? Демократического строя? Республики? Совета Р. и С. Д.? Перебрали и перепробовали все это и, вероятно, многое другое. Я полагал, что здесь следует отметить две стороны дела, двух китов, на которых зиждется новый строй: свободу и народовластие. Как в точности это было формулировано, я не помню. Но, кажется, именно в этом смысле пункт о повиновении начальникам был формулирован нашей «комиссией».

Исп. Комитет — по крайней мере, группа его членов во главе с сильно шумевшим Стекловым — остался недоволен нашей работой. Нашли, что переделок слишком мало, а «уступок» слишком много. Вместо свободы и «народовластия» многие подставляли более радикальные и более конкретные понятия, вроде республики. Некоторые настаивали, чтобы наряду с Вр. Правительством и Учр. Собранием упомянуть и Совет Р. и С. Д., подчеркнув, что приказы, идущие вразрез с его волей, также не подлежат выполнению... Во что после прений вылилась советская формула присяги, я сейчас не берусь сказать. В имеющихся у меня под руками (если можно так выразиться) не полных комплектах газет я не нахожу этой формулы...

Присягой у нас довольно много занимались в последующие дни. Ее вынесли (12 числа) в заседание солдатской секции, где правительственный текст был признан неудовлетворительным и было постановлено: «до выработки новой формулы присяги к опубликованной присяге не приводить, а где это сделано, считать присягу недействительной»... Затем, в несколько приемов вела тягучие и бестолковые переговоры о присяге «контактная комиссия». Правительство здесь не рассчитывало на оппозицию и, проводя «полноту власти», уже пустило в ход свою формулу на фронте. Опротестование этой формулы Советом вызвало ряд затруднений и пертурбаций, на которые ссылалось правительство в «контактной комиссии», заявляя при этом, что в принципе оно готово идти на уступки.

В конце концов, если я не ошибаюсь, вопрос был затерт и замазан. Еще долго слышались отголоски поднятого нами шума в сообщениях с фронта, —

но ни та, ни другая сторона, ни правительство, ни Совет не довели «войну до конца» и не достигли «полной победы». Мораль же дела о присяге как будто такова. Мариинский дворец в процессе своего самоопределения в качестве классового, цензового правительства, обладающего всей полнотой власти, — получил снова и снова доказательство того, что свою классовую политику, хотя бы и на платформе 2-го марта, ему свободно и самодержавно проводить не придется: ибо Совет Р. и С. Д., в процессе своего самоопределения в качестве полномочного выразителя воли трудовой России, обладающего большею реальной силой, — неизбежно наложит (сегодня или завтра) свою руку на правительственную политику и повернет государственный корабль в демократическое русло. Так обстояло дело в те времена.

А еще мораль та, что Исп. Комитет, под влиянием некоторых своих членов, не видящих из-за деревьев леса, в ущерб важным делам — вроде радио Милюкова — занимался иной раз совершенными пустяками — вроде присяги... Присяга вообще не была и не могла быть фактором каких-либо событий. Никогда присяга ни к чему не побуждала народные массы и ни от чего не удерживала их вообще, а в революции, в частности. И вся эта история не стоила десятой доли внимания, уделенного ей. Конечно, это неизбежно: так было и так будет. Но все же скучно было тогда делать это дело, и еще скучнее вспомнить о нем теперь...

* * *

Пока «комиссия» работала над присягой, в другом конце комнаты несколько человек, во главе с Гвоздевым, рассуждали о том, что делать с «некото-

рыми категориями рабочих», все еще не желавших кончать забастовку. Было решено: от имени Исп. Ком. «еще раз подтвердить в самой энергичной форме о необходимости всем приступить к работам», прибегнуть к содействию в этом деле агитационной комиссии и в однодневный срок разработать проект примирительных камер. Дело приобретало затяжной характер. Без какого-нибудь особого толчка «урегулировать» приступ к работам было, повидимому, более, чем трудно. Но этот особый толчок был дан.

10-го и 11-го марта в Петербурге состоялось соглашение между обществом фабрикантов и заводчиков, с одной стороны, и Исп. Комитетом с другой — относительно новых условий труда. В предприятиях учреждались фабрично-заводские комитеты с широкими функциями в области внутреннего распорядка. Затем учреждались заводские и центральная примирительные камеры — на паритетных началах. Но это мелочь сравнительно с третьим пунктом соглашения — о восьмичасовом рабочем дне.

Вожделенный лозунг международного пролетариата, в условиях революции, был осуществлен просто и безболезненно. Петербургские заводчики видели неизбежность такого соглашения и «примирились» с ним. Пролетариат же и вся демократия, по всей России, с энтузиазмом приветствовали новую фундаментальную победу революции...

Восьмичасовой рабочий день был первой крупной дозой социального содержания, которым стал наполняться и неизбежно должен был наполниться огромный демократический переворот. Это вместе с тем было первым реальным завоеванием — с точки зрения несознательных слоев пролетариата. Но со всех точек зрения это было первоклассным завое-

ванием, — давшимся легко в новой обстановке, но явившимся именно в результате всех тех неизмеримых усилий и жертв, которые коренным образом изменили самую обстановку.

Фактически восьмичасовой рабочий день не был проведен на петербургских заводах. Принцип сокращения рабочего дня столкнулся с необходимостью максимального трудового напряжения в условиях войны и падения производительных сил. Фактически дело, как правило, свелось к тому, что работа сверх 8 часов, допускаемая с согласия фабр.-зав. комитетов, оплачивалась как сверх-урочная. Но, конечно, это не помешало патриотической буржуазии начать дурную игру на лодырничестве рабочих, натравливать на них солдат, сидящих в окопах и ожидающих смерти не по 8 часов, а круглые сутки.

Соглашение с фабрикантами в Петербурге было сигналом на всю Россию. В частности, московский Совет немедленно принял меры к такому же соглашению с предпринимателями в Москве. Но там дело не прошло так гладко. Не помогла и внушительная манифестация, устроенная московскими рабочими 12-го марта. В конце концов московский Совет решился на радикальную меру: потерпев неудачи на «лойяльной» почве, он 21 марта постановил ввести в Москве 8-часовой рабочий день явочным порядком... О законе же, закрепляющем завоевание рабочих для всей России, из сфер Мариинского дворца ничего не было слышно. Этот закон лишь теоретически подготовлялся в недрах Таврического дворца.

Об'явление 8-часового рабочего дня было огромным толчком к урегулированию фабрично-заводской жизни. Однако, эта мера далеко не ввела в берега взбаломученное пролетарское море. Шквалов,

правда, не было. Но была постоянная мертвая зыбь, перманентная изнурительная качка. Вопрос «о восстановлении нормального хода работ», о «положении дел на фабриках и заводах», можно сказать, не сходил с порядка дня — и в Исп. Ком. и в Совете. Движения всеобщего характера, захватывающего целые отрасли или целые районы — не было в эти месяцы. Но частичные конфликты, ультиматумы, забастовки сыпались, как из рога изобилия — на голову Исп. Комитета, его комиссии труда, где извивался Гвоздев между молотом и наковальней.

Само собой разумеется, что руководители советской политики не форсировали экономического движения пролетариата. Оно и без того разливалось тысячами ручейков. И было очевидно: оно совершенно неизбежно в данных условиях революции — в условиях небывалой классовой силы пролетариата и в условиях войны, то-есть падения производительных сил, товарного голода, неустранимого понижения реальной заработной платы. Но, с другой стороны, это неизбежное движение — в данных условиях было безнадежным: оно не могло привести к желанной цели и поднять экономический уровень рабочих масс до уровня их политических завоеваний. Советские руководители были, поэтому, правы, когда они не форсировали движения... Но дело в том, что они этим не ограничились. Они вскоре стали прилагать все силы к тому, чтобы его умерить, сдержать, свести на-нет — не только борясь с эксцессами, но призывая весь рабочий класс к сокращению потребностей. Вот это была роковая ошибка — уже потому, что это была полнейшая утопия. Повышение жизненного уровня рабочих масс было неот'емлемой «органической» про-

граммой революции, подобно «земле-крестьянству»; это была программа, которую нельзя было вырвать из революции, не разбив революции. И если при сложившихся условиях войны и разрухи эта программа была безнадежной, неосуществимой, то надо было не призывать к ее отмене, а создавать иные условия. Надо было ликвидировать войну. Когда этого не поняли будущие руководители Совета и пошли по иному пути, они запутались в противоречиях и завели революцию в безвыходную трясину... Обо всем этом мы в дальнейшем поведем речь.

* * *

В новое помещение принесли стулья, и нормальная работа Исп. Ком. была готова возобновиться... Соколову удалось усадить за стол несколько человек и заставить их вникнуть в воззвание к полякам. Это было не более, как краткое приветствие «к польскому народу», заявление от имени Совета, что «вся демократия России стоит на почве признания национально-политического самоопределения народов», и «провозглашение», что «Польша имеет право быть совершенно независимой в государственном и международном отношении».

Я немного поспорил с Соколовым. Связанный с буржуазно-патриотическими польскими кругами и ими, надо думать, инспирированный Н. Д. Соколов имел тенденцию признать факт независимости Польши, в соответствии с желаниями «самих поляков». Стоя на почве классового единства пролетариата, я настаивал на «провозглашении» не факта, а лишь п р а в а на независимость: мы не должны препятствовать, но не наше дело содействовать...

Воззвание к полякам, принятое вместе с манифестом, не имело классового характера. Это был самый настоящий «международный» акт полномочного органа демократии, совершенный Советом через голову правительства. Пусть об'ективно он еще мало к чему обязывал, но суб'ективно он был характерным штрихом, довершившим «самоопределение» Совета...

---

4. УЗЕЛ ЗАВЯЗЫВАЕТСЯ

Наступление буржуазии. — Игра на внешней опасности. — Пресса «ответственная» и «безответственная». — Воззвания правительства. — Наши сомнения. — Ген. Корнилов в Исп. Ком. — Выступление Милюкова. — Заседание Совета 10-го марта. — Манифест к «народам мира»: его тезисы. — Две линии советской внешней политики. — Прохождение манифеста в Исп. Ком. — Течения в Исп. Ком. по вопросу о войне. — Большевики, меньшевики, эсеры того времени. — «Контактная комиссия» и ее деятельность. — Наступление развертывается. — «Псевдонимы». — Манифестации полков. — «Ура председателю Госуд. Думы!» — Борьба за власть. — Цели и средства. — Оборона Совета. — В Мариинском театре. — Заседание 14-го марта. — Мои злоключения. — В морском корпусе. — Прения. — Комментарии Чхеидзе. — Узел завязан. — Два лагеря.

Едва прошла неделя со времени соглашения между Советом и новым правительством. А между тем орган цензовиков и орган демократии уже вполне определились, как две противостоящие друг другу силы, как две борющиеся величины. Этого мало: они «самоопределились», как два источника государственной власти — один формально признанный, другой обладающий максимальной реальной силой. И в результате текущая политика революции определилась, как некая равнодействующая двух сил. В области же общей политики, в виду непримири-

мости классовых интересов, в перспективе решающих схваток, обе стороны стали мобилизовать свои силы.

Демократия еще не наступала, — она организовалась. Ее дело было заведомо право, ее цели были заведомо святы, а потому ее средства честны, пути прямы. В ином положении были те, кто мобилизовал силы, кто готовил борьбу ради политического господства ничтожной кучки «имущих», ради ее права на эксплуатацию народных масс. Здесь цели были не честны, и потому пути не прямы.

Но надо было спешить. Надо было взять в свои руки инициативу, и с разных сторон, пуская в ход военные хитрости, подкопы, подвохи, засады, булавочные уколы и весь арсенал сомнительных средств, — надо было повести немедленно наступление на внутреннего врага. Наступление буржуазии началось. На этой почве быстро завязался узел.

Уже несколько дней шла, скромно начавшись, но быстро развернувшись по всему цензовому фронту, игра на немцах, на опасности, грозящей со стороны Гинденбурга нашей действующей армии. Буржуазная пресса посолиднее, с иезуитско-патриотической миной, охала и вздыхала по поводу того, что добытая свобода может очень и очень легко погибнуть от своего главного во всем мире врага, от Вильгельма, — в том случае, если он начнет наступление, а наша армия, отвлекаясь делами и мыслями, посторонними победе, не окажет надлежащего сопротивления.

Между тем, по сведениям этих почтенных газет, наступление действительно готовится, а армия действительно отвлечена посторонними делами и мы-

слями. Конечно, если бы советские руководители больше думали о национальном единении, о сплочении вокруг правительства, о действительной защите революции от действительных опасностей, то эти опасности можно было бы предотвратить. Но... почтенные газеты, конечно, очень уважают демократию и ее органы, они признают и заслуги Совета, но... всякому ведь известно, к сожалению, скрыть этого нельзя, что незрелость, недостаточное образование, распространение несостоятельных идей пацифизма, пораженчества, влияния германской социал-демократии, германской науки, германской... и т. д. — к сожалению, все это не дает уверенности, повергает в величайшую тревогу всех истинно...

За то прочая, «безответственная» буржуазно-бульварная печать, мгновенно усвоив заданный тон, гремела симфонию уже что было силы, не стесняясь в выражениях и ставя все точки над и. Этой прессе, во-первых, достоверно известно, что наступление на днях начнется, и известно в каком именно месте: прямо на Петербург. Гинденбург и его генералы уже собрали «кулак» там-то и там-то. Во-вторых, известно, что армия при теперешнем ее положении, почти наверное не сможет дать отпор, если немедленно не будет положен предел ее дезорганизации со стороны Совета — «приказами № 1», всякими другими приказами, требованиями демократических военных реформ на глазах у неприятеля и всем деморализующим «двоевластием»...

Агитация против Совета уже развертывалась этой прессой, как и всей буржуазно-обывательской массой. Прямое будущее пораженчество буржуазии, ее откровенное злорадство по поводу поражений революционной армии, широкое использование их для

политической борьбы и, наконец, прямая организация поражений в тех же целях — это еще дело будущего. Со всем этим нам придется иметь дело в четвертой и пятой книге «Записок». Но в зачаточном состоянии все это и теперь, к половине марта, уже было на лицо. «Русские Воли», «Биржовки» и прочие верные слуги солидных господ — уже и теперь изыскивали, смаковали, сладострастно комментировали все то, что относилось к понижению боеспособности нашей армии, встряхнутой и поглощенной великими событиями после двухлетних невыносимых тягот войны. Так это, конечно, и полагалось «патриотам» по найму и республиканцам, демократам, революционерам сообразно с требованиями рынка.

Но вот, после артиллерийской подготовки в печати, после агитации в буржуазно-обывательских кругах против «открывателей фронта» — сочло своевременным и уместным выступить и само правительство. 10-го марта все прочли в газетах официальное воззвание, подписанное всеми министрами, и специальное обращение «к народу и армии», подписанное военным министром Гучковым. Некоторые газеты вроде «Рус. Слова», помещая эти документы и присоединяя по соседству то, что вовсе не относилось к делу, делали над целыми страницами грозные заголовки: «в грозный час»... Было очень торжественно.

В приказах и воззваниях, помеченных 9-м марта, гг. министры уже брали быка прямо за рога. «Нашей родине, — говорили они, — грозят новые испытания... По имеющимся сведениям, германцы накапливают свои силы для удара на столицу... Недремлющий, еще сильный враг уже понял, что великий

переворот, уничтоживший старые порядки, внес временное замешательство в жизнь нашей родины... Если бы ему удалось сломить сопротивление наше и одержать победу, это будет победа над новым строем... Все достигнутое народом будет отнято одним ударом. Прусский фельдфебель примется хозяйничать у нас и наведет свои порядки. И первым делом его будет восстановление власти императора, порабощение народа»...

Избежать всего этого можно только при условии сплоченности вокруг Вр. Правительства: «только обладая полнотой власти, оно может выполнить свой долг. Многовластие вызовет неизбежно паралич власти... И пусть тяжкая ответственность перед родиной и историей падет на тех, кто станет помехой Вр. Правительству»...

В официальных документах этот «темный намек», правда, не был расшифрован. Но ни у кого не могло остаться на этот счет сомнений, когда те же нумера газет, где печатались документы, пестрили «случайным» материалом вроде следующей телеграммы: «Распространяется листок «Известий Сов. Раб. Деп.», который агитирует за забастовки (!) и заключение мира. Листок сообщает о массовых забастовках в Москве и склонности к миру. Либо в Москве есть провокаторы, либо этот листок есть провокация. Можно ли говорить о мире до Учр. Собр.? Малейший беспорядок может погубить Россию... Боимся успеха листка и ждем раз'яснений». Подписано — солдаты местного авиопарка и авиомастерской, присутствующие на станции Жмеринка...

Патриотические и демократические чувства как этих «солдат», так и заслуженного республиканца

Гучкова, опасавшегося, чтобы Вильгельм не «восстановил власти императора», — без сомнения очень и очень почтенны. Но вот вопрос: где же основания для того, чтобы сеять тревогу, создавать панику?..

Имеются «сведения», что наступает «грозный час»... Мы готовы верить, мы отнюдь не склонны отрицать, мы сделаем все возможное для поднятия боеспособности армии в пределах нашей общей платформы. Но мы ориентируемся в общей кон'юнктуре и позволяем себе, во-первых, сомневаться, а во-вторых — требовать вместо агитации против Совета серьезных об'яснений с ним и соответствующих доказательств перед его полномочными органами.

Сомневаться в «полученных сведениях» мы позволяем себе априори по следующим причинам. Революция, по счастью, произошла в сезон, самый неудобный для развития военных операций. Вторая половина марта и первая половина апреля почти исключают у нас активные действия и почти неизбежно обрекают стороны на «позиционную» войну. Помимо распутицы и бездорожья вообще, поход на Петербург в частности, на расстоянии 700 верст, через страну, покрытую густой сетью болот, озер, разлившихся рек, — конечно, представлялся каждому спокойному рассудку более чем проблематичным, едва ли реально осуществимым.

Ориентируясь же в общей кон'юнктуре, мы хорошо понимали, что отсутствие фактических оснований для паники не мешает панике и игре на немецкой опасности быть отличными средствами агитации против Совета, весьма подходящим способом борьбы цензовиков с демократией, против «двоевластия», за «полноту власти», за диктатуру империа-

листской буржуазии. И мы говорили: поскольку нет доказательств, а есть одна голая агитация, постольку более чем вероятно, что со стороны буржуазии вся эта кампания есть просто шахматный ход, есть вымогательство, есть шантаж, есть средства приведения Совета к покорности плутократии...

На деле так и оказалось: никакого наступления со стороны немцев предпринято не было — до самого июньского наступления с нашей стороны. За исключением частичной, случайной операции на Стоходе — германское командование не решилось предпринять никаких экспериментов над русской революцией. Как мы и утверждали, помимо стратегических трудностей, это было не лишено существенного политического риска. И германский генеральный штаб предпочел обратить свои взоры на запад.

Но наша правота обнаружилась только впоследствии. Пока в наших руках не было фактов. И положение Совета перед лицом начавшейся кампании было довольно трудным.

* *
*

Агитация была в полном разгаре. Но почему же, кроме агитации, не прибегнуть и к дипломатическому воздействию?.. Того же 10-го марта в Исп. Комитет, в сопровождении нескольких приближенных офицеров, явился командующий петербургским округом, популярный генерал, будущий герой контрреволюции, Корнилов. Я в первый раз видел этого небольшого, скромного вида офицера со смуглым калмыцкого типа лицом... В комнату Исп. Комитета набилось без конца всякого рода военных. В духоте

и в облаках дыма к стенам жалась целая толпа. Но в длинной, мало оживленной и мало разнообразной беседе принимали участие немногие.

Именитый гость, со вниманием и любопытством разглядывая своих собеседников из потустороннего, неведомого мира, повторил в общих чертах содержание министерских воззваний о немецком наступлении. Генерал просил и требовал содействия, дисциплины, сплоченности, единой «воли к победе».. Политических разговоров о войне и победе выступление Корнилова не вызвало: их вообще, по-прежнему, без особой к тому нужды не практиковали, а со «свежим», чисто военным человеком такие разговоры не имели для Исп. Ком. ни смысла, ни интереса. Вместо того — генерала стали расспрашивать о положении дел в армии; а иные, и я в том числе — пожалуй, в первую голову — стали допрашивать о том, какие же имеются данные о наступлении, и каким образом такое наступление возможно в самое непролазное время. Я утверждаю: Корнилов был не подготовлен к такому допросу и не дал сколько-нибудь членораздельных ответов ни по тому, ни по другому пункту. В этой «дипломатической» беседе победа осталась во всяком случае не за Корниловым, и пославшие его ни в какой мере не достигли цели. Многие в Исп. Ком. лишний раз убедились, что весь поднятый шум о немецкой опасности есть не более, как скверная политическая игра.

Для меня лично, после «допроса» это стало так очевидно, что я утратил к заседанию всякий интерес и перестал слушать длинную вереницу пустяковых вопросов, обращенных к генералу разными почтительными прапорщиками и «лояльными» кадет-

ствующими членами Исп. Комитета или солдатской Исп. Комиссии. Мало того, — я должен покаяться в следующем: сидя на уютном турецком диване, я заснул во время этого скучного разговора и был разбужен только шумом стульев при прощании...

Я не помню больше подобного случая в моей жизни, — чтобы я уснул нечаянно, без намерения уснуть. Но невыносимое утомление стало мало-помалу охватывать всех нас. У всех с каждым днем увеличивались в размерах глаза; на многих начинали странно болтаться прежние, недурно сшитые пиджаки; в заседаниях стало больше крика, недоразумений, столкновений, немедленно ликвидируемых в виду явной их несообразности... Все измотались. Я помню — именно в эти времена было особенно трудно. Через несколько недель стало как будто легче — притерпелись.

— Неужели нельзя так сделать, чтобы хоть один день в неделю отдохнуть! — кричал как-то Чхеидзе, в полном отчаянии обращаясь в пространство.

Его притязания удивили меня своим об'емом и своим несоответствием обстановке. Даже я, не занятый — в отличие от подавляющего большинства — никакой партийной работой, почти не работавший в комиссиях — был занят в Таврическом дворце с утра до позднего вечера каждый будний и праздничный день. Можно было мечтать о часах, а не о днях отдыха. Но и это были явно бессмысленные мечтания.

* * *

Свое наступление на демократию буржуазия начала и с другой стороны. Это опять-таки не был

прямой удар, но это был прямой вызов, который нельзя было оставить без внимания и учета.

7-го марта правительство об'явило о готовности воевать до победы в согласии с союзниками. Казалось бы достаточно?.. Нет, глава отечественного империализма П. Н. Милюков, на радостях по случаю «признания» нашего нового строя союзными державами, счел уместным и своевременным поставить все точки и расшифровать свое «дарданельство»... В беседе с журналистами министр иностранных дел, во-первых, заявил, что его «задача сводится к укреплению в наших союзниках веры в то, что новая Россия легче и успешнее справится с мировыми задачами, стоящими перед союзниками»; к этому, на торжественном приеме «признавших» послов Милюков прибавил, что «Вр. Правительство, одушевленное теми же намерениями, проникнутое тем же пониманием задач войны, как и союзные с нами народы, ныне приносит для осуществления этих задач новые силы». Во-вторых, Милюков об'явил sans phrases, что к числу этих задач относится между прочим «ликвидация Турции». В-третьих, Милюков в широковещательном интервью оклеветал российский социализм, заявив, что пацифистским идеям, не встретившим сочувствия среди союзных социал-патриотов, можно и у нас не придавать значения... Еще бы не «признать» такого верного рыцаря!

Подобные выступления, однако, о б я з ы в а л и советскую демократию. Это было именно наступление: не вызвав соответствующей реакции со стороны Совета, оно означало капитуляцию демократии перед плутократией и империализмом. Надо было мобилизоваться.

* * *

«Белый зал» Таврического дворца уже не вмещал разбухшего Совета. Долго искали для него помещения и не находили. 10-го марта пленарное заседание было назначено в Михайловском театре, одном из самых обширных в Петербурге. Исп. Ком., не то проявляя к Совету больше внимания, чем раньше, не то пользуясь предлогом для передышки, — отправился чуть ли не в полном составе в Михайловский театр. Помню, Богданов тянул туда меня, говоря, что быть может придется поставить в порядок дня манифест к народам мира.

Появились первые ласточки, первые эмигранты — из ближних мест, из скандинавских стран. Дорогой они рассказывали новости, рассказывали вечно юные, всегда захватывающие новости о том, как в своем изгнании они получали первые «невероятные» вести о революции. Рассказывали о том, какую кутерьму произвело в их головах радио Милюкова. Но... они «ему не верили». В числе приехавших был В. Н. Розанов («Энзис»), будущий главный работник «международного отдела», один из «циммервальдцев», отдавших свои услуги оборонческому большинству, старый с.-д., мой бывший сосед по московской Таганке. Но никаких столпов еще не было налицо.

Михайловский театр оказался мал для Совета. Была давка и неразбериха. Были свыше всякой меры переполнены ложи, сцена, забиты битком все проходы партера. Никакие голосования, которых впрочем особенно не требовалось, были невозможны в такой обстановке. Но и вообще никакая работа была невозможна. Да и что это был за «Совет»? Могла ли быть при таких условиях речь о сколько-нибудь правильном представительстве или хотя бы об от-

делении людей, имевших хоть какие-нибудь мандаты, от самых доподлинных (и весьма шумных) «зайцев».

Так оставлять дело дальше было, во всяком случае, нельзя. Реорганизация Совета и упорядочение представительства решительно стали на очередь.

Порядок дня в Совете был довольно содержателен и интересен. Пока группа членов Исп. Ком., во главе с Чхеидзе, отдыхая, тихо переговаривалась о том и о сем, сидя в глубине сцены на какой-то декорации, — Н. Д. Соколов делал пространный доклад на интересную для «публики» тему — о судьбе Романовых. Он рассказал всенародно историю с отречениями, представив в настоящем свете роль Гучковых, Шульгиных, Милюковых и прочих. А затем Соколов изложил дело о выезде Романовых за-границу и об аресте их в Царском Селе. Позиция министров, революционный способ действий Исп. Комитета и возникший конфликт были освещены Соколовым безо всякой «дипломатии» именно так, как было дело. Это произвело сильное впечатление, и после заседания в самые широкие массы, по линиям ничтожного сопротивления, стало проникать представление о действительных позициях, о природе, о соотношении Совета и Вр. Правительства. Кабинет Гучкова-Милюкова, в глазах всей «советской» демократии, получил окраску определенно чуждой и враждебной силы, с которой ведется и должна вестись борьба, на которую необходимо неустанное давление и неослабный контроль.

Впрочем, следующим пунктом порядка дня была резолюция о «взаимоотношении Совета и Вр. Правительства». Эта резолюция, положенная в основу создания «контактной комиссии», была уже приведена мною выше... Искали спешно докладчика по

этому пункту. Желающих не нашлось — обычная картина того времени. Тогда тот же Соколов, отсутствовавший во время сложных комитетских прений по этому вопросу, бойко и авторитетно сделал доклад и на эту тему... Отныне «контактная комиссия» получила официальное бытие. Никаких прений, кажется, не было на советском митинге. Но беспорядка было достаточно, и я был доволен, что дело не дошло до манифеста.

* * *

Однако, дело с манифестом откладывать больше было нельзя. Мариинский дворец вел свою армию в наступление и ситуация грозила запутаться основательно... До манифеста дело снова дошло в Исп. Комитете на следующий день. Надо было придать ему окончательную редакцию и принять в Совете.

Текст был снова прочитан и снова обстрелян справа и слева. Основные положения предложенной мною редакции попрежнему не были при этом затронуты и, к сожалению, остались в прежнем неразвитом виде. Частности же, не имеющие значения, вызвали томительные споры, которые все же не привели ко всеобщему удовольствию.

Основные положения этого документа состоят в следующем. Тезис первый: «в сознании своей революционной силы российская демократия заявляет, что она будет всеми мерами противодействовать империалистской политике своих господствующих классов, и она призывает народы Европы к совместным решительным выступлениям в пользу мира». Тезис второй: «мы будем стойко защищать нашу свободу от всяких реакционных посягательств — как из-

нутри, так и извне; русская революции не отступит перед штыками завоевателей и не позволит раздавить себя военной силой».

Первый тезис есть всенародное, данное перед всем миром обязательство русской революции вести классовую борьбу с империализмом вообще и со своим отечественным империализмом в особенности. Это есть обязательство вести, во время войны, внутреннюю классовую борьбу за мир. И это есть призыв от имени революции к народам Европы стать на ту же, циммервальдскую, позицию.

Второй тезис есть программа обороны революции, есть обязательство демократии дать надлежащий вооруженный отпор завоевателю и насильнику. Это есть вместе с тем программа поддержания боеспособности армии, поддержания тыла и фронта советской демократией.

Эти два тезиса составляют не только основные положения манифеста. Они резюмируют и намечают, они лежат или должны были лежать в основе всей внешней политики Совета, как я понимал и десятки раз, устно и печатно, формулировал ее. От этих двух источников идут две основные необходимые линии этой политики: внутренняя борьба против буржуазии, борьба за мир в тылу, и вооруженный отпор иноземному империализму на фронте. Последнее, по существу и результатам, было не что иное, как поддержание нового российского государства, отказ от его дезорганизации.

Но нет ли здесь внутреннего противоречия, логической невязки и фактической утопии? Нет, здесь есть трудность массового усвоения и трудность об'ективного положения; но ни противоречия, ни утопии здесь нет. Нет потому, что обороне и военному

отпору придается классовый характер. Это не защита страны, не оборона нации от ей подобной, в союзе с враждебными классами. Это защита свободы, оборона революционных завоеваний от реакции — внутренней и внешней. Это оборона — «поскольку-постольку». Это защита постольку, поскольку она сохраняет значение классовой борьбы народов с их эксплуататорами. Русская демократия, достигшая невиданных в истории побед, «в сознании своей революционной силы», имела право оперировать такими понятиями и говорить такими словами.

Но... Но для того, чтобы на деле не оказалось этого противоречия между тезисами манифеста, для того, чтобы политика Совета была именно такой, как она намечена, — для этого совершенно необходимо одно обстоятельство: необходимо, чтобы две намеченные линии не расходились, чтобы они шли строго параллельно, чтобы одна ни на шаг не отставала от другой, чтобы они составляли двуединую, нераздельную линию Совета. Необходимо, чтобы внутренняя борьба, борьба за мир со своей империалистской буржуазией — сопутствовала каждому шагу, предпринимаемому в сфере военной борьбы с иноземным империализмом. Иначе противоречие неизбежно. Иначе вся схема извращается, а советская политика, покидая почву циммервальда, нарушая данные «всем народам» обязательства, — попадает вместе с тем в тупик, в болото, в хищные лапы либо российского и союзного, либо германского империализма.

Мы знаем, что на деле так и было. На деле великая революция попала сначала в лапы Милюковых и Рябушинских, а затем Гинденбургов и Кюльманов. Это было именно потому, что двуединая линия была на-

рушена, что одна линия — обороны — была выкинута далеко вперед, а другая — линия борьбы за мир — была ликвидирована без остатка. Это было именно потому, что классовая борьба с империалистской буржуазией была заменена полной капитуляцией перед ней, а «защита революции» была превращена в «настоящую оборону», в борьбу с вражеской демократией в союзе с собственной буржуазией. Это было именно потому... Но правильные основы революционной политики не отвечают за то и не теряют в своей правильности от того, что им не следуют, им изменяют вершители судеб революции.

Два основных тезиса манифеста вытекали из существа дела: из циммервальдских принципов, с одной стороны, и из огромной победы демократии — с другой. Данная же редакция этих тезисов, слабая редакция, находилась в зависимости от «дипломатии»: надо было сделать манифест приемлемым для несоизмеримых величин, надо было собрать за него вполне устойчивое большинство, — хотя бы в ущерб его ясности и определенности.

В манифесте, кроме того, имеется особое обращение к германскому пролетариату, исключительно важному фактору войны и мира. К нему был обращен призыв направить удар против полу-абсолютистского германского правительства, побеждавшего в то время на поле брани [1]). В начале же манифеста

---

[1]) Стеклов как-то «вспоминал» в большевистских «Известиях», что манифест первоначально был направлен только к германскому пролетариату, а затем благодаря его, Стеклова, поправкам был приспособлен и к другим народам, «что придало ему более интернационалистический характер». Это, конечно, пустяки: самое зарождение мысли о манифесте — и у меня, и у других, — апеллировало именно «ко всем народам мира».

была приведена общая характеристика новой революционной ситуации в России.

* * *

Поправки и споры об отдельных выражениях были надоедливы и бесполезны. Помню, Н. С. Русанов, редкий гость в Исп. Комитете, убеждал прекратить их, говоря:

— Довольно, — в таком собрании договориться о редакции невозможно. Прецеденты показывают, что окончательный текст вызовет столько же поправок, сколько первоначальный. Надо кончить дело голосованием... Кажется все в порядке.

Правые требовали «определенности и ясности», состоящих, конечно, в провозглашении «защиты страны» от «германского ига» и т. п. Левые, помню, были шокированы моим выражением: «штыки Вильгельма», как недопустимым по шовинизму. С-ры же единым фронтом затеяли длинный спор об изменении финального лозунга: «пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Вначале, по их требованию, было поставлено обращение: «Товарищи пролетарии и трудящиеся всех стран!» Но испортить исторический лозунг международного пролетариата или испортить редакцию манифеста из'ятием этого лозунга — это было выше моих сил. В нудном споре я стал приходить в весьма «неуравновешенное» состояние.

Кончилось дело избранием редакционной комиссии для сведения всех поправок и окончательного фиксирования текста. Комиссия из Стеклова, Эрлиха и меня, собравшись на ходу, быстро перетасовала некоторые фразы, подправила выражения и на

другой день представила в Исп. Ком. тот текст, который через несколько дней и полетел «ко всем народам мира».

* * *

В ответ на «военные» заявления правительства и, в частности, Милюкова, Исп. Комитет также заявил официально, твердо и ясно: демократия открывает борьбу с империалистским курсом правительства, продолжающего политику царизма. Она открывает борьбу за мир, против разбойничьих покушений не только Вильгельма, но и Милюкова с его союзниками, против такой политики, которая обязательства перед англо-французским империализмом ставит выше долга перед демократией, выше мира и братства народов. Манифест был таким заявлением, обязывающим советскую демократию к борьбе с правительством цензовиков... Стороны стали друг против друга. Узел был завязан.

Но любопытно, что происходило внутри самой советской демократии? Какую позицию заняли или наметили в вопросе войны и мира отдельные советские группы?.. Резкой, оформленной партийной борьбы внутри Совета все еще не было. Эсеры в то время включали в единую советскую группу и левейшего Александровича и правейшего Зензинова: тогда левые еще не были ни поглощены, ни дезавуированы правыми. Это лишало советских эсеров и ударной силы, и всякой физиономии. Меньшевики же в то время на петербургской городской конференции ставили в порядок дня об'единение с большевиками (!).. Советские фракции в эту идиллическую эпоху были еще не «устроены»; ни организационно,

ни идейно, они не были в состоянии разрушить единый демократический фронт.

Но течения внутри Исп. Ком., конечно, уже вполне определились. И по вопросу о войне и мире они в те дни уже широко раскинулись справа налево. Течения эти отражались и в партийной прессе... Большевики, собственно говоря, не выдвигали, как и по вопросу о власти, никакой самостоятельной программы. Они, во-первых, просто ворчали и фыркали, а во-вторых — «поговаривали» и «пописывали» о братании на фронте, о превращении империалистской войны в гражданскую, о необходимости «повернуть оружие против классовых врагов» и т. п. Наличные большевистские заправилы, не имея ничего за душой, старались представить себе, что сказали бы на них месте отсутствующие партийные «идеологи», и старались воспроизвести это; но ни на какие законченные теории, ни тем более на какие-либо ответственные выступления они не решались.

Иное надо сказать о тогдашних петербургских меньшевиках и их газете. В «Рабочей Газете», как и в петербургской организации, решительный перевес был, видимо, на стороне интернационалистов. И центральный орган меньшевиков шаг за шагом, неуклонно и планомерно стал развертывать циммервальдскую программу. «Рабочая Газета» делала это гораздо последовательнее и несравненно искуснее, чем бестолковые стекловские «Известия». И несомненно, что редакция «Раб. Газеты» шла впереди советской политики того времени, разрабатывая идеологию тогдашнего советского центра. Насколько я слышал, главная заслуга в этом деле принадлежит О. А. Ерманскому. Но недолго за меньшевиками

сохранялась эта почетная роль, недолго их газета проповедывала такие взгляды. Новые птицы скоро запели новые песни.

У эсеров шли кто в лес, кто по дрова. Александрович, по мере сил и скромных способностей, поддакивал большевикам, ежеминутно призывая имя циммервальда и постоянно грозя направо то Черновым, то Натансоном... Левая группа «Дела Народа», справившись с право-оборонческими святцами, вдруг трахнула в колокола. От имени этой группы лукаво мудрствующий Мстиславский об'явил продолжение войны отныне «не войной, но восстанием» против реакции и империализма в лице Вильгельма. Как будто бы при Милюкове, твердящем о Дарданеллах, это было немножно рано!.. Самый же правый с.-р., Зензинов, как-то в эти дни звонил мне по телефону, прося подтвердить (для каких-то своих надобностей), что согласно позиции Исп. Комитета войну надлежит продолжать до Учр. Собрания! Он был очень недоволен, когда я подтвердил противное.

* * *

Начала действовать «контактная» комиссия. Об ее деятельности никогда в печати не сообщалось. Но, кажется, я не ошибаюсь: первое заседание состоялось на другой день после утверждения «контактной комиссии» — 11-го марта, а второе 13-го.

Для этих заседаний мы, «рабочие и солдатские депутаты», выезжали в Мариинский дворец. Не грандиозная и не пышная, а скорее интимная, уютная, мягкая обстановка этого дворца располагала не к напряженной политической борьбе, а скорее

к приватной — «контактной» беседе. Но никакой напряженности тут никогда и не было. Было всегда скучно, вяло и довольно ненужно. Но было очень приятно бродить по небольшим, мягко-блестящим залам и гостиным, совершенно пустым в то время и многолюдно-шумным в эпоху «предпарламента».

Вр. Правительство, с своей стороны, охотно пошло на предложенное ему «совместное обсуждение некоторых вопросов». Наслышанное о «давлении» и «контроле», оно — быть может, правильно — полагало, что, уклоняясь от «контакта», оно сыграет на руку именно «крайним», «нелойяльным» советским элементам. Вообще — чем ближе иметь под рукой врага, тем легче его обезвредить, а пожалуй и превратить в пособника. Правительство было со своей точки зрения, конечно, право, когда рассуждало так. Дело другой стороны было смотреть, чтобы не попасться в сети и сохранить порох в пороховницах.

Для переговоров с нашей комиссией правительство сначала отряжало несколько своих представителей — трех-четырех. Заседали мы с ними днем, после телефонных предупреждений с той или другой стороны...

Милюков в своей «Истории» упоминает, что местом заседаний служила «одна из боковых зал — не та, где заседал совет министров». Насколько я помню, первое заседание состоялось в боковой комнате направо из круглой большой залы; второе — в огромной блестящей комнате налево из этой залы, где впоследствии заседал мертворожденный экономический совет. Все же дальнейшие заседания происходили в кабинете прямо из передней, откуда выходит балкон на Исаакиевскую площадь.

В этих дальнейших заседаниях, происходивших всегда по вечерам, участвовал уже полностью весь кабинет или огромное большинство его членов. В особо же торжественных случаях, когда было необходимо опереться на «другие общественные силы» в противовес Совету, — тогда в заседания приглашался и думский комитет во главе с Родзянкой. Все они действовали против нас вполне солидарно. Правительство усаживало думских людей рядом с собой по внешней стороне образуемого столом полукруга; мы же впятером, а затем с шестым, Церетели, располагались кучкой внутри его.

Из министров реже других участвовали в этих заседаниях Гучков и Шингарев. Остальные большею частью, кажется, бывали налицо. Керенский почти не выступал в них, но интенсивно «обрабатывал» каждого из нас в кулуарах. Особенно же активными были, кроме председателя Г. Е. Львова, Некрасов, Терещенко и святейший прокурор.

Мы к этим заседаниям не готовились ни в Исп. Комитете, ни в самой комиссии. Обыкновенно мы ограничивались беглым обменом мнений в автомобиле. Правильных отчетов о наших переговорах Исп. Комитету мы, вообще говоря, также не давали, — это бывало только в отдельных случаях, по вопросам фундаментальной политики. Впрочем, об этих случаях я еще расскажу в свое время.

В первом заседании у нас было несколько мелких вопросов. Но Терещенко, проявивший чрезвычайную словоохотливость, несмотря на свою простуду и хрипоту, поспешил козырнуть перед нами только что состоявшимся «отрешением» Н. Н. Романова от должности главнокомандующего. Кем же он заменен? «Временно» — Алексеевым. Разумеется, это

было неудовлетворительно, и мы категорически возражали. Но по этому серьезному вопросу мы не имели никаких директив и ограничились бесплодными препирательствами, главным образом, со Львовым, доказывавшим, что Алексеева решительно некем заменить...

Мы перешли к нашим финансам и предложили ассигновать 10 милл. на нужды Совета. Было обещано обсудить это; затем с этим делом долго тянули и, наконец, отказали — «за отсутствием средств». Конечно, препятствие заключалось не в этом, а в соображениях «государственно-правового» порядка. Во всяком случае об этом отказе я лично не жалел. Но политически это было существенно, и на эту сторону дела я обращал внимание в Исп. Комитете.

Я не помню, о чем мы еще говорили в первом заседании. Вспоминаю только, что Стеклов долго еще препирался насчет имущества Романовых и настаивал на об'явлении вне закона ген. Иванова, который пошел во время переворота с войском на Петербург, но не дошел до него. Стеклов был тут ужасно энергичен и утомителен. Увы! я никак не мог заразиться его одушевлением и умирал от скуки.

Было любопытнее во втором заседании, 13-го. Шел долгий разговор об Учр. Собрании. Правительство, скрепя сердце, подтвердило все свои обязательства — о выборах в армии, о женском избирательном праве (раньше специально не оговоренном) и проч.; затем мы столковались о том, что Учр. Собрание будет созвано летом, специальное же учреждение по его подготовке будет созвано немедленно при участии представителей Совета... Ходили слухи — я впрочем слышал это от того же Стеклова —

что правительство намерено созвать Учр. Собрание в Москве, дабы апеллировать к стране против не в меру красного Петербурга. Стеклов вплотную занялся этим пунктом, но министры только удивлялись, говоря, что в первый раз об этом услышали. До этого дело тогда еще, надо думать, не дошло: все предусмотреть министрам было трудно. Но еще труднее было тогда предположить, что через каких-нибудь четыре месяца инициаторами этого «жирондизма» окажутся не кто иные, как лидеры Совета...

В том же заседании было любопытно выступление Мануилова, который был очень обеспокоен, шокирован и потрясен намерениями Совета учинить над Вр. Правительством «давление и контроль». Не помню, по какому поводу, кажется, без всякого повода, этот высокоталантливый и глубокодемократический министр просвещения заявил, что он понимает «сотрудничество», «указания», «советы» и примет все это с полной готовностью. Но контроль — этого признать и переварить он никак не может...

Любопытно! Как же представлял себе дело г. Мануилов? Полагал ли он, что революционное правительство — это «двенадцать самодержцев», ответственных «перед Богом и совестью»? Или он не признавал именно советского контроля, контроля «частного учреждения», которое, однако, на его глазах полномочно и неоспоримо действовало от имени всей российской демократии?.. Как рассуждал г. Мануилов, нам выяснить не пришлось за переходом к очередным делам. Но во всяком случае при министре просвещения советская делегация сформировалась, не в пример другим, очень быстро, действовала очень успешно, с малоблагоприятными для него результатами.

Говорили в том же «контактном» заседании что-то о присяге, — хорошо этого не помню. Но помню, как «в целях информации» мы передали Милюкову манифест «к народам мира», переписанный в окончательной редакции на машинке. Милюков жадно впился в него и... закусил губу:

— Это воззвание, — процедил он, — выражает точку зрения социалистических меньшинств Европы. Циммервальдские течения во всех странах ничтожны...

Милюков, по обыкновению, щеголял своими познаниями в европейских социалистических делах. Но, несомненно, ознакомление с русскими делами дало для него несколько неожиданные результаты. Ведь только что он об'явил наши циммервальдские и «пацифистские» течения явлением, не заслуживающим внимания...

Нет, внимания они стоили. Но пред'явленный «в целях информации» документ, имея чисто классовый, имея совершенно «частный» характер, не нося в себе ни малейших элементов двоевластия, был безупречен по своей «лойяльности». Опротестовать его было невозможно... Приходилось лишь, закусив губу, принять его к сведению, взять «на учет».

* * *

Наступление буржуазии шло с разных сторон. Вот в одной из «больших» газет, в желто-«социалистическом» «Дне» появилось патриотическое письмо одного профессора. Профессор находится сам в недоумении и о таковом же слышит со всех сторон. Революция происходит уже две недели, Совет Р. и С. Д. играет в ней первостепенную роль, а между

тем — «мы, граждане, не только в остальной России, но даже здесь, в Петрограде, не знаем точно ни президиума, ни Исп. Ком., ни тем более всего многочисленного состава Совета Р. и С. Д.». Профессор обращается с «убедительной просьбой возможно скорее обнародовать списки — с указанием социально-политической группы, представляемой организации и прочих сведений: возраст, образовательный ценз, откуда родом» и проч... Профессор, выступивший, быть может, безо всякой задней злокачественной мысли, не прибавил к своему перечню еще: «национальности». Но, во всяком случае, прочая пресса буржуазии, пресса улицы, а также и сама «аристократическая» улица — как будто только и ждали этого выступления. Его подхватили с восторгом, с упоением. Подхватили и продолжали, и расшифровали, и вдалбливали в обывательские мозги с удивительным упорством, способным возрасти лишь на почве исключительного патриотизма и демократизма...

В самом деле, Совет Р. и С. Д. — ведь это учреждение, которое берется решать государственные дела, которое оказывает на них огромное влияние. Да что там! это учреждение оспаривает даже власть всенародно признанного правительства. Оно само претендует на роль правительства, внося в дела хаос и дезорганизацию. Оно само берется управлять государством, порождая гибельное двоевластие перед лицом грозного, не дремлющего врага... Так позвольте, — скажите же, по крайней мере, кто правит нами, кто взял на себя огромную ответственность и кого надо призывать к ответу?

Не подлежит сомнению: вопросы эти вполне законны, естественны и необходимы. Интерес же к

«псевдонимам» и «анонимам», как таковой, свидетельствует о гражданских чувствах с положительной, а не отрицательной стороны. Но дело заключается в том, какой внутренний смысл имела эта «гражданская» кампания, что скрывалось под святым беспокойством, к чему фактически стремились патриоты с Невского и демократы из «Биржовки»?

Во-первых, псевдонимы и анонимы по первому требованию «общественного мнения» были опубликованы; никто своих имен не скрывал, но никто не придавал этому значения; никто не догадался ранее, что это важно. Во-вторых, если это было важно, то всякий, кто хотел, мог в любой момент спросить и опубликовать все имена. В третьих, имена всех советских руководителей, президиума и большинства Исп. Комитета были всем заведомо наизусть известны. В четвертых, когда они были специально опубликованы в «Известиях», то никто не обратил на это внимания; «большая пресса» не подумала ими заинтересоваться; и это не помешало кампании против Совета, имевшей иные, не слишком «гражданские» источники и особые цели.

Если псевдонимов и анонимов уже не было, то надо было сделать вид, что они есть, что за «безответственную» политику некому отвечать, что вдохновители ее неуловимы, что за ними «некто» скрывается и т. д. Кто же эти вдохновители? Может быть, это подставные лица, жалкие игрушки в руках... ну, там известно, в чьих руках! Может быть, интересы России и благо русского народа для этих господ ничего не значат. Может быть, для них больше значит... ну, там мало ли чьим интересам они могут служить! А шопотом на ухо друг другу уже передавали: ведь там, в Совете, все евреи.

Ведь это они правят теперь Россией... И нам приносили целые пачки рукописных, гектографированных, размноженных на машинках и даже печатных листков, где были «раскрыты» все псевдонимы, «вскрыты» анонимы — многие с самыми невероятными «настоящими» еврейскими именами, делающими честь фантазии их авторов. Вот в чьи руки попала Россия!...

«Большая пресса», за некоторыми исключениями в провинции, до этих пределов идти, конечно, не могла. Но она задавала тон темной обывательщине, обломкам царского крушения, которые где-то в темных щелях, в грязных углах уже бойко наигрывали эти мелодии — жалкие и бессильные омрачить блеск и задержать победное шествие революции... Но работа их продолжалась: в конечном счете она могла дать хорошие плоды. Недаром и самая солидная пресса, начав уже с середины марта, не оставляла в покое псевдонимов и анонимов еще в течение многих месяцев.

Однако, все же это были сравнительные пустяки. Наступление с этой стороны в те времена было во всяком случае не более, как булавочным уколом. В те же самые дни, с 12-го марта, началось нечто гораздо более серьезное и интересное.

* * *

В Таврический дворец, в полном составе, со всеми офицерами, с оркестром и громовой марсельезой явился Волынский полк, один из первых восставших полков революции. Он явился для манифестации, пришел приветствовать «Госуд. Думу», «Врем. Правительство» и «Совет Р. и С. Д.». Над каждой частью

развевались красные знамена. А на знаменах были надписи: «Готовьте снаряды!» «Не забывайте своих братьев в окопах!» «Война до полной победы!» «Да здравствует Вр. Правительство и Совет Р. и С. Д.!»...

К полку вышел Н. Д. Соколов, приветствовал полк от имени Совета и произнес речь о революции, более или менее «нейтрального» содержания. После же Соколова говорили речи люди правого крыла, известный нам полк. Энгельгардт и члены Г. Думы: они говорили о войне до конца и призывали к победе над внешним врагом. Депутатов шумно приветствовали и носили на руках... Из Таврического дворца полк направился к генеральному штабу, где к волынцам вышел Корнилов, и повторилась та же сцена. «Большая пресса», об'явив, что манифестация славного полка «произвела огромное впечатление», уделила ей исключительно много места под особыми плакатами — вроде «Народная армия» и т. п.

На другой день в том же порядке явился первый революционный — Павловский полк. На знаменах по «внутренней политике» было: «Да здравствует Учр. Собрание!» «Да здравствует демократическая республика!» «Земля и воля!» «8-ми часовой рабочий день!» «Да здравствует Вр. Правительство!» «Да здравствует С. Р. и С. Д.!» — Здесь был набор лозунгов, как видим, довольно «беспринципный», с разных сторон, на все вкусы. По внешней же политике было: «Победим или умрем!» А кроме того: «Солдаты к занятиям, рабочие к станкам!»

Затем явились семеновцы, литовцы, 3-й стрелковый, петроградский, броневой дивизион. Их «внутренние» лозунги пропадали среди «внешних». Внеш-

ними же были: «Сохранение свободы и победа над Вильгельмом!» «Война до победного конца!» «Война до полной победы!» «Да здравствует война за свободу!» «Долой германский империализм!» «Выкупаем в германской крови наших лошадей!» (казаки). А затем: «Товарищи, готовьте снаряды!» «Солдаты в окопы, рабочие к станкам!»...

Таврический дворец снова преобразился. Сравнительное затишье, сравнительное малолюдство, сравнительно небольшое количество митингов в его стенах, — снова сменились чрезвычайным оживлением, шумом и громом. Полки дефилировали один за другим ежедневно, иногда по два, по три в день. Вестибюль и Екатерининский зал были заполнены солдатскими рядами, оружием, красными знаменами. Гремела марсельеза, и раскатывалось поминутно могучее «ура!», долетая до отдаленных комнат Исп. Комитета... Было красиво, пышно, торжественно. Был под'ем, было видно, как по новому бьются сердца. Широко разлилась, глубоко захватила народные недра великая революция!

К полкам выходили и приветствовали их — и «думские», и советские люди. Из правого крыла налицо был почти неотлучно Родзянко. Он имел неизменный успех. При его появлении и проводах, на стол в Екатерининской зале непременно вскакивал какой-нибудь офицер и провозглашал «ура председателю Гос. Думы», которое дружно подхватывалось тысячами глоток...

Родзянко, насколько я наблюдал, не был ни аггрессивен, ни бестактен по отношению к Совету. Он, напротив, старался облечь в возможно более демократические формы, окутать демократическими лозунгами свою агитацию, направленную к одной це-

ли, бьющую в единый или двуединый пункт: сплочение вокруг Вр. Правительства для борьбы над внешним врагом... Родзянко выполнял свою миссию добросовестно и удачно.

Манифестанты требовали к себе и членов Исп. Комитета, обыкновенно Чхеидзе... Наш председатель тоже хорошо поработал на этом убогом столе в Екатерининском зале. Вообще люди правого и левого крыльев довольно правильно чередовались на нем, и мы в Исп. Ком. уже стали строго следить за тем, чтобы обеспечить ежедневные солдатские митинги своими ораторами... Видя на знаменах новые лозунги революции по внутренней политике и старые лозунги царизма по отношению к войне, Чхеидзе в первый день хотел «подойти к солдату» и, в униссон Родзянке, сказал несколько слов во славу России, в укор немцам. Но сейчас же он увидел, что вызванный этим восторг имеет более чем сомнительную ценность с точки зрения советской политики. И на другой же день Чхеидзе пришлось перейти от униссона к решительной оппозиции Родзянке и к полемике с ним. Родзянко иногда довольно удачно парировал, — когда Чхеидзе предлагал, напр., солдат спросить у председателя Думы насчет «землицы». И трудно сказать, кто тут в сердцах этих мужиков оставался победителем. Но, во всяком случае, открытая, напряженная борьба уже была здесь налицо и проходила всенародно пред глазами самих масс.

* * *

Смысл всего этого был совершенно ясен. Перед нами развертывалась по всему фронту та борьба за армию между Советом и цензовиками, зачатки ко-

торой я описывал уже 28 февраля, через несколько часов после переворота. Эта борьба была решающей для революции, и демократия должна была ее выиграть.

Кон'юнктура была сложная. От советских руководителей требовалась вся зоркость глаза, вся сила натиска и весь такт, все искусство танцовать на канате... Какова была цель нападающей буржуазии? Цель была — создать для цензовой власти реальную силу в государстве, т.-е. подчинить ей армию. Армия должна была сделаться старым слепым орудием в руках плутократических групп, или — классовое господство капитала, не успев расцвесть при самодержавии, обречено на быстрое, хотя бы и постепенное увядание. Реальная сила в виде армии должна быть противопоставлена советской демократии и в случае нужды должна служить орудием против ее, или — власть российского капитала отойдет в прошлое, почти не видев настоящего... Цель буржуазии в ее борьбе за армию очевидна: поставить точку на развитии революции, ввести ее в железные рамки диктатуры капитала, как в «великих демократиях запада», и — в случае нужды к тому — открыть возможности и приготовить лавры Тьера и Кавеньяка для Гучкова и Корнилова. Само собой разумеется, что в эти цели, как один из элементов, входит и «война до полной победы». Но только обывателю, только для обывателя — это представляется основной целью «сплочения армии вокруг Вр. Правительства»...

Но каковы же средства буржуазии? Средства заключаются именно в мобилизации сил на почве внешней опасности, именно «исходя из нее», именно пользуясь «немцем», как благоприятным для этого

фактором. В сложившихся условиях, при цензовой, империалистской официальной власти, бургфриден означал бы, конечно, полную капитуляцию демократии. Но для бургфридена нет лучшей почвы, чем опасность внешнего нашествия. По этой линии и не могла не пойти единым фронтом вся наша буржуазия... Разногласия, распри, двоевластие, подрыв доверия к признанной власти — все это существует на радость Вильгельма, против завоеванной свободы. Способ защитить ее — один: сплотившись вокруг правительства, направив все помыслы на внешнего врага. А между тем есть люди, именно отвлекающие солдатские мысли от фронта, есть люди, сеющие рознь, подрывающие дисциплину, говорящие о прекращении войны, не желающие победы. Это значит — открыть фронт германскому деспоту, уже поработившему десятки наших губерний. Это значит — быть врагами нового строя и народного блага... Таковы были методы, способы действий в руках буржуазии.

Этими методами можно было идти в разных направлениях и довольно далеко. Мы видели «невинные» лозунги на знаменах: «Готовьте снаряды», «Рабочие к станкам!» Это было начало широко раскинувшейся, глубоко пустившей корни, принявшей одно время угрожающие размеры — агитации среди солдат против рабочих.

Рабочие — лодыри и выдают братьев в окопах, занимаясь шкурными интересами в тылу. Они добыли себе 8-ми часовой рабочий день, и все-таки заводы работают на оборону кое-как, а солдаты заплатят за это тысячами жизней. Это — во-первых, а во-вторых, рабочие и их вожди верховодят в Совете; социал-демократами переполнен Исп. Комитет; эта

рабочая политика исходит из Совета; ослабление фронта, стало быть, оттуда же. Открыватели фронта гнездятся в Таврическом дворце. В Совете неблагополучно. А от Совета и во всей стране.

По всем этим линиям шла атака. К своим целям буржуазия шла единственно возможными для нее путями... Предстояло принять бой, которого отнюдь не форсировала советская демократия. Не форсировала потому, что кон'юнктура была сложная, и бой был труден. Труден был именно потому, что его приходилось принять на неразработанных позициях — отношения к войне. До сих пор среди темных масс попрежнему монопольно господствовали старые, подцензурные представления о войне, приобретенные из шовинистской прессы царизма. Новых понятий еще не было. Советская и партийная пропаганда еще не успела закрепить их в массах. Мало того: руководящее ядро Совета еще не могло разработать и рафинировать их для себя. Создать тут об'единяющую советскую платформу вообще, как показала история, было невозможно. — Все это было выгодно для буржуазии и понуждало ее форсировать наступление.

Конечно, Совет мог пойти по линии наименьшего сопротивления: борясь за армию, он мог легко этого достигнуть, заняв оборонческую позицию, пойдя на бургфриден, рассеяв одним ударом, решительным, ясным и определенным выступлением все недоразумения по части «пацифизма», дезорганизации армий, «открытия фронта». На этой почве армия легко и быстро перешла бы в полное и монопольное распоряжение «своего собственного» Совета. Она была бы легко и просто выведена из сферы влияния цензовиков.

Но ясно, что этот путь по существу был совершенно бесплоден и неприемлем. Допустим, он исключал разгром революции, т.-е. установление диктатуры плутократии методами Тьера и Кавеньяка; но он обрекал революцию на столь же печальное и более бесславное будущее, заводя ее в болото немедленной «коалиции» с буржуазией, т.-е. в дебри капитуляции не только в вопросе о войне, но и по всему революционному фронту.

Нет, бороться за армию и победить в этой борьбе было необходимо — на нашей, на советской, на циммервальдской платформе — или эта «победа» не стоила ни гроша. Победить в борьбе за армию было необходимо, преодолев мужицко-казарменную косность, преодолев огромную толщу атавизма, примитивного национализма, носимого в сердце с колыбели, и специфического шовинизма, привитого за последние годы бульварно-«либеральными» газетами в союзе с царскими цензорами. Бой необходимо было принять и выиграть на платформе «манифеста к народам мира», на платформе внутренней борьбы за мир, наряду с защитой классовых демократических завоеваний от внешних реакционных сил. Для этой битвы, решающей судьбу революции, предстояло мобилизовать силы демократии. Мы должны были победить в конечном счете...

Однако, пока приходилось трудно. Буржуазия, ее пресса, в частности офицерство — действовали дружно и энергично. На митингах и манифестациях в Таврическом дворце буржуазная военная молодежь хорошо использовала выступления правых и левых ораторов, неотступно следя за настроением своих частей и при малейшей нужде самолично вскакивая на трибуну. Офицеры искусно инсценировали успех

и победу правых, во-время командуя марсельезу, или совсем уводя свои части.

Советские ораторы, окруженные этими внимательно-враждебными слушателями и красными знаменами с шовинистскими надписями, — еще не могли нащупать надлежащие линии, найти «настоящие» слова. Неправильный же тон резко вредил делу. В Екатерининском зале, во время одной из манифестаций, какая-то агитаторша, вероятно большевичка, за выражение «долой войну!» едва не была всенародно растерзана солдатами. Популярный, опытный, далеко не большевистски настроенный оратор, Скобелев, уже через несколько дней (равных месяцам), был чуть не поднят на штыки за какое-то неосторожное слово.

Положение было трудное и требовало всего внимания, всего такта, всей осторожности и всей энергии. Ну, что ж! Надо было все это дать...

* * *

В понедельник, 13-го, в бывших «императорских» театрах возобновились спектакли, прерванные революцией... Нам в Исп. Комитете передали приглашение на торжественное открытие «свободных» театров. Мы отправились с большим удовольствием. Я сильно опоздал в Мариинский театр. Перед оперой там был дан дивертисмент — применительно к революции. Читались стихи о свободе, пел хор — памяти павших борцов, и без конца исполнялась марсельеза. Представителей правительства я не помню. Внимание возбужденной и радостной буржуазно-обывательской толпы сосредоточивалось на

боковой царской ложе, где разместились «рабочие и солдатские депутаты».

Функции торжественного представительства в столь чуждой сфере мы исполняли в первый раз и, приехав прямо с работы, обтрепанные, голодные, небритые, мы удивлялись странной обстановке, в которую попали. Царская ложа также еще не видала таких видов, — декорированная, как и весь блестящий театр, красной материей, окутавшей и скрывшей без остатка эмблемы «императорской» власти и старого порядка...

За нами радушно ухаживал управляющий театрами, Тартаков, вместе с другими именитыми представителями артистического мира. В антрактах нас поили чаем, кормили печеньями и водили по всем закоулкам кулис, показывая свое хозяйство и знакомя с артистами. Мы не знали, о чем начать разговор с этими раскрашенными, странно разряженными людьми. Они окружили нас густой толпой, смотрели на нас так, как будто это мы, а не они были в противоестественном, необычно-человеческом виде, — и потом потянулись за нами в царскую ложу. Все они так же, как и зрительный зал, казались наэлектризованными. Кто-то из них рассказывал о старых крепостных театральных порядках, говоря, между прочим, что за тридцать лет службы он впервые увидел, что такое царская ложа, доселе стоявшая под крепким замком...

Антракты кончались, но публика не хотела слушать оперу. Она требовала речей, начинала овацию по адресу Совета и вдруг прекращала ее, устанавливая выжидательную тишину. Сказал несколько слов сердитый Чхеидзе, чувствовавший себя совершенно не в своей тарелке. В большем соответствии с окру-

жающей атмосферой произнес несколько фраз о свободном искусстве Скобелев. Когда публика все же не унималась, перед морем блестящих манишек, сверкающих брильянтов, под наведенными лорнетами, выступил рабочий Гвоздев... Воодушевление и овации казались неподдельными.

На сцену высыпали все исполнители. К ним обращались с особыми речами. Они отвечали новой марсельезой и новыми песнями о свободе... Я впервые после переворота видел буржуазную толпу. Она, несомненно, жила и дышала по-новому. Она еще жила новым глубоким под'емом и еще дышала радостью. Была великая революция.

Дело не обошлось и без политической манифестации соответственно курсу самых последних дней. Из глубины партера офицер заговорил о фронте и о войне до полной победы. Буря восторга, которым встречены были его слова, несомненно носила в себе элементы демонстрации по нашему адресу...

Радушный хозяин, Тартаков, называл и характеризовал исполнителей, желая внимания к опере и сдержанно похваливая свой театр. Но я не мог удовлетворить его, почти ничего не видя и не слыша. Я думал совсем о другом.

Завтра, 14-го марта, в соединенном заседании обеих частей Совета на мне лежало первое международное выступление российской революционной демократии. Я должен был сделать первый официальный доклад по вопросу о войне и мире и в результате предложить на утверждение Совета «манифест к народам мира» от имени Исп. Комитета. Было, о чем подумать...

* * *

С утра, 14-го марта, в Исп. Ком. были обычные дела. Сфера этих дел все росла и ширилась. Их накоплялись длинные вереницы. Множество дел сдавались в комиссии; но все же было необходимо упорядочить и разгрузить повестки пленума Исп. Комитета; к тому же давно созданная комиссия «текущих дел» оказалась нежизненной... Было решено поэтому выделить бюро Исп. Комитета для решения мелких дел и для установления порядка ведения дел вообще. Собственно — это была функция президиума; но в этот период президиум не работал. Керенский не появлялся никогда, Скобелев обычно был в отлучке по неблагополучным местам. Налицо был один Чхеидзе, и функции президиума в этот период выполнял сам пленум Исп. Комитета.

Впоследствии было уже как раз наоборот. Это было еще хуже. Но и загромождение Исп. Ком. мелочами и внутренним распорядком было нелепо и вредно. В созданное 14-го марта бюро вошло несколько постоянных работников: Чхеидзе, Богданов, Гвоздев, Стеклов, Красиков, Капелинский, и кроме того вновь прибывший из Сибири думский большевистский депутат Муранов... Это первое бюро имело по преимуществу технические функции. Оно было задумано и создано совершенно на иных основаниях, чем впоследствии — второе бюро. Там была уже «высокая политика» нового советского большинства, о которой я расскажу подробно в следующей книге.

Кроме того до последней степени «назрел» другой вопрос — об упорядочении советского представительства, о реорганизации Совета... Число рабочих и солдатских депутатов продолжало расти по сей

день. Число выданных «мандатов» достигало уже 3000. Из них было 2000 солдат и около 1000 рабочих. Такое собрание было абсурдно, как постоянный «законодательный» орган. Да и просто для него в Петербурге не было сколько-нибудь приспособленного помещения.

Соотношение между рабочими и солдатскими представителями также было нестерпимо. Рабочих в Петербурге было вдвое или втрое больше, чем солдат (хотя точно это, насколько я знаю, установлено не было — не только в виду текучести гарнизона, но и в виду нежелания соответствующих солдатских, а также и вообще советских органов). Рабочие выбирали депутатов на тысячу, а солдаты на роту. Т.-е. солдаты имели в 4—5 раз большее представительство.

Все это, вместе взятое, надо было изменить и упорядочить. Как это сделать? Естественно прежде всего уменьшить норму представительства. Но трудность состояла в том, что эту норму, как и вообще реорганизацию, предстояло провести через наличный Совет. А это значило заставить добрых две трети «депутатов» отказаться от своих полномочий. Собрать большинство в пользу самоликвидации было делом почти безнадежным: надо было смотреть раньше и не выдавать мандатов.

Богданов, вообще много работавший над внутренними организационными вопросами, предлагал искусственный и громоздкий выход из затруднения; оставить существующий Совет для торжественных, «исторических» заседаний — «без прений»; а для сколько-нибудь деловой работы выделить из него «малый совет» — по значительно сокращенной норме представительства. Не знаю, на каком основании

Богданов, 18-го марта, даже выступил со своим проектом в Совете.

Но ни там, ни в Исп. Комитете вопрос не был доведен до конца. Единовременная реорганизация так и не состоялась — в виду технических и «дипломатических» трудностей. На помощь пришла сначала просто-на-просто текущая работа мандатной комиссии, которая нещадно «раз'ясняла» мандаты и месяца через полтора, основательно профильтровав, сильно сократила Совет; среди массы сомнительных депутатов это, кажется, не вызывало особых, громких протестов. А затем делу помогли начавшиеся перевыборы по новым уменьшенным нормам, установленным Исп. Комитетом... Численность Совета, благодаря этому, стала немногим превышать тысячу человек. И Совет получил возможность заседать, если не в белом зале Таврического дворца, то, по крайней мере, в небольшом Александринском театре.

Но как же обстояло дело с кричащим, непропорциональным представительством рабочих и солдат, с полным поглощением петербургского пролетариата текучей деревенской солдатчиной?.. Этот вопрос так и не был урегулирован за целый ряд месяцев, чуть ли не до самого октябрьского переворота. Это было не в интересах нового советского большинства, которое управляло советской (и государственной) политикой, опираясь всецело на это искусственное, беззаконное, мужицко-солдатское большинство...

Не помогла ему, однако, в конечном счете политика страуса и подавление воли пролетариата.

* * *

Того же 14-го марта в Исп. Комитет поступило сообщение о «необходимости немедленной организации самого многочисленного класса в России, многомиллионного крестьянства, которому будет принадлежать до 70 проц. представительства в Учр. Собрании, от которого в конечном счете будет зависеть та или другая организация будущего государственного строя России»... Несомненно, крестьянство на местах уже организовывалось в советы — волостные и уездные, а может быть и губернские. Сейчас речь шла о создании всероссийской крестьянской организации, которая таким образом опережала всероссийскую советскую организацию рабочих и солдат.

Инициатива и цитированное заявление шли от имени старого «Всерос. Крест. Союза», действовавшего в 1905—1906 гг., от его главного комитета, где работали право-эсеровские интеллигенты. Этот «комитет» предлагал немедленные выборы по одному депутату на 5 волостей и созывал депутатов немедленно в Петербург «для участия в работах совета крестьянских депутатов»...

Конечно, на деле из этого должен был выйти не совет, а огромный крестьянский всероссийский С'езд. Инициаторы требовали содействия у Вр. Правительства и у петербургского Совета Р. и С. Д. Содействие им было оказано. Дело было важно и было чревато последствиями.

* * *

Соединенное заседание Совета 14 марта было назначено в 6 час. Манифест к народам мира (плюс

воззвание к полякам) был единственным пунктом в порядке дня... После долгих поисков помещение было найдено на другом конце столицы, на Васильевском Острове, в здании морского кадетского корпуса. Там был огромный зал, украшенный эмблемами мореплавания и огромными моделями кораблей. Зал вмещал свободно три, четыре тысячи человек и, вероятно, еще больше. В ближайшие месяцы он постоянно стал служить для советских заседаний. По его длинной стене была выстроена эстрада, всегда сплошь облепленная людьми. Против нее стояло около тысячи стульев и несколько рядов скамей. Остальные «депутаты» стояли; их бесконечные фигуры, лица, шинели, фуражки — уходили в даль и сливались в одно целое в обоих концах зала. Как будто людьми же были усеяны и модели знаменитых кораблей... Но акустика была отличная. Неудобства заключались в громоздких и долгих передвижениях Исп. Комитета из Таврического дворца. Вереницы переполненных нами автомобилей, двигаясь по Невскому, заставляли прохожих останавливаться и долго провожать нас глазами.

Часов в 5 мы стали понемногу собираться — идейно и технически. Автомобилей для всех, конечно, не хватило. Опасаясь, что я, по нерасторопности, не найду для себя места, один товарищ (это была — увы! — моя жена) предложил мне выехать, не дожидаясь других, в автомобиле особого назначения, имеющемся в его распоряжении. Ну, что ж, отлично!

— А где же этот автомобиль?

— Автомобиль готов. Он в гараже, на Таврической улице, напротив дворца. Можно прямо пойти

туда, сейчас же, там сесть и поехать. Только сначала необходимо заехать на Лиговку, в типографию, и захватить оттуда кипу «Известий» в морской корпус. Это — одна минута. Там все готово, нам вынесут в автомобиль, и все равно мы раньше других будем на месте...

Озабоченный предстоящим недоделанным докладом, я двинулся через правое крыло к воротам гаража. Оттуда выбегали автомобили, но нашего не оказывалось. Мы отправились искать. Налицо не было шоффера. Когда нашли шоффера, не оказалось ордера. Когда все оказалось налицо, то шоффер стал возиться с мотором и, провозившись минут 10—15, пустил его в ход: мотор оказался неисправным.

Мы выехали в типографию, когда Исп. Комитет, вероятно, уже выехал в морской корпус. Но, во-первых — что̀ стоит для автомобиля ничтожный крюк? во-вторых, ведь в трамвае, или на извозчике, или пешком будет заведомо еще дольше, хотя бы и без крюка; в третьих заседания никогда вовремя не открываются, и на несколько минут можно свободно опоздать. Все это было совершенно неопровержимо. Мы поехали.

В типографии, конечно, не оказалось ни собранных «Известий», ни тех, кто мог их собрать. Мы лазали по этажам, искали, просили помощи. Когда нашли, что было нужно, оставалось уже только отыскать тех, кто имел право нам это выдать, а потом озаботиться переноской нескольких кип в автомобиль... Шоффер встретил нас с негодованием. Он сам хотел попасть в заседание и опаздывал из-за нас. Ворча и не внимая резонам, он пустил в ход машину. Но машина не шла...

Мы опаздывали уже явно, мы уже пропустили все льготные сроки. Переполненный зал, видя на эстраде весь Исп. Комитет и председателя Чхеидзе, почему-то не открывающих собрания, несомненно, уже давно начал волноваться. Надо было начинать... Но наша машина не шла. И было неизвестно, пойдет ли она и когда именно. Но надо было надеяться, что это случится каждую секунду, и ждать, кусая губы, стараясь не вникать в совершенно сверхестественную глупость своего положения, чтобы не умереть от бешенства, от разрыва сердца, от умоисступления.

Машина, как сорвавшись с цепи, вдруг неистово запрыгала по ухабам, разбрасывая серый снег и пуская из луж грязные фонтаны. Мы выскочили на Невский, но снова остановились, и раза три сменяли бешеную скачку на остановки по несколько минут, или может быть часов или недель... Я уже одеревенел и был ко всему равнодушен... Может быть, я проявил исключительное преступное легкомыслие. Может быть, я давно должен был бросить все это и мчаться на извозчике. Не знаю.

Во всяком случае, когда мы под'ехали к морскому корпусу, был восьмой час. Когда, никого не встретив на лестницах и в кулуарах, я ворвался в зал, Стеклов достиг уже половины доклада. Я пробрался на эстраду... Стеклов говорил о контр-революции, о мятежных генералах в ставке, о беспощадном суде над ними, привезенными в цепях, о том, что эти генералы об'являются вне закона, и каждый может их убить, раньше чем... и т. д. Затем он заговорил об Уч. Собрании, о французской конституции, о тайной дипломатии, об империалистском происхождении войны, о своих беседах в германском

плену. Все это не казалось мне необходимыми центрами первого мирного выступления революции. Меня взяло сомнение.

Я пробрался к председателю Чхеидзе и спросил:

— Скажите, Стеклов делает мой доклад по международной политике и кончит его предложением манифеста?

Чхеидзе бросился на меня с разносом:

— Ну да, ведь мы ждали, сколько было возможно. Ему пришлось говорить экспромтом... Так нельзя относиться...

Но видя отчаяние, запечатленное на всей моей фигуре, он замолк и догнал меня на конце эстрады:

— Хотите сейчас иметь слово после него?

Но я махнул рукой и настаивал, чтобы вообще принять манифест без прений. Мне казалось, что прения, если и не испортят положения, то нарушат торжественность момента. А между тем, момент действительно был торжественный. Недаром на хорах был незаметно размещен оркестр... Договориться и столковаться в таком собрании, конечно, было нельзя, и случайные речи Бог весть откуда взявшихся ораторов могли только испортить настроение. Чхеидзе согласился.

Стеклов по плохо написанному экземпляру кое-как прочел манифест. Его ошибки и запинки резали меня по сердцу. Мне казалось, что из всего этого дела с манифестом ровно ничего не получается, кроме скуки и недоразумения... Прения, однако, начались — под видом поправок. Офицеры и какие-то невиданные в Совете почтенные господа, в небольших репликах заявляли о том, не будет ли такой наш призыв наивностью и прекраснодушной

мечтой, а еще хуже — не будет ли он источником ослабления фронта, не грозит ли он опасностью для революции... Это было уже из рук вон. Чхеидзе сам взял слово, а затем вотировал прекращение прений.

Меня окликнул Тихонов:

— Необходимо внести поправку. Почему нет ничего о мире без аннексий и контрибуций? Нужно ввести в манифест эту формулу...

Я не знаю, почему этой формулы там не было, почему и я, и другие пока обошли ее. Может быть, она была бы нужна в манифесте. Но сейчас я был ко всему равнодушен.

Манифест был принят — кажется все-таки единогласно. Член Исп. Ком. Красиков еще раз огласил его — едва слышно и уже совсем по складам... Грянул «Интернационал», затем марсельеза, кричали «ура!» Я не могу сказать, были ли налицо действительный под'ем, воодушевление, сознание значительности совершенного акта.

Мне казалось все происходящее — свадебными песнями на похоронах... Со мной заговорили знакомые, делились впечатлениями. Я почти не отвечал... Стеклов обратился ко мне с попреком, что я заставил его выступить внезапно, без всякой подготовки. Я в конце концов не думаю, что я доставил ему действительную неприятность.

Не могу сказать того же о себе самом. Я никогда не имел склонности к выступлениям в пленарных заседаниях Совета или с'ездов. Во всяком случае я никогда не искал их и нередко от них уклонялся. Но на этот раз все, происшедшее в знаменательный день 14-го марта, расстроило меня на несколько часов. И еще долго, вспоминая обо

всем этом, я не мог отделаться от чувства острой досады[1]).

* * *

Чхеидзе, выступая в заседании 14-го марта, хотел разрубить злокачественный узелок, завязанный солдафонскими выступлениями справа. Чхеидзе правильно понял свою обязанность, но как он ее выполнил?.. Когда он, совершая «дипломатический

---

[1]) К НАРОДАМ ВСЕГО МИРА.

Товарищи, пролетарии и трудящиеся всех стран!

Мы, русские рабочие и солдаты, об'единенные в Петербургском Совете Рабочих и Солдатских Депутатов, шлем вам наш пламенный привет и возвещаем о великом событии. Российская демократия повергла в прах вековой деспотизм царя и вступает в вашу семью полноправным членом и грозной силой в борьбе за наше общее освобождение. Наша победа есть великая победа всемирной свободы и демократии. Нет больше главного устоя мировой реакции и «жандарма Европы». Да будет тяжким гранитом земля на его могиле! Да здравствует свобода! Да здравствует международная солидарность пролетариата и его борьба за окончательную победу!

Наше дело еще не завершено: еще не рассеялись тени старого порядка и не мало врагов собирают силы против русской революции. Но все же огромны наши завоевания. Народы России выразят свою волю в Учредительном Собрании, которое будет созвано в ближайший срок на основе всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права. И уже сейчас можно с уверенностью предсказать, что в России восторжествует демократическая республика. Русский народ обладает полной политической свободой. Он может ныне сказать свое властное слово во внутреннем самоопределении страны и во внешней ее политике. И обращаясь ко всем народам, истребляемым и разоряемым в чудовищной войне, мы заявляем, что наступила пора начать решительную борьбу с захватными стремлениями правительств всех стран. Наступила пора народам взять в свои руки решение вопроса о войне и мире.

подход» к стоящей перед ним массе, говорил, что помазанника-Вильгельма надо смазать, он был конечно прав — и в деле «подхода», и по существу.

Но Чхеидзе и в своей «дипломатии», и в своих «комментариях» к манифесту пошел гораздо дальше. Нам надо внимательно познакомиться с тем, что он говорил на этом заседании. Он говорил: «мы желаем мира, но с кем? Когда мы обращаемся к герман-

---

В сознании своей революционной силы, российская демократия заявляет, что она будет всеми мерами противодействовать захватной политике своих господствующих классов и призывает народы Европы к совместным решительным выступлениям в пользу мира. И мы обращаемся к нашим братьям пролетариям австро-германской коалиции, и прежде всего к германскому пролетариату:

С первых дней войны вас убеждали в том, что, поднимая оружие против самодержавной России, вы защищаете культуру Европы от азиатского деспотизма. Многие из вас видели в этом оправдание той поддержки, которую вы оказали войне. Ныне не стало и этого оправдания: демократическая Россия не может быть угрозой свободе и цивилизации.

Мы будем стойко защищать нашу собственную свободу от всяких реакционных посягательств — как изнутри, так и извне.

Русская революция не отступит перед штыками завоевателей и не позволит раздавить себя внешней военной силой. Но мы призываем вас: сбросьте с себя иго вашего самодержавного порядка, подобно тому, как русский народ стряхнул с себя царское самовластие, откажитесь служить орудием захвата и насилия в руках королей, помещиков и банкиров, — и дружными об'единенными усилиями мы прекратим страшную бойню, позорящую человечество и омрачающую великие дни рождения русской свободы.

Трудящиеся всех стран! Братски протягивая вам руку через горы братских трупов, через реки невинной крови и слез, через дымящиеся развалины городов и деревень, через погибшие сокровища культуры, — мы призываем вас к восстановлению и укреплению международного единства. В нем залог наших грядущих побед и полного освобождения человечества . . .

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

скому и австрийскому народу, то у нас идет речь не о тех, кто толкнул нас на войну, а о народе. И народу мы говорим, что хотим начать мирные переговоры. Но для этого, говорим, нужно будет одно условие, без которого общего языка у нас не найдется: сделайте то же, что сделали мы, — уберите Вильгельма и его клику... Прежде чем говорить о мире, потрудитесь несколько походить на нас. До сих пор мы у вас учились, теперь не угодно ли нам подражать — уберите Вильгельма. А пока, что мы будем делать? Предложение мы делаем с винтовкой в руках. У нас есть победоносная революция, и мы с оружием в руках будем бороться за нее... Вот, товарищи, о чем говорится в документе».

Чхеидзе был в трудном положении и не мог отвечать за каждое слово. Но все же ясно: его комментарии к манифесту были совершенно незаконны. Они не имели ничего общего с самим манифестом. Ни о каких предварительных условиях для нашей внутренней борьбы за мир — в манифесте, конечно, не было и не могло быть речи. О таких условиях, как предварительная революция в Германии — тем более. Между тем, это извращало все перспективы и все «линии» советской политики. Комментарии Чхеидзе были не только незаконны. Они были до крайности вредны.

В начавшейся борьбе с империалистской буржуазией Чхеидзе, за которым были численно сильные советские группы, пошел по линии наименьшего сопротивления, ведущей прямо в болото безысходного оппортунизма и капитуляции. Чтобы притянуть к себе армию, чтобы не отделиться от армии — ей и буржуазии головой выдавался принцип, принцип циммервальда.

Нет, такая армия и такая победа над буржуазией нам не нужна. Мы должны победить в борьбе за армию на нашей почве. Мы должны победить в борьбе за мир, за циммервальд... И было ясно: чтобы победить Совету в этой борьбе с буржуазией, надо немедленно привести в порядок дела в самом Совете. Надо укрепить Совет на циммервальдских позициях.

Это не легко. Исп. Комитет уже насыщен мелкобуржуазными элементами. Они распылены, но упорны. Они не имеют вождей, но они хорошо ловят лозунги «большой прессы» и хорошо поддакивают массам... Крепкое ядро, устойчивое большинство против них — не легко, но возможно создать в Исп. Комитете. Его необходимо создать. Надо мобилизовать силы...

---

5. ПЕРЕД БИТВОЙ

Приезд Ларина и Урицкого. — «Мир по телеграфу». — Каменев. — Большевики и Каменев. — Каменев и «Правда». — Судьба манифеста 14-го марта. — Недоумевающая Европа. — В Германии: канцлер, Шейдеман, левые. — Альтернатива. — У «союзников». — Перепуг. — Цензура. — «Совет порвал с пацифизмом». — Парламентская делегация в Россию. — Выступления г. Рибо. — «Когда же разгонят Совет штыками?» — В Исп. Комитете. — Новые элементы. — «Мамелюки». — «Разумные оборонцы». — Либер. — Сталин. — Буржуазные комментарии к комментариям Чхеидзе. — «Циммервальдский блок». — Резолюция о мире. — Первый фронт революции. — Продовольствие, хлебная монополия, регулирование промышленности. — Второй фронт революции. — Терещенко. — Урицкий чествует Церетели. — Ходоки и просители. — Александрович «разрешает». — Пешехонов и земельные комитеты. — Аграрная реформа. — Третий фронт революции. — Похождения Керенского. — Суд над «бонапартом». — Сибирские «циммервальдцы»: Гоц, Войтинский, Церетели.

Утром 15-го марта члены Исп. Комитета, придя в заседание, застали в своей комнате спящей на столе длинную, довольно странного вида фигуру. По ближайшем рассмотрении фигура оказалась Ю. Лариным (М. А. Лурье), приехавшим ночью из Стокгольма и заночевавшим в Исп. Комитете, за неимением другого пристанища... Эта фигура довольно известна в революции.

Сначала правый меньшевик-ликвидатор; потом, во время войны, левый интернационалист и одновременно автор интересных, поучительных и всем известных корреспонденций в «Рус. Ведомостях» о внутренней жизни воюющей Германии; а в дальнейшем, в большевистскую эпоху — неисчерпаемый декретодатель, экономический «мюр и мерилиз», лихой кавалерист, не знающий препятствий в скачке своей фантазии, жестокий экспериментатор, специалист во всех отраслях государственного управления, дилетант во всех своих специальностях, центро-кризис, главразвал, даровитый и очень милый человек.

До его приезда в марте я никогда не встречался с ним. Но поддерживал с ним довольно интенсивные письменные сношения. Без Ларина обходилась редкая книжка «Современника», а потом — «Летописи». И за мою редакторскую практику я не знал более «удобного» сотрудника (оставляя в стороне прочие его достоинства). От него, вероятно, каждую неделю приходили целые пачки рукописей — столько, сколько заведомо не мог поглотить журнал, даже два журнала. Боже мой, что я делал с этими рукописями! Я делал из одной две, три, четыре; из двух, трех, четырех делал одну; вырванную середину одной я вставлял между началом другой и концом третьей. Ни один автор не допустил бы подобного обращения с собой. Но Ларин или забывал радикально, что он писал в грудах посылаемых манускриптов, или, по необычайному благодушию, игнорировал мои вивисекции, вызываемые самыми разнообразными обстоятельствами. А кроме того Ларин... никогда сам не требовал гонорара и покорно ожидал инициативы редакции. Для нищего, едва влачившего свои дни «Современника» подобные свойства в исключи-

тельно ценном сотруднике были богатейшим кладом...

Ларин приехал из Стокгольма, и благодаря особой предупредительности г. Милюкова к своим подзащитным соотечественникам-эмигрантам, он был на границе арестован, просидев пол-суток в жандармской комнате — по случаю «неисправности документов»...

С Лариным приехал еще один эмигрант — маленький, бритый человек, удивительно резко клевавший носом в разные стороны при ходьбе. Это был Урицкий, также будуший именитый деятель большевизма. Он также иногда сотрудничал в «Современнике» и в «Летописи». Его корреспонденции из скандинавских стран, написанные под интернационалистским углом зрения, были, конечно, полезны и интересны для людей «нашего круга» в России. Но при личном знакомстве Урицкий не производил впечатления человека, хватающего с неба звезды и... не располагал к личному знакомству.

В то же утро, побеседовав с некоторыми своими старыми партийными товарищами, меньшевиками, Ларин не замедлил произвести сенсацию. Он требовал немедленного заключения мира и соответствующего предложения Германии от имени Совета — по телеграфу... Это был обычный кавалерийский эксцесс Ларина, которому в Исп. Комитете посмеялись, и о котором Ларин забыл через два дня.

Но надо отметить характерное обстоятельство. Все прибывавшие эмигранты были гораздо радикальнее нас по части внешней политики и борьбы за мир. Даже через два месяца приехавший Мартов находил слишком правой и компромиссной мою «двуединую» позицию в деле мира, основы которой были намечены выше по поводу манифеста 14-го мар-

та... Это обстоятельство довольно понятно. Оторванные от нашей реальной почвы, не сталкиваясь ни с конкретными нуждами нашей текущей политики, ни с конкретными трудностями ее, варясь и мысля исключительно в сфере международных отношений, принципов интернационализма, борьбы за мир, — наши эмигранты-интернационалисты были именно поэтому склонны к не в меру форсированной и прямолинейной внешней политике демократии. Однако, на русской почве они довольно быстро ориентировались в конкретной обстановке и ассимилировались со своими петербургскими собратьями.

Ленин не явился исключением: он, правда, не ассимилировался с российскими большевиками, а ассимилировал их с собою — в своей общей новой, порвавшей с марксизмом концепции. Но в сфере военной, внешней политики Ленин многому научился на русской почве и отлично «приспособился» в своих «подходах к солдату». Об этом дальше.

* * *

Первая «большая социалистическая» газета, эсеровское «Дело Народа», вышла 15-го марта. Вялое, дряблое, с разноголосящей редакцией — оно взяло курс на Керенского и даже демонстрировало свой «нейтралитет» между Таврическим и Мариинским дворцами... Наша «Новая Жизнь», орган «летописцев», готовилась на всех парах, но еще не успела мобилизоваться. Я расскажу об этом после... В данный момент для меня во всяком случае не было подходящего и доступного мне органа печати. — «Известия»? Но они были не только бестолковы. В них начали проскальзывать по внешней политике

крайне нежелательные ноты: недаром «Речь» взяла в обычай ставить их благонравие в укор «Рабочей Газете».

После какого-то столкновения с правыми в Испол. Комитете, я полушутя сказал Шляпникову, что мне приходится писать статью в «Правду».

— Что ж, — ответил Шляпников, — я предложу своим.

А на другой день он сообщил мне:

— Наши говорят: пусть он пишет, но только пусть заявит сначала, что он стоит на точке зрения большевиков. — Мы пошутили и разошлись.

«Правда», выражавшая точку зрения большевиков, была в то время сумбурным органом очень сомнительных политиков и писателей. Ее неистовые статьи, ее игра на разнуздывании инстинктов — не имели ни определенных об'ектов, ни ясных целей. Никакой вообще «линии» не было, а была только погромная форма. Сотрудничать в этой газете было нельзя. В крайнем случае, когда решительно некуда деваться, было можно просить единовременного «гостеприимства» и «предания гласности».

Дня через два после разговора со Шляпниковым, числа 15-го или 16-го, меня вызвали из Исп. Комитета и сообщили: в Екатерининском зале меня ждет Каменев и хочет говорить со мной... Каменев приехал уже дня три назад, но не показывался в советских сферах, а пребывал и «наводил порядок» в своих партийных организациях.

Каменева я миходом встречал еще в Париже в 1902—3 гг., куда я отправился немедленно по окончании гимназии — «людей посмотреть, себя показать»; Каменев же пребывал там в чине потерпевшего студента. Затем он промелькнул мимо меня

метеором, когда я прочно сидел в «Таганке» в 1904 и 1905 гг. Но я знал его под «урожденной» фамилией, и только во время войны, по некоторым признакам, умозаключал, что это и есть Каменев, ставший за эти годы знаменитым столпом большевизма. Вышедши в Екатерининский зал, я действительно увидел старого знакомого.

В «Современнике» из-за границы Каменев не сотрудничал, но писал в «Летопись» из Сибири, из ссылки, откуда он сейчас и приехал. Писания его вообще не отличались ни большой оригинальностью, ни глубоким изучением, ни литературным блеском, — но всегда были умны, хорошо выполнены, основаны на хорошей общей подготовке и интересны по существу. Как с политическим деятелем, мы будем непрерывно встречаться с Каменевым на всем протяжении революции, по крайней мере до того дня, когда я пишу эти строки, а он, в качестве представителя высшей власти, снова изыскивает способы смягчить продовольственные неурядицы и «продержаться до нового урожая» 1919 г.

Как политический деятель, Каменев, несомненно, представляет собой незаурядную, хотя и не самостоятельную величину. Не имея никогда ни острых углов, ни ударных пунктов мысли, боевых идей, новых слов, — он один не годится в вожди: ему одному вести массы некуда. Оставшись один, он непременно с кем-нибудь ассимилируется. Его самого всегда необходимо взять на буксир, и если он иногда упрется, то не сильно. Но в качестве элемента руководящей группы, Каменев — с его политической школой, с его ораторскими данными является весьма выдающимся, а среди большевиков во многих отношениях незаменимым деятелем...

С другой стороны, по личному своему характеру, Каменев — мягкий и добродушный человек. А из всего этого, вместе взятого, слагается его роль в большевистской партии.

Он всегда стоял на ее правом, соглашательском, пассивном крыле. И иногда он упирался, отстаивая «эволюционные методы» или «умеренный» политический курс. Упирался он против Ленина в начале революции, упирался против октябрьского восстания, упирался против всеобщего разгрома и террора после восстания, упирался по продовольственным делам на втором году большевистской власти. Но — всегда сдавал по всем пунктам. И, плохо веря сам себе, для оправдания себя в собственных глазах, он как-то говорил мне (осенью 1918 г.):

— А я чем дальше, тем больше убеждаюсь, что Ильич никогда не ошибается. В конце концов он всегда прав... Сколько раз казалось, что он сорвался — в прогнозе или в политическом курсе, и всегда в конечном счете оправдывались и его прогноз, и его курс.

В качестве умеренного политика и мягкого человека, Каменев, несомненно, всегда был и состоит до сих пор в оппозиции к террору, голому якобинству, насилиям, подавлению элементарной свободы. Но — в качестве таковых же — Каменев, назвавшись груздем, покорно лезет в кузов; и заведомо ничего не может поделать с положением, которое обязывает, которое связывает и заставляет бросать, казалось бы, совершенно невероятные фразы.

— Ничего, — сказал как-то Каменев в ответ на мои упреки в трусости и насильничестве во время неслыханной ликвидации всей печати, — ничего, дайте нам поработать спокойно!..

Но если оставить в стороне оценку такой «позиции» бывшего социалдемократа, то все же мне не верится, что Каменев, как таковой, действительно верил и в конечную силу таких методов, и в надлежащие конечные результаты «спокойной работы» своей партии... Назвали груздем, раскрыли перед ним кузов, — надо лезть и вести себя, как требуют обстоятельства.

С Каменевым, повторяю, нам придется постоянно встречаться — и в этой, и в следующих книгах.

* * *

Поговорить со мной тогда, 15 или 16-го марта, Каменев хотел вот о чем:

— Насчет статьи в «Правду»... Тут наши вам передавали, что вы сначала должны об'явить себя большевиком. Это пустяки, не обращайте внимания. А статью, пожалуйста, напишите... И я прямо скажу вам, в чем дело. Вы читаете «Правду»? Вы видите — у нее совершенно неприличный тон и вообще какой-то неподходящий дух. И репутация ее очень не хороша. И в наших рабочих кругах очень недовольны... Я приехал — пришел в отчаяние. Что делать? Я думал даже совсем закрыть эту «Правду», а выпустить новый центральный орган под другим названием. Но это невозможно. В нашей партии слишком много связано с именем «Правды». Название должно остаться... Надо только перестроить газету на новый лад. Вот я сейчас и стараюсь привлечь сотрудников или хоть приобрести несколько статей авторов с приличным весом и репутацией. Напишите...

Все это было любопытно. Я стал расспрашивать Ка-

менева, что же вообще делается и куда определяется «линия» в его партийных кругах. Что думает и что пишет Ленин?.. Мы долго гуляли по Екатерининской зале, и Каменев долго убеждал меня в том, что его партия занимает или готова занять самую (на мой взгляд) «разумную» позицию. Позиция эта, по его словам, очень близка к занятой советским циммервальдским центром, если не тождественна с ней. Ленин? Ленин считает, что революция до сих пор совершалась вполне закономерно, что буржуазная власть сейчас исторически необходима, и иной не могло быть после переворота.

— Значит, сейчас вы еще не свергаете цензового правительства и не стоите за немедленную демократическую власть? — допытывал я своего собеседника, открывавшего мне важные для меня перспективы.

— Ни мы здесь, ни Ленин там — не стоим на такой точке зрения. Ленин пишет, что сейчас очередная задача — в организации и мобилизации сил.

— А что вы думаете по текущей внешней политике? Как насчет немедленного мира?

— Вы знаете, что для нас так вопрос стоять не может. Большевизм всегда утверждал, что мировую войну может кончить только мировая пролетарская революция... А пока ее нет, пока Россия продолжает войну, мы будем против дезорганизации и за поддержку фронта. Отсюда вытекает, что̀ мы можем сказать за и что против советского манифеста к народам мира...

Тут мне показалось, не перегибается ли несколько вправо практическая линия Каменева?.. Я, в свою очередь, изложил ему свои собственные соображения и подробно рассказал о положении дел в Совете

и в Исп. Комитете. Я рассказал, что до сих пор дело шло благополучно благодаря гегемонии сплоченного циммервальдского центра. Но именно сейчас, в острый момент наступления цензовиков и борьбы за реальную силу — в Исп. Комитете нас начинают численно подавлять обывательские мелко-буржуазные элементы, идущие на поводу у буржуазии в главном вопросе — о войне. Я рассказал, что уже несколько дней среди нескольких членов Исп. Ком., близких мне по взглядам, бродит мысль о сплочении всех анти-оборонческих элементов, о создании левого циммервальдского блока. Я сказал, что предыдущий разговор подает мне в этом отношении очень большие надежды.

Каменев ко всему присоединился. Перспективы были действительно отрадные. Сплоченный же левый блок имел все шансы вести за собой дряблую массу «народнически» настроенных солдат и мягкотелых интеллигентов. Развернувшаяся борьба при таких условиях должна быть выиграна. Надо приступать к делу.

* * *

Каменев действительно — не закрыл «Правды», но перестроил ее на новый лад. Газета мгновенно стала неузнаваемой. Окружающая «большая пресса» диву давалась и непременно рассыпалась бы в комплиментах, если бы не удерживало сознание, что ничего, в конце концов, не может быть доброго из Назарета. По крайней мере, «Рус. Слово» (от 16-го марта), по которому я цитирую нижеследующее, едва-едва сдерживало свое величайшее удовольствие по поводу «переворота»:

«Война идет, — писала новая «Правда», — великая русская революция не прервала ее, и никто не питает надежд, что она кончится завтра или послезавтра... Война будет продолжаться, ибо германская армия еще не последовала примеру русской и еще повинуется своему императору, жадно стремящемуся к добыче на полях смерти. Когда армия стоит против армии, одной из них разойтись по домам — это было бы политикой не мира, а рабства, политикой, которую с негодованием отвергнет свободный русский народ. Нет, он будет стойко стоять на своем посту, на пулю отвечать пулей и на снаряд снарядом... Мы не должны допускать никакой дезорганизации военных сил революции. Не дезорганизация, не бессодержательное слово «долой войну» наш лозунг; наш лозунг — давление на Вр. Правительство с целью заставить его открыто перед всей мировой демократией немедленно выступить с попыткой склонить все воюющие стороны к немедленному открытию переговоров о способах прекращения мировой войны. А до тех пор каждый должен оставаться на своем посту»...

Все правильно, — в начале несколько сомнительно, с креном вправо. И в эти дни Каменев вообще грешил перегибом палки вправо. Я попрекал его за тенденцию к «оборончеству». В эти дни «Рабочая Газета», выдерживая свой превосходно взятый курс, шла левее. Но это было не долго. О правой опасности со стороны большевизма ни у кого, разумеется, не было мысли. Это была любопытная излучина. Но скоро, скоро — «мы переменим все это».

* * *

Манифест 14-го марта имел «хорошую прессу» слева. Ему придавали большое значение, видели в нем «знаменательный шаг», серьезный фактор европейского движения за мир. Право-демократическая печать также «приветствовала» манифест, но демонстрировала свой скепсис и кивала на шовинизм германской социалдемократии. Буржуазные газеты старались попросту замалчивать манифест или, не зная, что следует сказать, благосклонно отмечали его «оборонческие» лозунги...

Акт 14-го марта, несомненно, имел очень большое значение: он, наконец, определял официально позицию революционной демократии по отношению к войне; он официально определял линию ее внешней политики и давал практические директивы, давал общие лозунги в начавшейся борьбе за мир.

Не меньшее значение манифест должен был иметь и для Европы. Дело было, конечно, не в призывах, как таковых. Ленин, по приезде своем, пренебрежительно отзываясь об этом манифесте, правильно говорил, что «к революциям не призывают, революций не советуют: революции зреют, выростают». Ленин рассуждал так хорошо, так «по-марксистски» до самого октября, после чего стал в еженедельных воззваниях «призывать» на помощь Европу и «советовать» ей произвести социалистическую революцию...

* * *

Но дело было действительно не в призывах. Дело было просто-на-просто в информации. Путаница понятий, царившая по всей Европе в толковании русских событий, была невообразимой до сих пор, на третьей неделе революции. Неразбериха в ее

оценке царила и в союзных, и во вражьих станах, и среди буржуазии, и в пролетарских слоях.

Лживое радио Милюкова от 3-го марта, конечно, сделало свое посильное скверное дело: оно успело значительно дискредитировать нашу революцию перед лицом союзной и австро-германской демократии. Но все же это радио не могло предотвратить встряски, искоренить брожение среди европейского пролетариата; оно было далеко недостаточно для того, чтобы заставить пролетарскую Европу поставить крест, махнуть рукой на русскую революцию. И точно также не могло это радио удовлетворить правящие классы, не могло успокоить англо-французскую буржуазию, дав ей уверенность в том, что горы русского пушечного мяса, реки русской крови по-прежнему к ее услугам; и не могло обескуражить австро-германских империалистов, погасив в них надежды на выгодный сепаратный мир, надежды, вспыхнувшие при первом громе русской революции.

Всего этого радио сделать не могло. Ибо, во-первых, кое-как, в виде волнующих туманностей, истина просачивалась в Европу; правящей буржуазии она во всяком случае была доступна, и слухи о каком-то Совете (Soviette), «играющем роль», так или иначе доносились до крайнего запада. А во-вторых, ведь дипломатия для того же и существует, чтобы обманывать тех, к кому она адресуется; об этом также были достаточно осведомлены в Европе, и там не могли, при всем желании, придать достаточно веры милюковским басням.

Путаница понятий, с одной стороны, и брожение умов, с другой — царили в Европе огромные... О том, как растерялась германская пресса, с восторгом телеграфировал в Россию желтый корреспон-

дент желтого «Русского Слова» (тираж которого превысил тогда миллион). «Немецкая печать долго стояла перед загадкой: Милюков и Керенский в одном кабинете. Что сей сон значит: Константинополь или немедленный мир? Если Константинополь, — что делает в министерстве пацифист Керенский; если мир — как же Милюков? Куда девать, наконец, Бьюкенена, которого немцы в первые дни произвели в крестные отцы революции?»...

Телеграф принес весть, что все социалдемократы в рейхстаге единогласно впервые голосовали против военных кредитов. Явный толчок испытал «Vorwärts», который писал 13-го марта: «Мы боремся теперь не с царизмом и его союзниками, а с союзом демократических народов, видящих в Германии последний оплот реакции, и в этом наша слабость... Мы требуем немедленных политических реформ и полной свободы... Нынешняя Россия имеет право знать, с какой Германией она имеет дело: с Германией, которая стремится к завоеваниям, или с Германией, уважающей права других народов»... Но тут же социал-патриотическая газета грозится России вечной враждой в случае ее дальнейших агрессивных намерений и уверяет, что немцы далеко не слабы.

Будущий душитель германского пролетариата, Носке, гадая на трибуне рейхстага о том, что происходит в России, говорил: «Как только в России определится стремление к миру в такой степени, что с ним придется считаться Вр. Правительству, мы потребуем, чтобы сейчас же германское правительство не преминуло предпринять все шаги, необходимые для заключения скорейшего почетного мира с Россией»... Расписывается в своем неведении

и германский канцлер, который в торжественной речи, при обсуждении бюджета, приготовил на оба случая — кулак и пальмовую ветвь: «Через несколько дней или недель можно будет составить представление о событиях в России, — говорил канцлер. — Мы увидим, желает ли русский народ мира или присоединяется к мнению лиц, проповедующих войну до победного конца. Мы будем следить за событиями хладнокровно с готовым для удара кулаком»... Но вместе с тем канцлер делает все возможное, чтобы заманить всколыхнувшуюся, неведомую Россию на вожделенный сепаратный мир. Канцлер зорко высматривает линии меньших сопротивлений и идет по ним очень далеко. «Наши недоброжелатели во всех частях мира уверяют, что Германия намерена уничтожить свободу, только что завоеванную русским народом, что император Вильгельм хочет восстановить власть царя... Торжественно заявляю: это ложь и клевета. Русский народ может не тревожиться относительно наших намерений вмешаться в его дела. Мы не хотим ничего другого, как скорейшего заключения мира с этим народом (возгласы одобрения), на основах одинаково почетных для обеих сторон».

Наша «большая пресса» и наше казенное телеграфное агентство, по-прежнему, служившее Милюкову и шовинизму, — ничего не сообщали о том, что происходит среди германских интернационалистов и в недрах германского пролетариата. Возбуждение, несомненно, там было особенно сильно. И тем более нелепа, тем более трагична была эта неизвестность, это отсутствие сведений о русских событиях. Затаенный трепет братских сердец, надежда на освобождение от военного кошмара, готовность бро-

ситься в решительную схватку за мир — под давлением всего милитаристского блока сменялись разочарованием, отчаянием, сознанием безысходности положения, покорностью судьбе, капитуляцией перед идеей «защиты отечества», перед лицом союзного шовинизма, окрепшего и возросшего за счет национал-либерального переворота в России.

Перед всей Германией были два пути, стояло две возможности — в зависимости от действительного характера русских событий: либо теснее, чем раньше, сплотиться вокруг знамени Вильгельма, жаждавшего разбоя, но звавшего к защите прав и очагов; либо сплотиться вокруг иного знамени — циммервальда и, вместе с русской революцией, поставить в порядок дня мир и братство народов... Эта альтернатива знаменательна. Она простирается на все будущее русской революции: в зависимости от того, удержит ли она в своих руках знамя циммервальда — она победит или погибнет сама, и она послужит фактором реакции или революции в Европе.

* * *

Но растерянность, волнение и беспокойство во вражьих странах — меркли перед тем, что было у «союзников». Ни там, ни здесь не опасались и не рассчитывали на немедленную революцию под влиянием русских событий. И там, и здесь дело шло только о войне и мире. И вот тут была разница.

В Германии дело шло о том, оставит ли русская революция все в прежнем виде или даст огромные выгоды. В странах согласия вопрос ставился иначе: либо русская революция оставит все в прежнем (или почти прежнем) виде, либо она нанесет союз-

ному делу колоссальный урон, причинит непоправимые потери. Волноваться из-за выигрыша и обмануться в нем — это, конечно, не то, что иметь в перспективе утрату своего «кровного», «жизненно-необходимого» достояния.

И союзная печать, с первых же дней, не взирая на успокоительное радио, забила неистовую тревогу. Особенно рвала и метала в «патриотическом» волнении, билась в смертельной тревоге «вся Франция», где социалистическое большинство только что «заклеймило» трех своих собратьев за их поездку в Циммервальд... Слухи о каком-то «Совете», который заражен пацифизмом и который мешает все карты, — эти слухи не давали покоя. Уже 10 марта в русских газетах появилась телеграмма из Парижа: там передают, будто бы петербургский Совет Раб. и Солд. Деп. высказывается против войны; «эти слухи заставили откликнуться парижские газеты, которые, конечно, отказываются верить, чтобы русский пролетариат высказался против борьбы с кайзером и его приспешниками».

Однако, можно не «верить», но необходимо действовать. Официальная «дипломатия», с Милюковым, конечно, должна идти своим чередом. Но ведь ясно, что Милюков, горя желанием вступить равноправным членом в «союзную семью», может сильно прикрашивать истину. А затем — дипломатия с Милюковым, это дело полезное для втирания очков своим поднадзорным и подцензурным «великим демократиям», но это явно негодное оружие против этого «Совета»... Необходимо прежде всего как следует выяснить обстоятельства, а затем — обсудить, что делать.

* * *

Вот тут манифест ко всем народам и вносил необходимую ясность. Он не оставил сомнений в позиции Совета; позиция была именно та, какую только что «заклеймило» французское социалистическое большинство. Если при таких условиях Совет действительно представляет силу, то положение создается довольно серьезное. В рядах социалистов, а тем более в недрах пролетариата возможно пагубное замешательство, возможна еще невиданная встряска. Манифест действительно властной организации, об'единяющей сотни тысяч рабочих и солдат, может иметь роковые последствия. Попросту — он может достигнуть цели.

Поэтому, немедленно, впредь до выяснения дальнейших обстоятельств, необходимо принять меры — при содействии верного Милюкова. Надо, прежде всего, чтобы ясность была внесена только в головы правителей, но никак не народов. Выразив Милюкову благодарность за удачное изложение событий от 3-го марта, надо прежде всего скрыть от народов события в России вообще, а манифест в частности.

Верный Милюков с своей стороны уже старался с первых дней. Приехавшие эмигранты сообщали, что во всей Европе ныне совершенно нет русских газет. Все, что известно о революции, известно из официальных сообщений... Мартов телеграфно умолял добиться свободы сношений русских социалистов с их заграничными представителями. Совет уже был об'явлен возможным очагом заразы, и весь империалистский интернационал поспешил прежде всего учинить заговор молчания.

«Рабочая Газета» меньшевиков писала, что если во время пожара соседние здания загораются сами

от раскаленной атмосферы, то тем более надо ожидать пожара от такой головни, как манифест 14 марта. Поэтому, естественно, головню надо было на лету притушить и затоптать. С манифестом случилось то, что было неизбежно при таких условиях: от него цензура оставила одни обрывки, о «невинности» которых можно судить по следующему обстоятельству. Телеграмма, полученная у нас 18 марта, гласила: «Humanité» воздерживается от оценки обращения Совета к пролетариату всего мира вследствие некоторого сокращения текста французской цензурой. Другие же газеты, «Evenement» и «Victoire» находят, что Совет отныне порвал с пацифизмом»... Даже наше высоко-корректное агентство сочло нужным прибавить: «вывод несколько неожиданный, быть может, об'ясняемый вышеупомянутыми сокращениями».

Цензуры было, впрочем недостаточно: по случаю русской свободы и равноправия в эти дни в Париже была закрыта газета русских интернационалистов «Начало», существовавшая кое-как два года... Но во всяком случае повязка на глаза «великих демократий» это недостаточное средство. Надо изыскивать другие... Пока придумали вот что: уже числа 9-го или 10-го французская парламентская социалистическая фракция избрала трех делегатов для поездки в Петербург — для информации и соответствующего «товарищеского» воздействия. Это были три махровых «патриота», которых мы, в Совете, никак не могли принять за истинных представителей французского пролетариата и могли считать только фактическими агентами правящей Франции. А через несколько дней появилось сообщение, что незванные гости едут сначала в Англию, где к ним при-

соединятся несколько английских деятелей рабочего движения, членов парламента. Физиономия этих деятелей была еще более недвусмысленна. Наша буржуазная пресса неловко проговаривалась, что английские делегаты «все без исключения являются сторонниками Ллойд-Джорджа и его политики; самая же делегация, которой придается большое значение, будет полуофициальной». Все это было верно, и все это мы в Совете знали... Потому то, частью посмеиваясь, частью негодуя, — мы не готовили этой симпатичной делегации особо торжественной встречи, и готовы были лишь обеспечить ее миссии заслуженный успех.

В ожидании этого успеха прекрасная Франция и гордая Англия, конечно, не могли успокоиться. Несмотря на дипломатию российского телеграфного агентства, до нас все же долетали истинные «настроения» правящих и услужающих союзных сфер. В британском парламенте уже не стеснялись с трибуны (Бонар-Лоу) выражать сочувствие Николаю Романову. Петербургский представитель Англии, г. Бьюкенен, дав волю злобе, забыв о дипломатии, уже открыто именовал носителей советских взглядов германскими агентами, «которые не переводятся и в новом строе, сея раздор между союзниками»...

Но Франция все же шла впереди: новый премьер, г. Рибо, в укор революции, с таким страшилищем, как Совет, не постеснялся вздыхать в палате депутатов о низложенном царе, который «был и останется другом Франции». Если такую речь назвать «дипломатической», то что же должны были гласить «настоящие слова»?... Настоящие слова уже твердили газеты. Они спрашивали, когда же, наконец, Временное Правительство разгонит штыками эти бан-

ды рабочих и солдат, заседающих в Таврическом дворце и претендующих на «роль» в государстве? Когда будет положен конец анархии, пацифизму, германофильству и всему этому неизмеримому ущербу Франции, всегда помогавшей, так много ссудившей?..

«Государственным» элементам в России приходилось принимать меры. По крайней мере, приходилось пытаться. Приходилось развертывать борьбу по всему фронту. К этому обязывал весь «контекст обстоятельств», внутренних и внешних.

Для руководящего советского ядра весь этот «контекст» также был кристально ясен. Борьбу приходилось вести с силами международного капитала — вести на чрезвычайно скользкой почве, почти не подвергаясь лобовым атакам, но заведомо подставляя себя и свои принципы под ушаты грязи, лжи, клеветы, инсинуаций, интриг и всего арсенала того отвратительного оружия, какое свойственно употреблять честным и просвещенным авторитетам дикой мещанско-обывательской толпы... Ведь в ближайшем весь русский циммервальд превратится в агентов германского штаба, в изменников отечеству, в безумных честолюбцев с подозрительным прошлым. Ну, что ж! Не это заставит нас сложить оружие.

Складывать оружие вообще не приходится. Буржуазии служат деловые люди, которые не дремлют. Мобилизация противо-советских, враждебных демократии сил, по всему лицу земли русской, по всей Европе, — идет на всех парах. Надо следовать их примеру, чтобы не было поздно.

* * *

К средним числам марта Исп. Комитет уже представлял собой коллегию человек в сорок, если не больше. Взамен временно вступивших (1-го марта) девяти солдатских представителей, солдатская секция избрала постоянных — что-то около двадцати человек. Кроме того, девять новых представителей избрала рабочая секция... Последние, однако, почему-то не вступали в Исп. Комитет, не вступали очень долго, около месяца. Но «солдаты» вступили немедленно. Затем несколько человек, двоетрое, прибавилось от «совета офицерских делегатов», — я о них уже упоминал. Наконец, помимо всевозможных партийных представителей, была как будто представлена особо солдатская Исп. Комиссия.

Состав советского центрального органа, как видим, был уже достаточно громоздок, расплывчат и текуч. Представители партий и других организаций нередко заменяли друг друга, уезжая в командировки, уходя в партийную работу и по другим причинам. Знать всех членов Исп. Комитета уже не было возможности. По крайней мере, я — тугой на имена — уже в это время не знал фамилий, вероятно, доброй трети товарищей по Исп. Комитету; и сейчас могу назвать всего нескольких человек. Но и то сказать: все эти новые члены давали слишком мало поводов выделить их индивидуальность и большею частью сливались в единую сплошную массу.

Около того же времени у нас вошел в силу обычай — довольно рациональный и вытекающий из обстоятельств, если бы им не злоупотреблять: Исп. Ком. приглашал в свою среду вновь прибывающих товарищей, имеющих явные и особые заслуги перед движением. Именно на этих основаниях попадали в Исп. Ком. многие наши именитые эмигранты или ссыль-

ные (если их не делегировали партийные организации). Этим товарищам предоставлялся совещательный голос...

Было бы здесь, быть может, более всего уместно руководствоваться индивидуальными свойствами приглашаемых, их революционным стажем и заслугами. Но это было довольно суб'ективно, а при начавшейся партийной борьбе это повлекло бы за собой довольно крупные недоразумения и трения. Поэтому приглашали больше по категориям: так были кооптированы бывшие думские фракции, членов которых набралось довольно много.

Но это повело к разводнению Исп. Ком. людьми, присутствие которых не имело никакого значения... Вообще в Исп. Ком. ежедневно мелькали все новые и новые лица. Они уже не привлекали ничьего внимания, и никто не спрашивал, откуда они явились, как их зовут, и к какой принадлежат они партии. Про то знал один секретариат, да мандатная комиссия...

Понятно, что при всех этих условиях Исп. Ком. не мог сохранить своей прежней физиономии. Среди наводнившей его военщины было, правда, несколько человек левых партийных людей — интернационалистов. Но в большинстве своем эти солдатские и офицерские делегаты представляли собой право-демократическую, или чисто обывательскую, или просто кадетствующую массу. Частью это были люди либеральных профессий и взглядов, наскоро нацепивших на себя какой-нибудь социалистический ярлык, необходимый в советской демократической организации; частью же это были действительно солдаты, выдвинутые солдатскими органами в соответствии с господствовавшими в них тогда военно-победными

настроениями. В большинстве своем эти люди сгрудились вокруг эсеровского ядра и действовали вкупе и влюбе с более правыми советскими «народниками», н.-с-ами и трудовиками, — совершенно изолировав левого циммервальдца Александровича, избранного рабочими голосами на первом общем собрании Совета в первую ночь революции. Но иные назывались и меньшевиками-оборонцами или «сознавались» в том, что они сторонники плехановского «Единства» (на деле это были кадеты). Все эти названия не делали существенной разницы.

У меня было для всех их одно название: мамелюки... Но — повторяю — у них еще не было ни малейшего Наполеона. Они были слабо организованы. По небольшим вопросам легко колебались и распылялись. И небольшое ударное ядро, при надлежащей сплоченности и энергии, опираясь на левый фланг, а также и на значительное болото, попрежнему еще могло поддерживать свою гегемонию и проводить циммервальдскую линию советской политики.

Болото состояло из некоторых более или менее новых в политике людей, инстинктивно тяготеющих к миру и пролетарскому делу; а кроме того в болоте тогда состояли наши подмоченные «циммервальдцы», во главе с двуединым Чхеидзе-Скобелевым. Последние в скором времени нашли себе постоянное место, примкнув к новому правому большинству; первые же оставались налево и впоследствии участвовали в неудавшейся попытке образовать внефракционную социалдемократическую лево-центровую группу. В числе этих людей я помню, напр., будущего большевистского сановника Енукидзе, а затем — классический флюгер, Элиаву; к этой же

категории принадлежал тогда состоявший где-то «при Исп. Комитете» офицер Тарасов-Родионов, который сообщал мне, как левому, о всевозможных кознях «военной комиссии» и разных военно-правительственных сфер... После октябрьского переворота эти люди, вместе со Стекловым, ушли к большевикам.

Во главе разбухшего правого крыла, казалось бы, могли стать такие высоко-подготовленные оборонцы, как Гвоздев, Богданов, Эрлих. Однако, этого не случилось. Эти «разумные» оборонцы, вероятно, были слишком вдумчивыми и слишком добросовестными социалдемократами для такой миссии. Для этого они, вероятно, слишком определенно чувствовали свою связь с рабочим движением. Они потом также примкнули к правому большинству, нередко внося в его неистовую прямолинейную политику отрезвляющие ноты. Но иного им тогда ничего и не оставалось — при их закоренелом оборончестве... Слиться же с мелкобуржуазной, солдатско-обывательской массой и возглавить ее на всем фронте начавшейся классовой борьбы — эти люди не могли и не хотели. По крайней мере, об'ективные обстоятельства, — еще только что завязавшийся узел, — не заставили их проявить в этом деле инициативу... Впрочем, эти люди и не обладали яркими данными вождей: речь могла идти только о временном выполнении таких функций, при отсутствии незыблемых авторитетов и признанных, зафиксированных лидеров.

При отсутствии же таковых — над «мамелюками» кто палку взял, тот и был капрал. Довольно энергично — но в мягких формах — действовал Л. М. Брамсон. Импонировал им своими эполетами и своей хо-

рошей культурой другой трудовик, Станкевич. Не часто появлялся, но пользовался своим старым эсеровским авторитетом — Зензинов. Но, пожалуй, больше других предводительствовал ими седовласый патриарх, как я говорил, «декабрист» — Н. В. Чайковский. Большое исторически-революционное имя не мешало этому человеку не иметь ничего общего с революционным и социалистическим движением и быть самым законченным, либерально настроенным обывателем во всех больших и малых вопросах политики. Его роль, в тот период, ограничилась этим случайным предводительством над «мамелюками». Но в скором времени эта роль сконфузила и его партийных товарищей, и самих «мамелюков».

Предводительствовать же ими для некоторых типов деятелей не представляло больших трудностей. Для этого требовалось, главным образом, говорить что-нибудь повышенным тоном об «интересах родины», о «неимеющих отечества» и «не помнящих родства», о «безответственности», о «демагогии», об «анархии»... Впоследствии школа революции дала себя знать, вкусы изощрились, требования повысились. Но пока этого было достаточно.

Из безличной, во всяком случае — одноличной массы этих новых советских деятелей я, при моей недурной памяти, могу вспомнить немногих. Председатель солдатской секции, рыхлый, женообразный инженер Завадье. Молодой красивый актер, бойкий агитатор — Вербо. Сумбурный, солидный и говорливый доктор Менциховский. Большой «авторитет» по солдатским делам, плехановец-адвокат Бинасик. «Настоящий» солдат Кудрявцев с залихватскими усами, с огромным количеством «непонятных» слов и с ин-

тимными разговорами: в этих разговорах он делился мечтами о своей, оставленной в каком-то городишке лавочке, которую теперь, после военной службы, он развернет хоть куда; он же передавал мне, как редактору «Новой Жизни», свои стихотворные пасторали; впрочем, он скоро исчез, очевидно, вернувшись к своей «лавочке».

Были еще несколько человек, лица которых я хорошо помню, но имени припомнить не могу...

Все эти «военные» люди, в соединении с партийными «народническими» представителями и сравнительно немногими, но зато высокого качества социал-демократами, в недалеком будущем составили прочное правое советское большинство, а ныне представляли собой разрыхленную почву, чающую и жаждующую сеятелей и хозяев. Впрочем, из этой серой массы, при победе большевизма, также не мало ушло к левым эсерам, то-есть к большевикам же. Это у них стоило недорого...

Уже несколько дней появился в Исп. Комитете небольшой, привлекательного вида человек, с классической головой семита, с черной «ассирийской» бородкой, с внимательным взглядом исподлобья, с саркастической улыбкой и кошачьими движениями. Он довольно часто выступал, обнаруживая опыт и деловитость, хотя и не произвел своим появлением никакой сенсации. Я у кого-то спросил, наконец, кто этот человек. Спрошенный сделал большие глаза:

— Как, вы не знаете? Это — Либер, знаменитый бундовец.

Либер играл в дальнейшем большую, хотя и не самостоятельную роль. Без яркой индивидуальности, но с большим политическим прошлым, с солидной школой, с выдающимися ораторскими способностями

— он скоро стал, если не вдохновителем, то одной из главнейших опор нового советского большинства. Во многих случаях, в делах, происходивших на большой арене, во всенародных собраниях — Либер был незаменим для этого большинства. И можно было сплошь и рядом чувствовать на себе его темперамент, видеть его сухощавую фигуру, подскакивающую на трибуне с двумя поднятыми пальцами, и слышать его надрывающийся голос, выводящий на высоких нотах бурные филиппики... Я чуть было не оговорился, сказав: направо и налево. Нет, только налево... Либер мог бы быть гораздо более интересным политиком, если бы не страдал одной навязчивой идеей. Он, походя, хищно высматривал во всех случаях жизни, что бы ему такое сделать, сказать, придумать — на гибель, во вред, в пику большевикам... Когда большевики стали властью, Либер не выдержал, оторвался от всех своих ближайших соратников и покатился далеко направо.

У большевиков в это время, кроме Каменева, появился в Исп. Комитете Сталин. Этот деятель — одна из центральнейших фигур большевистской партии и, стало быть, одна из нескольких единиц, державших (держащих до сей минуты) в своих руках судьбы революции и государства. Почему это так, сказать не берусь: «влияния» среди высоких, далеких от народа, чуждых гласности, безответственных сфер — так прихотливы! Но во всяком случае по поводу роли Сталина приходится недоумевать. Большевистская партия, при низком уровне ее «офицерского корпуса», в массе невежественного и случайного, обладает целым рядом крупнейших фигур и достойных вождей среди «генералитета». Сталин же, за время своей скромной деятельности в Исп. Коми-

тете, производил — не на одного меня — впечатление серого пятна, иногда маячившего тускло и бесследно. Больше о нем, собственно, нечего сказать.

* * *

Деятельность Исп. Комитета к этому времени уже приобрела огромный размах. Целый ряд образованных при нем учреждений уже работал полным ходом. Учреждения эти обслуживались огромным числом энергичных партийных социалистических работников — своего рода советским «третьим элементом», и уже раскинули деятельность широко по России. В частности, Исп. Комитет широко рассылал своих эмиссаров — по неблагополучным местам в особенности, но и для пропаганды и организации масс вообще. Много эмиссаров выехало в действующую армию, на необ'ятный фронт; но посылались они и в самую глубь России — до «киргизской орды» включительно.

Была упорядочена секретарская часть. За протоколами отныне неотлучно и кропотливо сидел прибывший эмигрант Перазич, превосходный переводчик, известный мне по «Летописи», и необыкновенно скромный человек, голоса которого никто никогда не слышал. Затем его сменил Суриц, который вел протоколы уже до октября и говорил мне, что протоколы Исполнительного Комитета, в полном составе и порядке, сданы ныне в Академию Наук. Однако, никто никогда не читал, не утверждал и не опротестовывал этих протоколов. Насколько они были полны и точны, я не знаю.

Работала правильным ходом и разросшаяся канцелярия Исп. Комитета; она помещалась в пер-

воначальных резиденциях Исп. Комитета и Совета, в маленькой комнате 13-й, в большой 11-й и в огромной 12-й, которая в эти дни была занята ассортиментом траурной процессии: знаменами, стягами, плакатами, венками.

Все это ждало похорон жертв революции. Похороны назначили было на 16-е, но снова пришлось отложить их, снова по техническим причинам. Теперь они были окончательно назначены на 23-го марта.

* * *

Как и следовало ожидать, буржуазная пресса радостно набросилась на комментарии Чхеидзе к манифесту 14-го марта... «Речь» жалела, зачем «сильные и яркие» слова Чхеидзе не включены в самый манифест. Тогда никто бы не подумал, «будто центр воззвания есть предложение, обращенное к партиям всех стран, свергнуть свои правительства, которым приписываются захватные стремления уже потому, что эти правительства буржуазные». «Комментарий Н. С. Чхеидзе, — продолжала «Речь» свою передовицу от 15-го марта, — исходит из совершенно правильной мысли, что теперь борьба ведется не между социализмом и буржуазией, а между победившей демократией и режимом бронированного кулака. Эта мысль, конечно, разделяется всей демократией, более того, она разделяется всей российской нацией. И воззвание, начавшееся со столь типичных пацифистских тонов, в сущности, развертывается в идеологию, общую нам со всеми нашими союзниками»...

Не правда ли, хорошо? Лучше во всяком случае не скажешь. Комментарии к этим комментариям только испортят впечатление, только ослабят пред-

ставление о том, что Чхеидзе сделал с манифестом... На фоне авторитетных комментариев Чхеидзе и стоустых дополнений к ним со стороны печати, взявшейся вплотную за дело, — все офицерство в казармах, все мамелюки в советских сферах, все оборончество на всех углах — разведут в этот критический момент такую мутную волну, которая может отбросить революцию далеко от правильного русла.

Ясно: ждать нельзя ни минуты. Надо принимать меры. Да и вообще, независимо от остроты момента, независимо от случайных выступлений Чхеидзе — надо принимать меры. Теперь, после манифеста, после того, как советская «военная позиция» всенародно была об'явлена, а всенародные обязательства *были даны — теперь, пора развертывать* программу советской внешней политики. Необходимо в Исп. Комитете назначить заседание по вопросу о войне и об очередных шагах Совета.

Но сначала было необходимо столковаться о сплоченных выступлениях внутри всего циммервальдского крыла. Надо было прежде всего организовать защиту позиций только что принятого манифеста, то-есть позиций большинства — от незаконных искажений и уклонений вправо. А затем надо было циммервальдскому крылу разработать дальнейшие планы. Все это упиралось в создание «циммервальдского блока», о котором приватно шли разговоры в последние дни.

Сейчас, опираясь на выступление Чхеидзе, не стоило большого труда мобилизовать с двух слов левые силы Исп. Комитета. О том же деятельно заботился Ю. Ларин, утвердившийся, вместе с Урицким, в редакционной комнате «Известий» (№10) и

уже хлопотавший над организацией циммервальдского журнальчика «Интернационал»... В какой-то из этих дней приехала еще А. М. Коллонтай, старая меньшевичка, но ныне уже большевистская знаменитость, даровитая женщина с большим политическим темпераментом и неустойчивым интеллектом.

* * *

Заседание «циммервальдского» блока состоялось утром 16-го или 17-го марта. Я уверен, что это было первое «фракционное» заседание Исп. Комитета, то-есть первая попытка предварительного сговора значительной группы его членов относительно советского курса... Собраться на совещание новым «заговорщикам» было, конечно, негде. Пришлось остановиться на укромном уголке «белого зала» и устроить совещание в той самой ложе журналистов, где происходило первое заседание Исп. Комитета ночью 28 февраля.

Собралось человек двенадцать: большевики — Каменев, Залуцкий, Коллонтай (правда, еще не получившая голоса в Исп. Комитете); меньшевики — Гриневич, Панков, Соколовский; с.-р. Александрович, дикий — я, и не помню, кто еще.

Совещание было первым и последним, непродолжительным и не особенно плодотворным. Правда, все обнаружили полную готовность «координировать действия» и вступить в соответствующую организационную связь; никто не сомневался, что это крайне важно, и никто не видел к тому внутренних препятствий. Но совещание споткнулось о внешние препятствия — о неполномочность партийного представительства участников. Это не ка-

салось большевиков, но меньшевики и с.-р. — не только не представляли своих партий: они не представляли даже и партийных фракций Исп. Ком. И у меньшевиков, и у с.-р. было в Исп. Ком. не мало оборонцев, которые как раз и представляли там центральные комитеты своих партий (меньшевиков — Богданов, с.-р.-ов — Зензинов). — Могут ли при таких условиях решения «циммервальдского блока» быть обязательны для участников?

Сердитый Александрович заявил за себя, что могут, что ему до своих оборонцев не только нет дела, но что он ручается за с.-р.-ский партийный раскол в самом близком будущем. Меньшевики про себя этого сказать не могли. Их внутри-партийные отношения были совершенно неопределенны. При таких условиях практические решения о «циммервальдском блоке» были признаны преждевременными. Меньшевики к следующему заседанию взялись «урегулировать» вопрос. Но ничего не «урегулировали». Внутри меньшевистской партии вопрос о взаимоотношениях оборонцев и интернационалистов принял затяжной характер, и вопрос о формальном «циммервальдском блоке» в связи с этим заглох.

Но наше совещание все же определенно установило, что фактически все его участники будут действовать с максимумом возможной солидарности; и с максимумом энергии возьмутся за организацию мирной кампании на почве манифеста — в пределах Исп. Комитета. Участники совещания в дальнейшие дни действительно выступали солидарно. Партийная дисциплина фактически не помешала в этом меньшевикам.

* * *

Мы с Лариным тут же, когда остальные разошлись, стали писать резолюцию о мирных делах — для Исп. Комитета. Ларин предполагал углубиться в существо дела и написать сложную резолюцию об очередных задачах и конкретных шагах Совета в деле мира. Я же считал нужным предложить Исп. Комитету лишь проект постановления о начале мирной кампании — во исполнение данных обязательств. Разработать программу дальнейших мероприятий было бы уже дальнейшим шагом. Мы написали несколько строк в том духе, как предлагал я.

На другой день я потребовал постановки в порядок дня вопроса о войне и мире. Помню, я не умел придумать «заглавия» для своего вопроса и неуклюже назвал его: «об упорядочении наших военных лозунгов»... Я сердито говорил Чхеидзе, что именно его незаконные комментарии к манифесту сдужат поводом к постановке вопроса в Исп. Комитете. Чхеидзе слушал и не возражал... Однако, ни в этот день, ни в следующий вопрос не был поставлен на повестку...

Вопрос о войне и мире был, конечно, первым и важнейшим внутренним фронтом революции.

* * *

Днем, 17-го числа, в Исп. Комитет в весьма боевом настроении явился В. Г. Громан в сопровождении двух-трех советских экономистов. Он требовал, чтобы Исп. Ком. немедленно выслушал его доклад по продовольственному делу. Но кворум был ничтожен, а «скучный» и «специальный» продовольственный вопрос готов был разогнать и наличных членов, полагавших, что в их обязанность не входит зани-

маться делом, в котором они недостаточно компетентны. Во всяком случае это был предлог погулять по кулуарам.

Громан, однако, требовал резолюции Исп. Комитета, а не беседы с несколькими его членами. Я, в качестве «экономиста», выбивался из сил, чтобы составить какой-нибудь кворум, и 12—15 жертв в конце-концов остались слушать Громана... Лидер советских экономистов пришел жаловаться на Шингарева. Министр земледелия, поставленный революцией, идет по стопам Бобринского и Риттиха, своих достойных предшественников, ставленников Распутина. Министр земледелия собирается снова повысить твердые цены на хлеб.

Громан утверждал, что результатом будет полное расстройство продовольственного дела и огромная опасность для революции. Доводы Громана, хорошо знакомые и раньше, были достаточно убедительны. Но вопрос в том, что же делать? Какими же способами из'ять из деревни хлебные запасы для голодающих городов?

Согласно планам того же Громана, уже дня два тому назад было опубликовано о создании общегосударственного продовольственного комитета. И до его создания, соединенная продовольственная комиссия Совета и думско-министерских сфер на всех парах разрабатывала и уже почти закончила проект хлебной монополии. Проект этот через несколько дней, 21-го марта, уже стал законом. В основу его были положены именно требования Громана, изложенные им в Совете еще 6-го марта.

Правда, монополия была об'явлена правительством, как временная мера, с чем не могли согласиться советские представители. Но это очень мало

меняло дело. Все социальное содержание этой меры во всяком случае было продиктовано слева и принято справа. Весь хлеб об'являлся собственностью государства и подлежал реквизиции по телеграфу — за вычетом определенных продовольственных, кормовых и посевных норм. Хозяева превращались в ответственных хранителей хлеба, подконтрольных вновь учреждаемым местным продовольственным комитетам. Не взирая на самые внушительные «представления» заседавшего в Москве торгово-промышленного с'езда, торговый аппарат в деле хлебоснабжения окончательно сводился к нулю.

Но — положение о хлебной монополии оставляло открытым чрезвычайной важности пункт: об уровне цен. Вот тут советские представители не могли столковаться с буржуазными сферами. Стремительность Громана и его вера в победу государственной организации над миллионами противодействующих собственников — столкнулась с нерешительностью Шингарева и с классовыми давлениями на него. Произошел конфликт. Громан рвал и метал в своем докладе Исп. Комитету.

Мы выразили полную готовность поддержать наше советское представительство и в таком деле, как продовольственное, — пойти на самые решительные меры «давления». Но вопрос опять-таки в том, что положительного предлагает Громан?.. Громан предлагал теорию: принцип понижающейся скалы цен. Но наши экономисты не имели готовых конкретных ставок. А кроме того... наличные товарищи Громана намекали на то, что в их среде его схема не считается бесспорной.

Это делало решительное выступление перед правительством несколько преждевременным и вообще

обязывало к осторожности. Исп. Комитет постановил: подтвердить перед лицом правительства полномочия своих представителей в продовольственных органах и предложить советской продовольственной комиссии разработать конкретную схему цен... Насколько я знаю, этого Громан не выполнил. Но и Шингарев не поднял твердых цен. Это сделал впоследствии премьер-Керенский, когда окончательно дал волю своим диктаторским замашкам.

Беседа с продовольственниками не ограничилась *сделанным* постановлением. Экономисты (правого демократического лагеря: в числе их *я помню* присяжного экономиста «Дня») долго еще развивали ту мысль, что продовольственный вопрос вообще не может быть решен изолированно. С полным убеждением и знанием дела они доказывали, что в конечном счете все меры будут бессильны, если дело хлебоснабжения не ввести в единую систему государственного снабжения вообще. Так происходит в воюющих западных государствах. Только так возможно и у нас. Регулирование всего товарообмена, а стало быть и регулирование промышленности, регулирование государством всей народно- хозяйственной жизни — есть единственный надежный путь борьбы с продовольственной разрухой. И создание плана такого регулирования есть насущнейшая проблема дня.

Буржуазные правящие сферы в этом направлении ничего не делают и не сделают: это слишком тесно связано с интересами частного капитала. Идея Громана о создании Комитета Организации Нар. Хозяйства и Труда была естественно встречена ледяным равнодушием и фактическим саботажем. Выработку такого плана должен взять на себя Совет.

Ну, что ж! Прекрасно... Пусть экономисты создадут для этого необходимый орган и немедленно пустят дело в ход... Дело, действительно, было пущено в ход. Это был второй из важнейших внутренних фронтов революции...

* * *

Кажется, в тот же самый день в Исп. Комитет явился Терещенко. Может быть, я ошибаюсь в дне, но в остальном не ошибаюсь. Министр финансов был *очень оживлен и очарователен... Вообще это был* очень бойкий, словоохотливый молодой человек, на мой взгляд, с незаурядными способностями и отлично развитым классовым самосознанием. Первые сообщения о приглашении этого господина в первый революционный кабинет вызвали, конечно, всеобщее удивление. Даже репортеры долго не могли ничего сообщить о нем, кроме того, что его состояние равно примерно 80 миллионам и что он не только любитель, но и знаток театра. Было для всех очевидно, что это не более как parvenu и продукт закулисных комбинаций, быть может, внутренних трений среди десятка другого наших крупнейших синдикатчиков.

Но оказалось, что Терещенко способен вполне оправдать себя и как индивидуальность, как ловкий, достаточно образованный и «деловой» администратор, политик, дипломат. Терещенко — дельный министр, говаривал долгое время Церетели, пока не разочаровался и не стал открыто отмахиваться от своего бывшего приятеля. Но отмахиваться от него пришлось отнюдь не потому, что Терещенко оказался не «дельным» и не ловким. Наоборот — именно

потому, что он был очень дельным и очень ловким, и вкупе с пославшими его смастерил отличную сеть для прямо-шагающего Церетели.

Заседания Исп. Комитета Терещенко не застал. Но тем лучше: под далекие звуки «марсельезы», под «ура» солдат, пришедших с обычной манифестацией, — он переходил от группы к группе, знакомился, рассыпался в комплиментах, можно сказать, «братался» с представителями советской демократии... Он рассказывал, что в его министерстве уже началась работа по перестройке нашего государственного бюджета «на демократических началах». По его словам, им уже пущены в ход комиссии по пересмотру нашей налоговой системы — в смысле усиления подоходного, промыслового, наследственного и всякого прямого обложения за счет косвенного...

Терещенко просил избрать восемь человек советских представителей к нему в министерство для участия в этих работах. Собственно, он затем и приехал в Исп. Комитет. В частности, он приглашал меня. «По прямым налогам, особенно, по земельному», — прибавлял Терещенко, демонстрируя, что он знает мою книгу о «земельной ренте и принципах земельного обложения»...

Министра обещали удовлетворить в его настоятельной нужде иметь советских сотрудников, и он отбыл из Таврического дворца, довольный завязанными сношениями. В тот же вечер Терещенко, вместе со всем советом министров, уехал в Ставку.

В своем месте я упоминал, что из советского «проникновения» в центральные правительственные органы ничего особенно существенного и планомерного не вышло. Однако, не надо преуменьшать того, что вышло. Советские делегации уже хорошо,

с немалой пользой работали в ряде министерств, — особенно в «просвещении», и «земледелии», а затем и в других. Как раз 17-го числа была утверждена делегация в отдел труда министерства торговли и промышленности, а затем в министерство финансов. Через некоторое время советские представители начали работу в особом комитете по Учр. Собранию и в разных других правительственных и муниципальных учреждениях. «Проникновение» так или иначе совершилось, и повсюду шло «давление», «контроль», перестройка, разрушение, созидание, Кипела жизнь.

* * *

Вечером три деятеля «циммервальдского блока», Ларин, Урицкий и я, вместе направлялись к выходу из полупустынного, полутемного Таврического дворца.

— Завтра приезжает Церетели, — сказал Урицкий, — надо бы не забыть послать рабочие делегации и какой-нибудь полк с музыкой для встречи.

В субботу, 18-го, — действительно приезжал — Церетели с целой группой ссыльных «втородумцев» и других ссыльных из Сибири. Надо было действительно организовать встречу; но я был против особенно громоздких встреч, когда в них участовали не добровольцы, а по обязанности, «по наряду», — особенно крупные воинские части. Полк — ведь это много тысяч человек, которые загромоздят вокзал и площадь. Совершенно достаточно, если кроме делегаций, пойдет с музыкой очень небольшая воинская часть. К тому же эти встречи стали теперь очень часты. Только что бесплодно ждали «бабуш-

ку» Брешковскую, которая не приехала... Я высказал все это. Но Урицкий как будто несколько обиделся за выдающегося деятеля социалдемократии.

— Ну, знаете, сказал он, — Церетели приезжают не каждый день!..

Это было справедливо. Это оставалось справедливым и десять месяцев спустя, когда в руках Урицкого была полицейская власть в столице, а Церетели, во избежание тюрьмы, старался не ночевать дома.

* * *

В Исп. Комитет начался наплыв просителей. Просители были всевозможного звания люди, и шли к нам по всяким, иногда самым неподходящим и фантастическим делам. Шли, как и подобало, рабочие, солдаты, крестьяне. Но начинал тяготеть и обыватель... Это, конечно, свидетельствовало о популярности и авторитете Совета, у которого искали помощи и защиты во всевозможных случаях жизни, к которому обращались, как к власти. Но это совершенно не было в интересах и во всяком случае не входило в планы самого Совета.

Иметь политическую силу — это отвечало его видам. Но Совет не был и не собирался скоро стать государственной властью, и сейчас меньше всего стремился брать на себя правительственные функции, «органическую» работу в государстве. Впоследствии мы увидим, что советский «аппарат управления» стал непроизвольно, автоматически, против воли Совета — вытеснять официальную государственную машину, работавшую все более и более холостым ходом. Тогда уже ничего поделать с этим стало нельзя: приходилось примириться и брать на себя отдельные функции «управления», создавая и

поддерживая в то же время фикцию, что это «управляет» Мариинский дворец. Но пока дело далеко еще не дошло до таких пределов. Пока от государственных «органических» дел можно было еще категорически отказываться. И мы отказывались, направляя по другим адресам.

Это, однако, не уменьшало наплыва «просителей». В коридоре, выходя из преддверия Исп. Комитета, всегда приходилось преодолевать толпу посторонних, пришедших по делам людей — солдатских и рабочих делегатов, офицеров, всякого рода предпринимателей, учащихся, мужичков с котомками и бумагами в руках, чиновников, плачущих женщин. Постоянными гостями в последнее время стали деревенские ходоки. Приходили с прошениями, с договорами, с наказами — все насчет земли. «Земля» становилась на очередь. Надо было вплотную думать на этот счет.

В Исп. Комитете — сенсация. Передают друг другу какую-то бумагу. На ней стоит штемпель Исп. Комитета и подпись одного из членов — Александровича... Какое-то крестьянское «общество» из медвежьего угла просило у Совета Р. и С. Д. разрешения запахать помещичий участок. Ходока принял встреченный им, во-первых, левый, а во-вторых, с.-р., Александрович и — от имени Исп. Комитета — охотно разрешил... Не знаю, почему бумага вернулась, кажется, по инициативе канцелярии.

Дело расследовали, виновника незаконных, анархистских и самоуправных действий притянули к ответу и постановили то, что должно было разуметься и без постановления: члены Исп. Ком., без особых полномочий, не должны действовать именем всего учреждения.

Но насчет аграрных дел все же приходилось думать вплотную. Деревня зашевелилась основательно. Надо спешить «разрешать» или запрещать, но так или иначе, дело двинуть и «урегулировать». Уже появились в разных концах признаки того, что в противном случае деревня «разрешит» себе сама поступать как знает, хотя бы незаконно, анархистски и самоуправно.

Я раздумывал уже давно, что в экстренном порядке, до Учр. Собрания, на ближайший случай, подобно 8-ми часовому рабочему дню, может и должна революция дать деревне? Если это — «земля» немедленно, без надлежащей подготовки грандиозной реформы, то — помимо политических трудностей — это означает сепаратный захват, неурядицу, быть может, поножовщину. Но не дать немедленных гарантий будущей реформы — невозможно... Я, однако, ничего не придумал на этот счет.

И был рад случаю поговорить с Пешехоновым, снова забежавшим в Таврический дворец. Увидев редкого гостя в канцелярии, я просил уделить мне время для основательного допроса, и мы — против советского обыкновения — прочно уселись за стол... Пешехонов, конечно, уже обдумал это дело и имел готовый практический план. Он подробно изложил мне схему «земельных комитетов» для урегулирования земельных отношений на местах. Он изложил именно то, что в ближайшем будущем было действительно с успехом осуществлено по всей России. Практическая, здоровая жилка Пешехонова попала в настоящую точку. Он, правда, еще не предусматривал всего об'ема функций земельных комитетов, какие потребовались в дальнейшем — в соответствии с размахом движения. Но это было несуще-

ственно: он давал гибкую форму для различного содержания. Комитеты могли быть и гарантией реформы, и гарантией планомерности движения — если бы только реформа не слишком запоздала и не стала иссякать вера в революцию.

Я был крайне заинтересован и обратился к Пешехонову с просьбой скорее опубликовать свой проект:

— Да знаете, негде, — с сомнением отвечал он, — еще нет газеты.

— А «Дело Народа»? — напомнил я, намекая на такую правизну эсеровской газеты, что она была вполне достаточна и для н.-с-ов.

Пешехонов усмехнулся глазами... Однако, его статья с проектом земельных комитетов на этих днях появилась в «Деле Народа».

Аграрная реформа — и не какая-нибудь, а передача земли крестьянству — становилась на очередь. Если ничто иное не могло ее поставить, то ее ставили крестьянские волнения, быть может, единственный красноречивый аргумент для цензовиков. Правительство Львова стало получать соответствующие представления от самых благонамеренных элементов. Так, 15-го марта, именитое московское «общество сельского хозяйства», «осведомившись о начавшихся беспорядках в деревнях», изобразило из себя московское дворянство перед Александром II, и просило правительство «успокоить крестьянство» оповещением о предстоящей реформе сверху, чтобы оно не поспешило произвести ее снизу.

Правительство послушалось, и в заседании 19 марта совет министров постановил: 1) признать срочную подготовку и разработку материалов по земельному вопросу, 2) поручить ее министру земледелия и 3) для означенной цели образовать при ми-

нистре земледелия земельный комитет... Все это должно было служить подготовкой земельной реформы — «заветной мечты многих поколений» крестьянства. Правительство подчеркнуло, что «гибельным путем захвата» земельная реформа проведена быть не может: ее проведет Учр. Собрание. Но указать самые основы реформы, указать основные черты подготовляемого проекта — правительство не пожелало. Взгляд на дело самого правительства оставался народу неизвестным.

Это не было особенно «успокоительно». Вся же дальнейшая аграрная политика буржуазной власти еще менее утоляла и все более питала народное беспокойство...

Вопрос о земле стал третьим фронтом революции.

* * *

Газеты от 17-го и 18 марта принесли ряд любопытных новостей. Поздно вечером, когда часть членов Исп. Комитета разбрелась по своим делам и по своим домам, а часть отправилась на вокзал встречать втородумцев во главе с Церетели, — несколько человек, оставшихся в Исп. Комитете, почив от дел, беседовали об этих новостях. В числе присутствовавших помню Брамсона, Гвоздева, Стеклова, Богданова, — и помню, что под конец, когда беседа стала задевать нас за живое, мы избрали председателя и открыли правильную дискуссию.

Недавно кончилось заседание рабочей секции Совета, где снова трактовался вопрос о положении на заводах. Несмотря на все старания, полного хода работ далеко еще не было. Это очень беспокоило Гвоздева.

Газеты сообщили затем, что комиссия ген. Поливанова по военной реформе отменила, наконец, отдание чести, которой — кроме юнкеров — давно никто не отдавал. Ну, слава Богу! Теперь прекратятся эти непрерывные и нудные недоразумения на всех перекрестках Петербурга — между солдатами, которые правы, и офицерами, которые тоже правы...

Далее, центральный комитет кадетской партии единогласно высказался за республику. Стало быть, и Милюков тоже? И ты, Брут?.. Давно ли, — ровным счетом две недели назад, после победы революции, под вечер 2-го марта, он говорил мне, не умея скрыть раздражение: «мы (!) не сторонники демократической республики»... Сейчас в кадетских и кадетствующих газетах уже появились статьи, «об'ясняющие», что кадеты, собственно говоря, были всегда республиканцами вообще, но — при монархии, конечно, были монархистами и т. д. Беспринципность и легкокрылость солиднейших либеральных политиканов были смешны, но не интересны. Интересно было — какие исполинские успехи делал стихийный ход революции: буржуазия — и с отданием чести, и с республикой, и с тысячью других вещей — решительно не поспевала за «об'ективным» процессом и отставала от него на много дней, равных месяцам.

Мы толковали об этом и перешли еще к одной крупной новости: это было воззвание Вр. Правительства к полякам. В газетах сообщалось, что это воззвание было составлено по инициативе Милюкова. Это могло быть ясно и без сообщений. Воззвание «революционного» правительства целиком воспроизводило другое воззвание к полякам, которое в свое

время восхитило и потрясло Милюкова до потери самообладания (согласно его собственному печатному признанию). Это первое воззвание принадлежало бывшему «главковерху» Н. Н. Романову; оно было обращено к полякам в стратегических целях, во время поражений русских войск и, конечно, было оставлено польской буржуазией, к коей было адресовано, без всякого внимания.

В воззвании Вр. Правительства Польша призывалась к военному союзу с Россией для борьбы с воинствующим германизмом. Польше в согласии с союзниками обещалось за это «создание независимого польского государства, образованного из всех земель, населенных в большинстве польским народом»... Польше попросту предлагалось отвоевать свои территории у Германии и Австрии в соответствии с общей империалистской программой союзников, с отвоеванием попутно для Англии Месопотамии, для Франции Сирии, для обеих их — германских колоний, для России Константинополя и т. д.

Обещало ли, декларировало ли, по крайней мере, Вр. Правительство право на свободное отделение русской Польши? Нет, это предоставлялось Учр. Собранию... Так, собственно, в чем же центр, в чем же «соль», в чем же смысл этого воззвания?.. Смысл только в попытке воздействовать на шовинизм польского обывателя и вовлечь его в невыгодную сделку...

Я не помню, возникли ли у нас какие-либо мелкие разногласия в оценке этого воззвания. В центре нашего внимания стало другое: под воззванием, в числе других, была подпись Керенского. Это было — по крайней мере, — для меня, пожалуй, уже слишком.

Керенский, как известно, с первого же момента совершенно оторвался от демократических организаций и ни разу не появлялся ни в Исп. Комитете, ни в Совете (за исключением вышеописанного выступления в солдатской секции, случившегося не по его вине). Летая из Петербурга в Москву, из Москвы в Финляндию, из Финляндии в Ставку и т. д., вращаясь исключительно в буржуазных сферах и среди своих друзей более чем сомнительного демократизма, — Керенский действовал всецело так, как Бог ему на душу положит или как его инспирируют окружающие. Он продолжал себя считать товарищем председателя Совета и советским ставленником в министры. Трудно представить себе, как мог он при таких условиях не чувствовать себя подотчетным Совету, не апеллировать к нему в своих важнейших актах, не вырабатывать линию своей политики в контакте с его руководителями, не сотрудничать — и в советских, и в министерских делах — с Исп. Комитетом... *Для такого поведения было явно недостаточно общего внутреннего, психологического* не-демократизма или хотя бы властности натуры: для этого нужны были именно импульсы «бонапартика», игнорирующего общественность.

Во всяком случае такое поведение было из рук вон. *Керенский ни о чем не спрашивал Совет, но* Совет отвечал за Керенского. Для советских руководителей такое положение дел, казалось бы, должно было быть нестерпимо. И, действительно, многие советские деятели были глубоко шокированы поведением Керенского и уже несколько дней приватно поговаривали об этом. Но никаких решительных шагов пока не предпринимали.

Все это еще можно было бы кое-как претерпеть,

если бы дело шло только о формальности, если бы Керенский в своих действиях обнаруживал понимание и такт. Но он не обнаруживал ни того, ни другого. Прежде всего, уже самое его самочинство, самое пренебрежение Советом было и бестактностью, и непониманием. Для Совета надо было найти время, как для дела более важного, чем порханье по некоторым иным местам, где результатом были только овации и обывательское поклонение. А затем бестактность и непонимание стали сопутствовать чуть не ежедневно и разным активным выступлениям Керенского.

Подпись под воззванием к полякам не была, к несчастью, исключением. Несколько дней тому назад Керенский ни с того, ни с сего заявил публично о необходимости интернационализировать Константинополь. Вполне понятен «интерес», с которым откликнулась на это иностранная пресса. Но советской демократии, именем которой действовал Керенский в условиях свирепой европейской цензуры, этим наносился серьезный тыловой удар...

Газеты сообщили из Ставки, что «представитель демократии», обращаясь к войскам, пошел значительно дальше других министров, призывавших к стойкости, победе и войне до конца. Керенский сказал, подчеркивая «общую решимость продолжать войну до победы»: «лишь после победы возможно созвать Учр. Собрание»... Это не только удар, — это противоречие со всем тем, чего на глазах Керенского добивался и добился Совет от буржуазии.

И даже в пустяках, как бы делая сознательный вызов демократии, Керенский не хотел проявлять такта. В Ставке — опять-таки, не в пример прочим министрам, — он обратился к ген. Алексееву:

— Позвольте мне, в знак братского приветствия армии, поцеловать вас, как верховного ее представителя, и передать родной армии привет от Гос. Думы!..

Что ни слово — золото! Фактов вообще было слишком достаточно, чтобы быть шокированным и придти в беспокойство каждому советскому деятелю. Перебирая подобные факты, мы в общем сходились в их оценке. Даже Брамсон очень слабо, лишь «по должности», защищал своего бывшего партийного товарища, только что покинувшего «трудовиков» для достойного возглавления с.-р-ов... Но спрашивается, что же делать, какие же принять меры обуздания расходившегося темперамента? -

Я считал такое обуздание вообще безнадежным и отстаивал радикальные меры иного порядка. Не считая Керенского формально представителем Совета и членом его президиума — с тех пор, как он, вопреки советскому постановлению, пошел в министры — я настойчиво предлагал об'явить об этом официально, предварительно попытавшись вызвать Керенского на об'яснения...

Но прежде всего оспаривалась моя «юридическая концепция». Это привело к экскурсиям в область истории, в область минувшего две недели назад, но уже основательно затертого в калейдоскопе исторических событий. Я отстоял свою версию и даже взялся воспроизвести ее письменно, согласно пожеланию присутствовавших. Но относительно Керенского решили только то, что дело о нем не миновать вынести на обсуждение Исп. Комитета. Неприятное было дело...

* * *

На другой день, в воскресенье, 19-го числа, мне надо было утром присутствовать на каком-то солдатском собрании в Таврическом дворце.

На этом собрании, состоявшемся в одном из углов «Белого зала», я заметил нового штатского человека, невысокого роста брюнета, довольно плотного, с круглым, приятным лицом. Это лицо, особенно его подергивания при разговоре, показалось мне знакомым. Когда же этот человек заговорил об эсеровской партии и упомянул, что он состоит в ней со дня основания, я догадался: да ведь это — Гоц.

Вместе с Церетели и втородумцами он приехал вчера из Иркутска, где отбывал каторгу и ссылку по террористическому делу... Гоца я немного знавал в 1905 году, когда по выходе из тюрьмы после полутора-годичного сидения, я широко пользовался гостеприимством другого известного с.-р-а Бунакова-Фундаминского. Гоц, его родственник, часто пребывал у него. Потом из Сибири я получал от него предложения работать в каких-то близких ему органах печати. Во время же войны, не в пример большинству с.-р-ов, Гоц об'явился интернационалистом, циммервальдцем; и в этом духе он пытался вести одну иркутскую газету. В этой газете он писал восхищенные фельетоны о нашей «Летописи», и я a priori умозаключал, что между нами возможен и фактически предстоит «контакт»...

Гоц играл очень значительную роль в первые периоды революции. Она об'ясняется, конечно, не только именем его брата, крупного революционера и основателя с.-р-ской партии Михаила Гоца. — Абрам Гоц имел свои собственные исторические заслуги и яркое партийное прошлое. Но надо сказать, что его историческое имя совершенно не соответствует его

теоретическому содержанию. Гоц — несомненно, отличный техник, организатор — может быть, даже администратор. Но это никакой политик. Ни малейших рессурсов вождя, никаких политических идей, исканий, самостоятельной мысли — он решительно не обнаруживал. Напротив, все его выступления к которым было естественно прислушиваться, отличались большею частью полной бессодержательностью.

Роль Гоца об'ясняется тем, что ему, технику и организатору с большим партийным именем, пришлось технически руководить огромной, «самой большой», разбухшей и расползшейся во все стороны партией мужиков и обывателей; и ему пришлось вести главную работу в ее огромных советских фракциях, имевших решающее значение благодаря своей численности. В этих функциях Гоца было некем заменить эсерам... Вообще «самая большая партия» была чрезвычайно бедна крупными силами, а тем более политическими вождями. Выдвигаемые ею лидеры, с которыми мы встретимся дальше, были абсолютно негодны для своих ролей. Крупной фигурой, несомненно, является Чернов, с которым мы также встретимся; но он крупен не как политический вождь. Остальные — не крупны ни в каком смысле.

Увидев и узнав Гоца, я обрадовался случаю. Я должен немедленно посвятить его во внутренние отношения Исп. Комитета. В связи с наступлением буржуазии, я изложу ему опасность со стороны право-демократических элементов, шатающих старое циммервальдское большинство. В качестве с.-р.-а, Гоц внесет новую надлежащую струю в среду наводняющих Исп. Комитет «мамелюков». Он может сделать многое для «выпрямления линии» этой рых-

лой массы... Во всяком случае это — ценное приобретение для нашего «циммервальдского блока». Недаром Александрович, злобно сверкая глазами на невидимого врага, эсера-оборонца, уже несколько дней бросал мне на ходу:

— Гоц едет, вот погодите!

Мы стали разговаривать с Гоцом. Он, однако, слушал меня более чем сдержанно. Он возражал слабо, но был настроен весьма «выжидательно». Я знал Гоца совсем мало, не зная его манер, его личного характера и принял его сдержанность за façon de parler. Мне не пришло тогда в голову, что этот «циммервальдец» — и от меня, и от циммервальда отстоит уже сейчас на астрономическую дистанцию... Что же касается манер и личного характера Гоца, то это очень веселый и симпатичный человек, которого не пришлось иметь товарищем по «кампании», но которого в своей компании иметь всегда приятно.

* * *

Я спешил к Горькому на собрание «Новой Жизни»... В Таврическом дворце я с трудом пробрался сквозь огромную манифестацию женщин. Собрался Совет, куда должны были явиться приехавшие втородумцы... По Шпалерной, с музыкой и знаменами, подходили, как и ежедневно, манифестировавшие полки, протестующие против «германского милитаризма», требующие «демократической республики» и жаждущие, во-первых, «земли и воли», а во-вторых — «войны до конца».

Автомобиль, разбрасывая весеннюю грязь, едва пробирался через бесконечные солдатские ряды; а по дороге до Кронверкского проспекта мы встретили

еще не одну группу всякого рода манифестантов. Петербург праздновал революцию и высыпал на улицу, под разными лозунгами, в этот солнечный воскресный день...

У Горького ждал меня еще один новый знакомый, также приехавший вчера. Это был заслуженный левый большевик Войтинский, также отбывший каторгу и хорошо известный некогда всему передовому рабочему Петербургу.

Это был образованный экономист, хороший митинговый оратор; он вскоре стал очень крупной силой революции. Не особенно оригинальный, не завоевавший себе большого авторитета, — он был универсальным, вездесущим и всегда действующим работником.

Он часто сотрудничал в «Современнике», кое-что присылал в «Летопись» и однажды, в нашей переписке, почтил меня исключительно лестными комплиментами за одну мою «пораженческую» брошюру. В связи с его большевизмом, мне поэтому не пришло в голову расспросить его об его современном образе мыслей. Я радостно приветствовал в его лице еще одного нового видного циммервальдца на нашем горизонте.

Увы! Войтинский, вслед за Гоцом, оказался второй пристяжной в ретивой тройке иркутских «циммервальдцев», сумевших быстро оставить за собой всех местных советских оппортунистов, националистов, шовинистов... Вот кого недоставало, чтобы княжить и володеть армией «мамелюков», — недоставало этой тройки: большевика, меньшевика и эсера. В корню, конечно, шел меньшевик — Ираклий Церетели.

---

6. БИТВА И ПИРРОВА ПОБЕДА ДЕМОКРАТИИ

Буржуазия мобилизует армию. — «Двоевластие». — Резолюции. — Поездки в Ставку. — «Комитет пропаганды». — Адреса, наказы, делегации. — В тыл. гарнизонах. — Агитация Ставки. — Мобилизация «гражданских» сил. — Земские сферы. — Торгово-промышленные организации. — Кадетский с'езд. — Стоход. — Недостаток советских сил. — Непринужденность Милюкова. — Война между солдатами и рабочими. — В советском лагере. — Оборона. — Ахиллесова пята. — Прием фронтовых делегаций. — Заседание в кабинете Родзянки. — Делегаты. — Ораторы «из народа». — Дары революции. — В окопах. — Берлинский Совет Р. и С. Деп. — За кулисами. — Наступление министров в контактной комиссии. — Г. Е. Львов-Некрасов-Мануилов-Гучков. — «Беседа» об армии, о работе на заводах, об аграрных делах. — Шингарев. — Вопрос об эмигрантах. — «Кризис». — Керенский пугает, мне не страшно. — Вопрос о войне в Исп. Ком. — Церетели. — Заседание 21 марта. — Мой «доклад». — Громы Церетели. — Прения. — Чайковский. — Мамелюки. — На другой день. — Компромисс. — Его смысл. — Новое большинство. — Похороны. — «Отказ от аннексий» в «контактной комиссии». — Позиция Милюкова. — Левая «семерка» в кабинете. — Керенский. — Ломовики в Исп. Ком. — Опять Керенский: «бонапарт» среди своих солдат. — Акт 27-го марта в Мариинском дворце. — Его лживость. — Трюк Терещенки. — Раненый Чхеидзе на посту. — «Давление» признается неудавшимся. — Резолюция о войне меньшевиков. — Акт 27-го марта в Таврическом дворце. — Пиррова победа. — Ее смысл и перспективы. — Эпилог. — Керенский в Исп. Комитете. — Керенский победил. — Новые перспективы насчет «кризиса власти». — Перелом.

Мобилизация армии под империалистскими военными лозунгами все усиливалась. Дело не ограничивалось упорными манифестациями всего петербургского гарнизона перед лицом Совета в Таврическом дворце. Нет, вся буржуазия энергично и планомерно била в ту же точку с разных сторон. Шла агитация в казармах, устраивались митинги под разными фирмами (вроде «Родина и Армия») и принимались ежедневно десятки резолюций, адресов, наказов. Вся «большая пресса» наступала сплошной темной тучей, закрывавшей свет от мещанско-обывательских масс, творивших в низинах столицы новое «общественное мнение».

Ограничивалось ли дело одними военными лозунгами? Конечно, нет. Я уже говорил о том, что «война до конца» это была только часть задачи, очень большая, но в конце концов не обязательная. Задача в целом состояла в подчинении армии вообще, в приобретении реальной силы для буржуазной власти, в обуздании демократии и в укреплении диктатуры капитала... Поэтому, вся кампания протекала под расширенными лозунгами: с германской опасности начинали, а кончали двоевластием, которое и «посадит нам на шею Вильгельма».

Будущие историки со временем разберутся в огромной массе постановлений всевозможных армейских, флотских, юнкерских, «республиканско-офицерских» и солдатских (sic!) организаций. Я могу взять для примера одно «резюме» большого военного собрания «солдат и офицеров 89 частей петроградского гарнизона». С резолюцией этого собрания, конечно, врученной Вр. Правительству, носилась «большая пресса», называя ее «мнением петроградских войск». «Петроградские войска» требовали «доведения войны

до победного конца, ибо армия считает, что даже мир, которым восстановились бы прежние границы государства, мир без согласия союзников, является миром позорным, угрожающим русской свободе, отделяющим нас пятном измены и предательства от свободной Англии, республиканской Франции, поруганной за други своя Бельгии, Сербии, Черногории и Румынии, от клятвенного обещания восстановить свободную Польшу из немецких и русских земель»... Таковы цели, но для осуществления их необходимо «выполнение требований, которые собравшиеся воинские чины обращают к Совету Рабочих Депутатов: признать Вр. Правительство единственным органом власти, весь авторитет употреблять на поддержку Вр. Правительства, осуществлять свои требования только через Вр. Правительство, отложить введение 8-ми часового рабочего дня» и т. д.

Это — «считает армия», возобновляющая дореволюционные лозунги «все для войны» и прямой дорогой загоняющая революцию в прокрустово ложе буржуазной диктатуры... На самом деле это, конечно, еще далеко не армия, а только собранные с бору да с сосенки обывательско-кадетские обрывки петербургского гарнизона.

Армию — на фронте и по России — еще надо завоевать. И буржуазные сферы по всей стране взялись за это дело...

Для завоевания действующей армии гг. «народные министры» отправились в Ставку. Там, в сотрудничестве со строгими контролерами, с представителями союзных держав, министры вели работу и «в массах», и среди командного состава. Вместе с контролерами правительство окончательно утвердило там ген. Алексеева в должности верховного главнокомандую-

щего — «в виду доверия к нему армии и народа», как не постеснился заявить Гучков... Но в остальном командном составе произвели различные перемены: без этого завоевание фронта было совершенно немыслимо. На солдатских же митингах, вообще при «массовых» выступлениях — убеждали вести войну до конца, не щадя жизни за свободу. Успех и «энтузиазм» были настолько велики, что ген. Брусилов донес военному министру: «все войска находятся в состоянии полной боевой готовности, решимость их довести войну до победоносного конца непоколебима и войска с нетерпением ждут приказа о наступлении»... Непонятно только, как это донесение попало в печать: ведь это же ослабляло эффект кампании против Совета. Обычная «линия поведения» буржуазных сфер была совсем иная... Заявление, видимо, было нужно союзникам...

В Ставку ездили не одни министры. С теми же целями туда беспрестанно шныряли и прочие штатские деятели из думских кругов. Вместе с разными земскими уполномоченными и представителями цензовых муниципальных союзов они хлопотали о том, чтобы взять в свои руки армейские организации при содействии офицерства.

Земский союз занимался созданием «Комитета пропаганды», чтобы «дать армии ответы на интересующие ее вопросы политической, социальной и военной жизни и подготовить армию к выборам в Учредительное Собрание». Основные принципы: поддержка Вр. Правительства, признание необходимости продления войны и военной дисциплины... И просят на первое время всего один миллион руб. Очень хорошо. Гучков и Алексеев дали, во-первых, свое полное одобрение, а во-вторых — циркулярную теле-

грамму всем командующим фронтами: «оказать полное содействие» и т. д.

Конечно, Ставка — еще не вся армия. И если не министры, за явным недостатком времени, то их «уполномоченные», их единомышленники потянулись из столичных центров по всему тысячному фронту. А из действующей армии в ответ потянулись телеграммы, представления, призывы.

* * *

В газетах, начиная с 15—17 марта, их приводятся сотни, и все они одного содержания, — частью адресованные Вр. Правительству, частью Совету.

...«В единении сила, в двоевластии гибель. Гос. Дума, облеченная доверием страны, создала Вр. Правительство, которому мы присягнули и готовы с удвоенной силой работать для достижения победы над врагом. Солдаты и рабочие петроградского Совета, мы просим вас не мешать нам, а помочь, дав нам снаряды и оружие. Мы просим вас не создавать двоевластия» (Минск).

...«Дивизионный комитет офицеро-солдатских депутатов частей 42-й пех. дивизии, выражая свое полное доверие Вр. Прав., требует, чтобы все партии, организации и классы ему не ставили преград в выполнении об'явленной им программы. Находя, что лишь победный конец войны может закрепить свободу, мы просим Советы Р. и С. Д. облегчить правительству дальнейшее ведение войны»... «Солдаты, офицеры, врачи и чиновники несвижского гарнизона... не допустят в нашей стране никакой другой власти, кроме власти Вр. Прав. Желая ему успеха во всех его начинаниях, мы твердо верим, что война

будет доведена до конца». Это — правительству; а Совету — то же плюс: «сплотитесь вокруг Вр. Прав. в общей работе фронта и тыла для достижения победы над врагом. Не забывайте, что война не знает праздников, довольно манифестаций, станьте к станкам, куйте снаряды»...

За адресами, конечно, последовали личные представления, делегации, десятки делегаций ежедневно. Они ходили к Родзянке, Гучкову, Львову, ко всему кабинету. Подавали письменные заявления и устно жаловались, протестовали, грозили. Их горячо благодарили за хорошо выполненный урок... Делегация от 2-го моторно-понтонного батальона, принятая Родзянкой в Таврическом дворце (еще 14-го марта), вручила ему письменное заявление: «приехав в Петроград (sic!), мы слышим призыв к заключению преждевременного мира, к сдаче родины на милость демократии Германии, слышим призывы к неповиновению Вр. Прав., видим самостоятельные выступления Совета Р. и С. Деп... Подобное положение приближает Петроград к состоянию анархии. Признавая, что все это является преступным, мы заявляем, как уполномоченные, что Вр. Прав. встретит полную поддержку в пославших нас — при условии доведения войны до победного конца»... Родзянко «горячо благодарил» и указал, что он «вполне разделяет эти взгляды».

Выборные от 31 части фронтовых войск вручили акт Гучкову: «До нас долетают неясные крики предателей свободы, требующих прекращения войны. Они раздражают нас, они должны исчезнуть. Победы мы жаждем для себя и своих друзей... Нас не смутит наивный лепет о немецких пролетариях, одураченных немецкими юнкерами. Мы давно знаем

вас и бодро идем за Вр. Правительством. Мы клянемся отстоять вас от насилий, не считаясь с тем, с какой стороны они исходят».

Варианты на эту тему бесконечны, но тема все одна. Делегации развивали ее неустанно перед разными начальствующими лицами, ибо это имело демонстративное значение, и повторение одного и того же отнюдь не мешало, но ошеломляло, доводило «до бесчувствия» тех, на кого было рассчитано... Газеты же завели особые рубрики с постоянным жирным заголовком: «За единовластие»...

Конечно, об единовластии и полной победе хлопотала не одна только действующая армия. Кампания захватила и недра России, все местные гарнизоны и части, где оказались сколько-нибудь грамотные офицеры или представители «цензовой общественности». Из глубокого тыла развивать победную программу было еще удобнее. Вот, напр., «офицеры и солдаты гарнизона гор. Острогожска (Воронеж. губ.), об'единенные лозунгом «война до победы», сознавая всю опасность действия Совета Раб. Деп. в разногласии с планомерной работой Вр. Правительства, выражают уверенность, что таковой будет действовать в полном единении с решениями правительства, выражая ему полное доверие»... Если не в частностях, то в общем и целом эта телеграмма Гучкову из далекой глухой провинции — совершенно ясна.

* * *

Армия мобилизовалась — и в тылу, и на фронте. Но, конечно, не только армия, которая была лишь орудием в руках «здоровой государственности».

Если не в первую голову (так как штатские были очень заняты среди военных), то во всяком случае очень быстро и чрезвычайно интенсивно были мобилизованы и «общественные круги», самые разнообразные, сверху до низу.

Вот «Земгор» и «Земсоюз», со своими служащими, отделами и подотделами, признает, что «первым и основным условием защиты завоеваний народа является продолжение войны». А затем «для блага России необходима единая власть в руках Врем. Правительства, и давление на него со стороны отдельных лиц или организаций признаем вредными и опасными для России»... Теперь, через две-три недели революции эти интеллигентские межеумки, которым свойственно идти на поводу у буржуазии и помогать ей в борьбе с пролетариатом, — теперь они уже самоопределились и не тяготеют бессознательно к Совету, а посильно «ущемляют» его.

За земцами-цензовиками и «третьим элементом» поспевали железнодорожные служащие, приславшие Некрасову телеграмму с юга (26-го марта): «мы, уполномоченные служащих, признаем, как единую власть, только Вр. Правительство... Мы не допустим чьего-либо вмешательства в его труды... В вопросе о войне мы считаем необходимым добиться полной победы, так как только полное сокрушение германского военного могущества гарантирует безопасность нашей свободы и свободы всего мира».

Надо ли говорить о классовых буржуазных организациях? Военно-промышленные комитеты отовсюду твердили, что «для достижения полной победы, необходима вся полнота власти в руках одного Вр. Правительства», и призывали Совет Р. и С. Д., «не создавая двоевластия, оказать ему полную

поддержку»... О том же говорили на всеросс. торгово-промышленном с'езде, заседавшем в Москве 21-24 марта, — говорили, несмотря на фронду по отношению к Вр. Правительству и на посланную Шингареву телеграмму с протестом против хлебной монополии.

Дело доходило до смешного. Даже московский литературно-художественный кружок, которому теперь уже не было большой нужды заниматься политикой, выносил и «представлял» буквально те же резолюции о двоевластии и победе. А Бальмонт в «рифмованных строках» чирикал о том же — для чуть не полутора-миллионного читателя почтенного «Русского Слова»... Словом, куда бы ни оглянуться в то время — повсюду вся сознательная буржуазия, услужающие ей слои и бессознательные, на слово верящие попугаи — «были проникнуты одной мыслью», «одним желанием» и твердили одни слова, выражая «волю всего народа».

* * *

Наконец, сделал резюме, подвел итоги всей кампании (это не значит — положил ей конец, напротив!) тот орган, который по существу своему был «синтезом» всех элементов, участвовавших в этой кампании. Это был, конечно, с'езд кадетской партии, уже вместившей в себя всю буржуазию и оказавшейся на правом крыле новой российской общественности... Я не буду останавливаться на этом с'езде (заседавшем 25—29 марта), так как по существу он ничего нового в дело не вносит. Кадетский enfant terrible — Родичев, хорошо кричал о том, что кадеты должны непременно «отнять у Турции Арме-

нию», «аннексировать Константинополь», что они «не могут убавить требования и сказать, где они остановятся в войне»; — и, разумеется, все это соответствовало принятым на с'езде постановлениям... Некрасов хорошо призывал к самообладанию и бесстрашию перед советской демократией, говоря, что нельзя же в самом деле быть еще хуже старого самодержца и признавать только Бога да совесть... Но основной практический смысл этого «авторитетнейшего» с'езда, этого лучшего выразителя «общественного мнения страны» — был все тот же. Боевым лозунгом для него не могло быть ничто иное как: утверждение буржуазной диктатуры и выполнение империалистской программы.

* * *

Большим подспорьем во всей этой мобилизации буржуазно-реакционных сил явилось наше военное поражение на Стоходе. 20—21 марта там был разбит наш корпус и сделан прорыв... Почему? Конечно, по вине советских дезорганизаторов и наивных пацифистов, работающих на Вильгельма. Дело на Стоходе чрезвычайно облегчило и усилило агитацию буржуазии. И использовано это дело было в полной мере. Не только бульварная печать не церемонилась в выражениях и «патриотических» намеках. Официозная ныне «Речь» также не стеснялась об'яснять поражение «выборностью начальников» и прочими несуществующими кознями со стороны Совета.

Этого мало: в конце марта наши неудачи стали муссироваться и «предвосхищаться» самой Ставкой, в ее официальных сообщениях. Это было, правда, позорным, но зато очень внушительным средством

борьбы с советской демократией... Ставка, напр., «сообщала»: «Ряд перебежчиков, австрийских офицеров и солдат, показывает, что германцы и австрийцы надеются, что различные организации внутри России, мешающие работе Вр. Правительства, внесут анархию в страну и деморализуют русскую армию...» Или — опять же Ставка «сообщает»:... «германским канцлером Бетман-Гольвегом командированы в Стокгольм несколько германских социалистов для переговоров о сепаратном мире с представителями русских социалистов»; в связи с этим поражение на Стоходе «не было разглашено, както делалось раньше, и обычные манифестации отсутствовали. Германские с.-д. действуют вполне солидарно с правительством, считая себя прежде всего немцами»... Третье «сообщение» гласит, напротив, что «о мире в австрийской армии говорят меньше, чем раньше: все надеются, что внутренние нестроения России будут содействовать ее разгрому»...

Противоречия «сообщений», разумеется, совершенно не важны. Важно то, что все они, не имея отношения к действительным функциям Ставки, сильно бьют в одну и ту же точку; из авторитетного источника, по больным пунктам идет инсинуация и клевета на советскую демократию.

* * *

Было еще огромное подспорье у буржуазии в начатой борьбе за власть и за внешние завоевания. Это — крайний недостаток подготовленных социалистических сил. Благодаря этому, огромное число провинциальных Советов, не говоря уже об армейских организациях, попало в руки не только неустойчи-

вых, но злостно-буржуазных элементов. Я уже не говорю о недостатке социалистических руководителей, способных отстаивать последовательную классовую, в частности, циммервальдскую позицию. Подготовленных оппортунистов и оборонцев также было слишком мало.

Если бы было можно остановить буржуазную кампанию на позициях о б о р о н ы, отделив эти позиции, от империализма и раз'яснив, на чем зиждется клевета и в чем состоит вся «соль» кампании, — то это было бы огромной помощью для демократии. Но слишком мало было на местах людей, понимавших, что вся нехитрая механика буржуазии, в ее борьбе за власть, строится на смешении захвата и обороны... Ведь вопрос об единовластии, о «невмешательстве», о полном подчинении армии цензовому правительству — вставал именно тогда, когда речь шла о «войне до конца», т. е. о войне до «отнятия Армении», до аннексий Константинополя и т. д. Ибо именно тут Совет налагал свою руку на армию и не желал ее «подчинения» целям насилия и захвата. Когда же речь шла о защите нового строя, о защите от военной реакции народных завоеваний, — тогда таких вопросов не возникало. В этих пределах «единовластия» правительства никто не оспаривал, — напротив, — Совет призывал к стойкости, к дисциплине, к единому фронту по всей стране.

Клевета основывалась на том, что Совет подрывает защиту народных завоеваний и открывает фронт врагам. Недоразумение не настолько сложно, чтобы массы не могли усвоить дело. Но был вопиющий недостаток в тех, кто мог его раз'яснить. Неустойчивые же элементы в провинциальных Советах, подпадая под влияние злостно-буржуазных сфер,

— твердили нередко и довольно громко о «продолжении войны», об «освобождении Бельгии, Польши, Армении», об уничтожении «бронированного кулака» или «германского милитаризма». Они полагали, что говорят о «защите революции», а не развивают классическую идеологию империализма. И понятно, какую услугу эти советские элементы оказывали плутократии в момент напряженной схватки за армию, за власть, за всю судьбу революции.

* * *

Во всяком случае мобилизация буржуазных сил проводилась не только с огромной энергией, но и в очень благоприятной для буржуазии обстановке. Лидеры хорошо учитывали это и закрепляли позиции. Милюкову, в частности, — министру милостью Совета, — необходимо было завоевать себе право говорить о войне так же, как говорят его почтенные коллеги, Рибо и Ллойд-Джордж: свободно, без «давления и контроля». И Милюков, взирая на ход кампании, очевидно, счел, что он вполне «опирается на общественное мнение страны», когда 22-го марта он окончательно распоясался и с неприкрытым цинизмом (по поводу выступления Америки) снова изложил журналистам свою военную программу. Безо всякого стеснения министр отшвырнул формулу «мира без аннексий, германскую формулу, которую стараются подсунуть международным социалистам». И он снова перечислил те задачи, до осуществления которых не должно быть и не будет войне «победного конца». Он сказал, что Россия должна воевать до раздела Австро-Венгрии, до ликвидации Европейской Турции, до присоединения Галиции к Украине,

до перекройки Балкан, до «отнятия» Армении, до отвоевания проливов и Константинополя и проч. Все это, во-первых, нам совершенно необходимо, во-вторых, все это, конечно, верх справедливости, в-третьих, все это совсем не аннексии, а в-четвертых, если кому-либо угодно назвать это аннексиями, то это ничего не изменит в политике революционного кабинета.

Вот где было действительное покушение на революцию и свободу! Эти заявления делались в момент, когда ореол русской революции был велик в Европе, когда она, несмотря на все усилия международного шовинизма, встряхнула западную демократию, когда даже английские газеты писали о том, что «русская революция открыла новые пути к достижению мира, и две недели ее гораздо сильнее поколебали могущество воинственных германских помещиков, чем три года войны».

Заявления Милюкова втаптывали в грязь революцию. Об'явленная и вновь подтвержденная им старая царская программа войны, программа отвратительного убийства ради насилия и грабежа, не только оскверняла новый строй: она создавала ему самую опасную угрозу, какая была мыслима. Она означала заведомо непосильные требования к освобожденному народу, ко всей стране, к ее экономике. Она заведомо была рассчитана на ее разорение, на ее военное поражение и на удушение революции в тисках голода, всеобщей разрухи и гражданской войны.

Революция была до сих пор вынуждена терпеть подобного министра. Но она была обязана, в борьбе за самое свое существование, дать решительный отпор этому зарвавшемуся врагу ее... Интервью

Милюкова шокировало даже его товарищей по кабинету. Керенский и Некрасов заявили в печати, что все это — «личное мнение» министра иностранных дел. Но слово было не за ними...

* * *

В двадцатых числах марта отношения между солдатами и рабочими достигли крайнего напряжения... Буржуазия, которую наш договор 2-го марта поставил в новые условия борьбы на открытой арене, буржуазия, в руках которой не было реальной силы и не было иного средства борьбы за власть, кроме агитации, кроме идейного давления, — конечно, не могла честно пользоваться этим оружием. Довольно было для нее того, что ее заставили бороться в равных условиях, на открытой арене.

Приемы агитации мы видели. Но их было недостаточно. В открытой борьбе за общественные интересы, хотя бы за «новый строй», «за оборону революции», за охрану очагов от Вильгельма, — буржуазия всегда проиграет и, в частности, всегда проигрывала перед массами у нас. Другое дело — ударить по непосредственным, по шкурным интересам солдата, по его личной безопасности. Здесь можно достигнуть многого.

Агитация повелась на всех перекрестках. И в двадцатых числах на всех перекрестках, в трамваях, в любом общественном месте можно было видеть рабочих и солдат в последних градусах нервного раздражения, сцепившихся между собою в неистовом словесном бою. Были и случаи физических свалок. Дело приняло крайне тревожный оборот.

Конечно, рабочие обвинялись в пред'явлении чрезмерных требований, в полном нежелании работать

и в игнорировании интересов фронта. Исходным пунктом агитации был между прочим 8-часовой рабочий день. Ловцы рыбы в мутной воде спекулировали на то, что мужику в серой шинели понять это пролетарское требование совершенно не под силу. Такой нормы работы не существует ни на фронте, ни в деревне. А между тем заводские лодыри, не желая работать больше, покупают себе вольную жизнь ценою жертв в окопах.

Солдаты не только требовали обуздания рабочих и контроля на фабриках. Они грозили репрессиями и расправой.

— Вот погодите, — можно было слышать направо и налево, — мы вам покажем в ваших же мастерских. Около каждого вашего лодыря поставим нашего товарища с винтовкой. И в случае чего...

Действительно, по заводам начали ходить вооруженные солдаты, наводить ревизии и чинить насилия. Для этой цели стали прибывать группы солдат из окрестных гарнизонов и даже из действующей армии. Казалось, «натравливание одной части населения на другую» уже приводит к цели. С часа на час можно было ожидать крупных эксцессов. Революция и ее центр, ее крепость, ее жизненный нерв, Совет, снова стали под удар солдатской стихии. Теперь ее разнуздывали агенты буржуазии, «признавшей революцию».

Настроение было такое, что одураченный и рассвирепевший вооруженный мужик не только мог легко даться в руки плутократии, но мог немедленно, без «передышки» пустить в ход винтовки против старого «внутреннего врага». Надо было действовать...

* * *

И, конечно, в противном лагере уже давно действовали, — иначе борьба была бы уже проиграна. Силы мобилизовала, агитацию широко развернула и советская демократия. Но здесь было далеко не все в порядке.

Вполне благополучно было — не в смысле успеха, а в смысле мобилизации сил — в области взаимоотношений рабочих и солдат. Петербургский пролетариат в этой острой схватке проявил, вместе с твердой рукой, изумительный такт и поистине братскую мягкость. Он занял оборонительную позицию. Упорно, шаг за шагом, петербургские рабочие — в частных беседах, на митингах, в Совете, в казармах, на заводах, — раз'ясняли солдатам действительное положение дел. На каждом заводе «солдату» и буржуазной травле посвящались специальные митинги и принимались резолюции, специально апеллировавшие к солдатскому разуму и справедливости. В резолюциях указывалось, что 8-часовой рабочий день фактически не проводится, что полный ход работ тормозится недостатком сырья — не по вине рабочих, что требования не только не чрезмерны, но слишком ничтожны. Приводились доказательства, сообщался уровень заработной платы, и солдаты добровольно приглашались посетить рабочие мастерские. Заботы о фронте проявлялись в таких резолюциях с полной очевидностью. В частности, мотивируя «серьезностью момента и ответственностью перед родиной», рабочие Петербурга сократили пасхальный перерыв работ до трех дней.

Советские и партийные центры, разумеется, стояли во главе движения. В социалистических газетах, в специальных рубриках «Рабочие и солдаты», отводилось много места конфликту, печатались рабочие

резолюции, обращения к солдатам и т. д. Устраивались специальные митинги для солдат, агитаторы об'езжали казармы, давались директивы в провинцию. Специальные делегации воинских частей, вместе с советскими людьми, ездили «ревизовать» заводы, а затем официально опровергали клевету на рабочих. Но положение было острым в течение 10—15 дней.

* * *

Отношения солдата и рабочего — это был только один из фронтов развернувшейся борьбы. Советско-партийная пропаганда шла и по другим линиям. Принимались все меры к тому, чтобы закрепить среди солдатских масс непререкаемый авторитет их собственного выборного органа — Совета. В Таврический дворец созывались для этого армейские ячейки, и выносились резолюции организационного характера. Весьма авторитетное такое собрание состоялось 21-го марта, куда явились представители (по 5 чел.) от 109 частей Петербурга и его окрестностей; представлены были местные руководящие органы, — ротные, батальонные и полковые комитеты. Было постановлено: «признать высшим и единственным руководителем солдатских организаций Петрограда и его окрестностей Совет Р. и С. Д. и Исп. Комитет его; признать все ротные, батальонные, полковые и др. комитеты органами Совета на местах; вопросы, имеющие значение для всего гарнизона или всей армии, а равно все вопросы политического значения решаются окончательно Советом Р. и С. Д.»...

Вообще сознательные солдатские элементы, есте-

ственно, наполнявшие местные армейские комитеты, сделали чрезвычайно много для борьбы с настроениями солдатской массы, к которой апеллировала буржуазия. Благодаря им, членам солдатской секции Совета и членам местных комитетов, — митинги, устраиваемые для солдат различными буржуазными организациями, нередко кончались полным конфузом для устроителей: вместо «единовластия Вр. Правительства» и «войны до конца» — принятые резолюции гласили (не о «власти», но) об единственной авторитетности Совета, об его полномочиях по руководству гарнизоном и — о «защите революции».

* * *

Но все же важнее всего была не форма, а содержание: организационное закрепление за Советом солдатских масс было возможно лишь на определенной политической платформе, на платформе демократических (и экономических) требований. Вся кон'юнктура, как видно из предыдущего, выдвигала на первый план демократическую внешнюю политику.

Это был важнейший, судьбою предопределенный фронт столкновения демократии с империалистской буржуазией. И вот на этом фронте дело обстояло совершенно неудовлетворительно.

Манифест 14-го марта, казалось, наметил основную линию той мирной кампании, какую должен был отныне энергично повести Совет. Вместо легко уязвимых общих фраз о войне и мире, манифест, казалось, наметил очередные конкретные лозунги, способные поставить на прочную почву советскую

мирную агитацию. Но агитация не только не была развернута: она не была и предпринята, не была декретирована. И никаких лозунгов, на основе манифеста, не было ни зафиксировано, ни преподано массам от имени Совета. Как и почему это произошло, — об этом будет речь впереди. Но факт тот, что империалистской агитации буржуазии, ее алармистским крикам, прикрытым защитно-оборонческими девизами, — Совет ничего определенного и ничего внушительного не противопоставил.

Правда, это не значит, что на этом фронте не наблюдалось напряженной, ожесточенной борьбы. Агитация в пользу демократизации внешней политики велась уже довольно интенсивно. Но тут действовали, главным образом, разрозненные партийные силы — большевиков и меньшевиков. При этом они, главным образом, были устремлены на заводы. Петербургский пролетариат зашевелился основательно. На заводах принимались уже многие десятки резолюций о войне... Но ведь пролетариат уже давно был к этому подготовлен. Мало того: передовые слои его уже давно тяготились придушением тех циммервальдских лозунгов, которые были близки ему еще до революции. Задача состояла не в победе над пролетариатом. Дело было опять-таки в солдатских массах. И здесь оно обстояло плохо.

Конечно, мирные лозунги начинали понемногу развертываться и среди солдат. Ежедневно выступали ораторы на солдатских манифестациях в Таврическом дворце, где продефилировал весь столичный гарнизон, крича ура в честь Чхеидзе, а еще громче — в честь Родзянки. Действовали кое-как агитаторы на митингах и в казармах. Но это была

опять-таки больше партийная, чем советская работа. А затем — это была работа плохого качества. Лозунги советских ораторов были произвольны, самочинны, совершенно неустойчивы и довольно подозрительны. Манифест 14-го марта комментировался столь же часто, сколь незаконно — именно в духе Чхеидзе. Ораторы «болота», не говоря об оборонцах, шли по бесплодным линиям меньшего сопротивления. И общий тон пропаганды приобретал явно оборонческий уклон. Однако, и в этом виде агитация была случайна и слаба.

Советские деятели, правда, не были стеснены в ней — именно потому, что дело было предоставлено на волю стихий и не было «упорядочено» определенными постановлениями. Циммервальдцы могли с полным основанием и даже с исключительным правом выступать от имени Совета. Но тут то и было кустарничество, тут то и были разброд и слабость — вместо единой организованной кампании, вместо могучего воздействия, вместо официальной, для всей России обязательной директивы полномочного органа демократии.

Мирную агитацию дружно развертывали партийные (с. д.) газеты. Но официальные советские «Известия», руководимые Стекловым, только путали и мешали делу.

Все это было неудовлетворительно. И в области советской борьбы с наступлением империалистов, пожалуй, можно — за это время — отметить только одно положительное явление, несомненно давшее существенные результаты.

* * *

В работе Исп. Комитета существенное место стали занимать всякого рода военные делегации. Они начали являться ежедневно из местных частей, с фронта, со всей России, — и состояли обыкновенно из двух-трех офицеров и нескольких солдат. Они требовали приема в Исп. Комитете и часами ждали его, а иногда ждали и днями. Делегации эти очень мешали текущей работе и, к негодованию советских работников, нарушали весь распорядок. Исп. Комитет сначала принимал их вне очереди, в своих заседаниях; потом постановил отводить делегациям время после 6 часов вечера; но затем Исп. Комитет выделил группу лиц, на обязанности которых лежало принимать делегации во все часы дня и позднего вечера.

Сами делегации для этого требовали, конечно, самых почтенных и известных членов Исп. Ком., каковых было немного. Но товарищи всегда были не прочь уклониться от этого, довольно однообразного и томительного занятия. Впрочем, я знаю одного любителя таких приемов, который и меня постоянно убеждал в огромном интересе этого живого соприкосновения с фронтом, с черноземной солдатчиной и с неведомыми типами офицерства. Этим любителем был Н. Д. Соколов, который и пропустил через свои руки львиную долю делегаций. Это было, действительно, интересно.

Но это было еще более полезно для советского дела... Через Исп. Комитет прошли из глубины России и действующей армии тысячи людей, и все они понесли назад, в пославшие их массы то, что они видели и слышали. Прием делегаций стал при таких условиях очень существенным фактором советской пропаганды.

Обыкновенно эти делегации были те же самые, которые ходили и к Родзянке, и в Мариинский дворец. Не всегда, но большею частью их посылали и в Совет, и к Вр. Правительству — представиться, высказать свой взгляд, расспросить и посмотреть, что делают те и другие. Делегации так и делали. Опять-таки не все: были на местах части или группы, настолько «самоопределившиеся», настолько «сознательные», что они посылали делегатов или туда, или сюда, — в один из лагерей, со вполне категорическим «классовым» наказом. Но таких было меньшинство. Обыкновенно приходилось иметь дело с неподготовленной, обывательской, колеблющейся массой, благорасположенной или подозрительной на обе стороны. Ее можно было склонить и туда, и сюда. Но состав ее был большею частью демократический, плебейский; этим обычная предвзятость, навязанный шовинизм и крепко в'евшийся дух ложной «воинской чести» — могли быть уравновешены в борьбе сторон.

Говорили от имени делегаций обыкновенно офицеры. После приветствий и словесных проявлений пиетета со стороны гостей, обыкновенно завязывалась длинная деловая беседа — на действительно волнующие темы. Делегаты рассказывали о своем беспокойстве — на почве слухов о позиции Совета в вопросе о войне. Они говорили о своем глубоком несогласии с этой позицией, о неприемлемости ее «для солдата» и повторяли весь трафарет мещанской военной «идеологии». Но здесь они были не в атмосфере ненависти враждебного лагеря, не среди темной науськанной толпы. Здесь они стояли лицом к лицу с самими «открывателями фронта», с самими врагами родины и всего святого; и — не

видя в них ничего страшного, встретив разумных, образованных и импонирующих людей, — они в спокойной беседе, деловым образом выясняли вопрос. Это было более, чем серьезное испытание нахватанным с улицы шовинистским фразам и всему небольшому багажу делегатов.

Им читали и раз'ясняли манифест 14-го марта, в котором не было ничего страшного для патриота без кавычек. Перед ними вскрывали смысл их собственных лозунгов — «война до конца» и т. д., широко пользуясь при этом тем превосходным материалом, который давали гг. Родичев и Милюков. Идеология империализма была еще чужда обывателю. Раз'яснения открывали перед ним новое и обескураживали его. И даже неустойчивость советских лозунгов, даже оборонческие тенденции не исключали пользы таких бесед.

Делегации уходили совершенно иными, чем пришли. Если офицеры оставались при своем, отдавая своей кастовой психологии, то солдаты были совершенно побеждены. Во всяком случае у них было совершенно парализовано априорное предубеждение, стихийное недоверие к Совету, «подсознательное» признание его внутренним врагом, от которого в лучшем случае надо быть подальше. Если не идейный, то психологический контакт устанавливался всегда... Однако ясно: эти частные разговоры, эти беседы по душам — ни в какой мере не могли заменить официально об'явленной, планомерно проводимой кампании против империалистских покушений на революцию.

* * *

Утром, 24-го, когда я ждал заседания Исп. Комитета, тот же Н. Д. Соколов почти силою потащил меня в правое крыло. Приехали делегаты с разных концов фронта; представлены десятки крупных частей; сейчас открывается первое фронтовое собрание, которое требует представителей Исп. Комитета. Мы отправились...

Старая комната Военной Комиссии (№ 41) была битком набита солдатами — не нашего, не столичного вида. Начался обычный «допрос с пристрастием», и мы давали об'яснения о том, почему Совет «сразу не об'явил продолжения войны», почему Совет считает, что нам не нужны Дарданеллы и т. п.

Кто-то из офицеров высказался в том смысле, что слушать одних советских людей не стоит, а надо устроить очную ставку с представителями власти. Конечно, для нас это было самое лучшее. «Очную ставку» действительно удалось организовать, и собранию из душной небольшой комнаты было предложено перейти в огромный кабинет Родзянки. На лицо был сам Родзянко, члены думского комитета, полк. Энгельгардт, много членов Думы и, в частности, духовенства; был полон кабинет. Фронтовых же делегатов было зарегистрировано 104.

Собрание обещало быть интересным. Но увы! представители власти, очевидно, введенные в заблуждение, рассчитывали не на очную ставку, а на монопольное владение. Во время наших речей все думские «генералы» демонстративно покинули поле сражения и собственные свои аппартаменты. Защита позиций осталась на долю менее авторитетных (хотя, надо думать, не менее образованных) коллег и наличного буржуазного офицерства.

Это был хороший бой, и это была производительная работа. Стена пробивалась и поддавалась с трудом, но было ясно, что за этой стеной должны открыться самые широкие возможности. Эта победа среди делегатов должна быть предвестником перелома среди пославших...

Я имел «заключительное слово» (более удачное, чем обыкновенно у меня выходит), после которого единогласно была принята резолюция, предложенная мною от имени Исп. Комитета. Фронтовые делегаты, кроме того, избрали из своей среды представителя, который вместе с нашей «контактной комиссией» должен был пред'явить требования правительству и оказать на него «давление» в вопросе о войне.

Собрание это — одно из приятных моих воспоминаний. Но со стороны Совета это был случайный акт, и он говорил только о возможностях, а не о реальных перспективах.

* * *

Делегации, отдельные делегаты и ходоки обращались не только в Исп. Комитет. Они очень часто добивались и иногда получали возможность выступлений в Совете, по крайней мере, в какой-нибудь из секций, из которых каждая до-верху наполняла «белый зал»... Рабочие и солдаты любили и тепло принимали живые вести из далеких мест. И здесь также создавался контакт прочный и незаменимый... Но не только — вести и контакт: это были чудесные картины, которых нельзя забыть!

Прежде всего — ораторы... Откуда брались они?.. Я не говорю о «сознательных» или полусознатель-

ных, о местных политических лидерах, за две недели уже привыкших к трибуне и к внимающей толпе. Но серые, черноземные, иногда ни в каком смысле не грамотные и не проявляющие никаких признаков политического сознания?!

Были и такие, и они были «не хуже». Они были несравненно интереснее, когда произносили бурные, патетические гимны революции, не умея рассказать, что значит революция, едва умея выговорить самое это слово, но изливая в самозабвенном потоке слов свою душу, казалось, душу *народа и его революции*. Говорили не всегда ясно, безо всякого «стержня», вообще без «настоящего» содержания. Но все в волнении слушали и все понимали. Все знали, что никакое красноречивое, умно и ловко произнесенное приветствие, никакое самое искреннее выражение солидарности, никакие из глубины сердца идущие, торжественные клятвы верности и борьбы — не могут заменить этих не совсем понятных, несвязных речей. Поистине,

Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.

Они волновали, захватывали и как-то просветляли аудиторию, спаивая ее воедино пафосом революции, духом солидарности, готовности к битвам и жертвам...

Я помню парня, в буром армяке, стриженного в кружок, плечистого, краснолицего, курносого — типичного первобытного пастуха и недурную модель для российского Иванушки-дурачка. Торопливым говором, тонким голосом, называя нас «братцами»

и «дорогими», он произносил, или выкрикивал свою стихийную лирическую импровизацию, упирая на какое-то самодельное, не к месту идущее слово, долженствующее обнажить перед нами все его заветные думы, все его потрясенное нутро... Бог весть, какой нестерпимый гнет сняла революция с этого варвара, — вырвался ли он из когтей дикого барина-помещика или свирепого офицера и захлебывается, и упивается, как степной конь, какой-то новой волей...

Председатель не прерывал. «Сознательные» политики, «научные» социалисты, с горящими глазами и застывшей улыбкой, высоко дыша и ловя каждое слово, — слушали Иванушку-дурачка.

Крестьяне не редко взбирались с котомками на трибуну «белого зала». Но вот солдат из окопов втащил с собой грязный мешок и положил его перед собой на кафедре.

Он тихонько, без лишних слов, стал рассказывать о своих товарищах, приславших его передать поклон, приказавших благодарить передовых борцов, учителей и братьев за великие дела, за добытую свободу. Они в окопах не знали, как им принять участие во всенародном деле, не знали, что сделать для революции, какую помощь оказать своему кровному Совету Рабочих и Солдатских Депутатов.

— Вот мы решили принести вам самое дорогое, что было у нас... В этом мешке все наши кровью добытые награды, себе не оставил никто... Здесь георгиевские кресты и медали. Меня послали отдать их вам, вместе с нашей нерушимой клятвой положить жизнь за добытую свободу и служить революции, подчиняясь беспрекословно всем распоряжениям Совета...

Зал застыл во время этих простых слов, и не сразу грянула буря рукоплесканий... Но потом этих мешков с крестами перетаскали немало в Совет.

С удовольствием останавливался глаз на нечастых фигурах матросов с их медными лицами, в их милых детских курточках, с наивными ленточками на шляпах:

— От черноморского флота привет!..

Далекая неведомая солнечная лазурь, в гордом сознании приветствуемых участников переворота, сливалась воедино с великой народной победой.

Бывали выступления просто веселые, к неудовольствию деловитого председателя и к большому удовольствию всего собрания... Помню, один паренек с фронта, не особенно смышленного вида, ссылаясь на строгий приказ из окопов, долго добивался, чтобы ему дали слово. Уверивши председателя, что, не высказав Совету приказанного, он не может вернуться к своим, — паренек, наконец, занял трибуну. И с хитрой улыбкой, широко жестикулируя, он стал рассказывать о том, как у них в окопах встречали революцию:

— Ну, вот... Мы получили ведомость: царя, моя, нету и стало быть революция... Мы, конечно, обрадовались. Стали кричать «ура», запели... как его? «вставай, подымайся»!.. Ну!.. немцы от нас все равно что вон до энтого — или поболе. Они услыхали и кричат: э-эй! что у вас тако-ое?.. Мы кричим: у нас револю-уция! царя боле нету!.. Ну, — они, конечно, тоже обрадовались. Стали тоже петь, ура кричат... А по ихнему: ох! По нашему — ура, а по ихнему — ох!... Ну, тогда мы кричим: э-ей! что же вы? теперь вы сбрасывайте... этого, как его?... А они кричат: и-ишь, вы чего захотели!...

Удовольствие было полное — и для оратора, и для слушателей, дружно поблагодаривших улыбающегося паренька.

После какого-то выступления против завоевательной политики, после одной речи, при выходе из залы меня остановил скромного вида окопный солдат. Он обратился ко мне, конфузясь и запинаясь:

— Товарищ, а я вот что думаю, хочу вам высказать, — не знаю, правильно ли я рассуждаю... конечно, своим темным умом. Конечно, наше правительство должно отменить... там — завоевания чужих земель. А нельзя ли так, чтобы прямо нам по телеграфу обратиться в берлинский совет рабочих и солдатских депутатов...

«Рабочих и солдатских» — это странно и неуклюже звучало еще и в России. Я стал об'яснять, что такого учреждения, к несчастью, в Берлине нет. Оно могло бы явиться только с революцией, и тогда мир был бы обеспечен немедленно. Но солдат плохо верил и слушал с сомнением. Как это? — Германия, по его сведениям, передовая, обогнавшая Россию страна, и вдруг там нет совета рабочих и солдатских (конечно, и солдатских!) депутатов!..

Да, к несчастью, не было, — пока пролетариат отсталой мелкобуржуазной России воспрянул, залетал в неведомую высь, затем колебался, путался, изнемогал и падал в непосильной, неравной борьбе...

* * *

Итак, вторая половина марта была периодом напряженной всенародной борьбы за власть между плутократией и демократией. Это был период широкой всенародной кампании за обладание реальной

силой в государстве, за обладание реальной основой власти, за обладание армией. Обе стороны мобилизовали все свои силы.

На стороне демократии было то преимущество, что армия — это была демократия, стихийно тяготившая к своим собственным классовым организациям и, в процессе революции, довольно легко отделявшая себя от имущих классов; это в значительной степени «механически» закрепляло армию за ее выборным Советом. Но на стороне демократии был тот огромный минус, что ее политические лозунги, — необходимые в противовес боевым кличам буржуазии, необходимые для отпора ее ударным выступлениям, — были совершенно неоформлены; мало того, — в этом направлении силы демократии почти не мобилизовались. И в связи с об'ективно-необходимым стихийно-примитивным шовинизмом мужицких масс, «патриотическая» игра буржуазии на внешней опасности, игра, прикрывающая царистскую военную программу, грозила оторвать армию от Совета и подчинить ее плутократии. — Такова была «кон'юнктура», таковы были основные «условия» общественности в тот период. Таковы вместе с тем были внешние рамки, таков был об'ективный фон, на котором происходили в то же время внутренние события — в пределах Мариинского и Таврического дворцов.

В центрах революции — если угодно: за кулисами ее — дело было так.

* * *

20-го марта, по телефону из Мариинского дворца, «контактную» комиссию пригласили вечером пожаловать для переговоров. Я не помню, чтобы до сих

пор инициатива свиданья исходила от правительства. Очевидно, были серьезные дела... Вечером, Совет Министров был в полном составе и был «усилен» людьми из думского комитета. Кажется, впервые присутствовал Гучков. Но выступал он вообще не часто.

Оказались не столько серьезные дела, сколько *одно серьезное дело, сотканное из мелочей... Министры* чувствовали себя прочно укрепленными. В этот день они приняли долгожданный акт об отмене национальных и сословных ограничений, а накануне признали земельную реформу неотъемлемой проблемой революции (мы уже знакомы с этим «аграрным» постановлением).

Разговор начался с похорон, назначенных на 23 марта. Нас снова предупреждали о грозящих опасностях, снова ссылались на военные авторитеты, утверждавшие, что миллион людей нельзя пропустить в один день через один пункт. Приводили арифметические расчеты, совершенно убедительные: если бы одна непрерывная колонна, шириною в 25 чел., безостановочно двигалась, и каждый ее ряд миновал бы данный пункт в течение одной секунды, — то для миллиона людей потребовалось бы более 10 часов. Но это расчет совершенно не реальный: колонн будет много, между ними будут промежутки, иногда очень большие; в одну секунду каждый ряд не может уступить место другому: неизбежны остановки, заторы при самой идеальной организации и т. д... Мне кажется, возражать было не легко. Министры настойчиво предлагали сократить процессию до сотни тысяч человек или в этом роде, и в противном случае решительно уклонялись от всякой ответственности за возможные послед-

ствия. Мы обещали принять все сказанное во внимание и вновь допросить с пристрастием нашу «похоронную комиссию».

Но это было только начало разговора. Я не ручаюсь с полной достоверностью, было ли продолжение именно в этом заседании или в одном из ближайших. Но все же, кажется, я не ошибаюсь: после беседы о похоронах началось наступление по всему фронту.

Начинал большею частью Г. Е. Львов, в качестве председателя. Но обыкновенно он скоро и охотно уступал поле сражения другим. Вообще глава кабинета, судя по его партийному прошлому — и по его земской деятельности — далеко не был левым либералом (Милюков левее!). Но сейчас он, во-первых, стоял на левом фланге кабинета, а во-вторых, вообще производил впечатление человека очень мягкого, «идеалистически» настроенного, всегда жаждущего соглашения и готового на уступки. Твердый тон его был как-то не серьезен и принимался им больше по официальному положению, и по наущению коллег. Ни твердой руки, ни свойств «государственного» человека премьер Львов не обнаруживал. Он, несомненно, был жертвой в водовороте событий, в котором он был мало заметен; он, несомненно, тяготился своим премьерским креслом, заняв его без учета своих сил и свойств революции, и он ушел во-время, без шума, без передряги; его уход доставил ему облегчение, но не принес ни вреда, ни пользы ходу событий, как ему не принесло их и пребывание Львова «у власти»...

В «контактных» заседаниях премьер-Львов даже пустую словесную тяжбу быстро и охотно уступал коллегам. Речистый Керенский, в виду своего «осо-

бого» положения, также часто уклонялся от нее. И сейчас, в заседании 20 марта, наступление вели другие. Больше всех, вероятно, Терещенко, с которым мы уже познакомились. Но, пожалуй, действительным лидером в этих заседаниях, со стороны правительства, был левый кадет Некрасов, министр путей сообщения.

Я знаю, что это был левый министр, — не только левый политик в кабинете, но и левый администратор, который вызвал много нареканий за «синдикалистские» приемы управления, «распустившие» железнодорожников. Но я не знаю, был ли это хороший администратор и деловой министр. В качестве же политика он производил серьезное впечатление и обнаруживал свойства — если не «государственного человека», то государственного дельца. Он отлично схватывал положение, умел пойти ему навстречу, а затем уже обнаруживал и твердость руки. Практическая школа политики и зоркость глаза хорошо сочетались в нем с энергией и деловитостью. Как «государственный делец», Некрасов, несомненно, оставлял за собой две наиболее яркие фигуры первого кабинета, Керенского и Милюкова, из которых первый погибал от своего импрессионизма и «мессианства», а второй — был профессор. Но с точки зрения буржуазных верхов, Некрасов был молод, не авторитетен, а главное, непомерно лев и не годился в лидеры.

Довольно часто и всегда очень топорно принимал участие в наших скучных спорах еще один министр — Мануилов. Это был человек не выдающихся способностей, правый кадет, довольно неудачный бывший ректор московского университета, мало интересный экономист и бесплодный редактор «Русских Ве-

домостей». Его популярность, повидимому, в огромной степени основывается на том, что царский жандарм-профессор, Кассо, уволил его из университета, в чем, впрочем, сам Мануилов был ни сном, ни духом не виноват. В качестве министра просвещения этот человек также оказался ниже критики.

Если в этом заседании присутствовал Гучков, то и он принимал участие в наступлении. По всем данным, это — весьма выдающаяся фигура среди нашей плутократии. Бывший бурский доброволец, «младотурок» и воспреемник столыпинских военно-полевых судов, — он играл видную роль не только в политической фронде, но и в разных «комбинациях» и авантюрах высоких сфер — в последние годы царизма. Его авторитет среди верхов буржуазии был очень велик. Его организаторскими талантами коллеги Гучкова, особенно вначале, нам прожужжали уши. Но все же его политический вес — не в закулисно-придворных комбинациях, а на широкой свободной арене — для меня не ясен. Личные мои впечатления мало определенны. В «контактной» комиссии Гучков ни разу не развертывался — отчасти из презрения к каким-то «рабочим и солдатским депутатам», отчасти, видимо, потому, что развернуться перед нами было по меньшей мере невыгодно и неполитично. В контактной комиссии Гучков только мягким, елейным, вкрадчивым тоном ставил нам на вид все несчастья, проистекающие от нас или от нашего попустительства. Иногда же Гучков в контактных заседаниях, в прямом и буквальном смысле... проливал слезы, по крайней мере, усердно вытирал глаза платком. Во всяком случае, к нам, советским людям, он подходил крайне примитивно. Не осведомленный — не в пример Милюкову — в

делах социализма, он, видимо, серьезно рассчитывал взять нас голыми руками, и кроме этого никакой политической линии, схемы, разработанной позиции — уловить в его выступлениях было нельзя.

Несомненно, Гучков стоял на крайнем правом фланге кабинета. Потому он раньше всех, не в пример кадетам и совершенно «добровольно» (ведь Милюкова — «ушли»!) вышел в отставку. Может быть, он не вынес положения дел и советской «тираннии» — именно в качестве самого правого члена кабинета; а может быть, признав положение в данный момент безнадежным, он совершил «тонкий», политически рассчитанный шаг... Не знаю. Достаточных впечатлений не имею. Но несколько встреч с Гучковым мы еще будем иметь в дальнейшем.

Выступал иногда и Милюков, пожалуй, даже не редко; но вообще он очень скучал и оживлялся только тогда, когда дело доходило до внешней политики.

Министры заговорили о положении в армии. Эти речи, обвинения и жалобы продолжались и впредь, в других заседаниях, а потому не важно, если я ошибаюсь в дате и составе ораторов. На эту тему вообще в контактной комиссии говорили так много, что все успели здесь испробовать свое красноречие — и с министерской, и с советской стороны. Кажется, именно в это заседание министры взялись за армию вплотную.

Правда, поездка в Ставку дала сравнительно благоприятные результаты. Армия оправляется от первой встряски, и ее боеспособность увеличилась в сравнении с первыми днями. Но многое говорит за то, что это лишь временное явление. Ибо агитация крайних левых — налицо; призывы к неповиновению со стороны советских партий имеют место;

попытки самочинной коренной реорганизации под дулом неприятеля наблюдаются нередко; офицеры третируются, иногда изгоняются; подрыв дисциплины и дезорганизация, под предлогом борьбы с завоевательными целями, во всяком случае, начались и об'ясняются не случайностью, но ведутся планомерно «известными элементами». Муссируемые толки о мире, агитация за немедленное прекращение войны, да еще путем братанья — действуют разлагающе. — Все это может иметь роковые последствия. Правительство, при таких условиях, не может нести на себе ответственность. Совет же, если не виновен во всем активно, то виновен в попустительстве. Он обязан принять самые энергичные меры. Ведь его же первые «приказы» внесли первоначальную смуту, которая теперь только развивается. Ведь Совет положил начало «реорганизации», которая из тыла естественно перекинулась на фронт, и там грозит самыми страшными последствиями. Совет же внес смятение делом о присяге... На Совете вся ответственность и на нем — обязанность положить всему этому конец.

Министры обвиняли, и они требовали от нас в упор, непосредственно того же самого, чего требовала всенародно вся буржуазия в развернутой ею кампании... Конечно, во многом мы могли сойтись. Сепаратная реорганизация, изгнание офицеров, злонамеренный подрыв дисциплины — все это были наши собственные враги, с которыми мы давно боролись. Мы обещали это и впредь.

Но это, по существу дела, были частности: ведь по существу требовалось, чтобы Совет и социалистические партии совершенно не касались армии, оставили ее в покое, устранили бы оттуда активно

все влияния, кроме официальной власти, утвердили бы и поддержали принцип единовластия существующего правительства, уже зарывающегося в противонародной, гибельной для революции империалистской политике. Это означало (и это, собственно, требовалось) полное самоупразднение Совета, полную капитуляцию демократии на милость ее классовых врагов и добровольное утверждение диктатуры капитала, «как в великих демократиях Запада».

Нет, поставить крест на революции своими руками мы не могли. Разговоры в этой плоскости были бесплодны, и мелкая полемика, по обыкновению, кончилась ничем.

Пошли дальше... Дальше было положение дела на заводах. Работа на оборону страдала. Министрам известно было не только это. Они знали и то, что Совет принимает все меры, прилагает все усилия к обеспечению полного хода работ. Никакие требования Советом не форсировались и самостоятельно не выдвигались (включая и 8-часовой рабочий день). Все самочинные выступления энергично пресекались. Больше ничего сделать было нельзя.

Министры это знали. Но перед ними была революция, а им надо было ее кончить... Революция продолжается — это об'ективно правильное и суб'ективное для нас обязательное, неот'емлемое слово повергало министров в величайшее волнение и возмущение! Как! они, либералы и радикалы у власти, а революция продолжается?.. Разговоры о сути дела были бесплодны. Но о незначащих пустяках, о принятии дальнейших мер на заводах нетрудно было достигнуть «контакта».

Наступление, однако, было по всему фронту. Заговорил Шингарев — с «Известиями» в руках...

Шингарев был превосходным деловым министром — со знанием, с огромной энергией, с твердостью и авторитетом. В качестве же политика, этот даровитый человек вполне шел на поводу у Милюкова и его Дарданелл. Шингарев был п р а в ы м министром, был яростным врагом советской демократии и говорил с нами, в «контактной комиссии», голосом, дрожащим от волнения и негодования. Непонятно, как этот вечный работник на земской, демократической ниве, культурный и честный, мог дойти до такого законченного «мировоззрения» крупного капитала. И непонятно, как этот гуманный человек мог спуститься до резких, кричащих проявлений анти-немецкого шовинизма, каких мне пришлось быть свидетелем. Может быть, здесь было не только «мировоззрение», но и непосильный психический шок от войны?.. Во всяком случае его замкнутость в «идеологии» Милюкова, отсутствие гибкости и спокойного, об'ективного учета сил, развернувшихся на арене революции, — не помогли Шингареву. Не помогли не в деле спасения революции, — это дело было Шингареву чужое, — а в деле укрепления буржуазной диктатуры, как в «демократиях запада».

Шингарев заговорил об аграрных делах. В «Известиях» что-то проскользнуло о конфискации земель. Шингарев обрушился на это со всей силой. Прежде всего — это гибель для продовольственного дела. Яровые посевы неизбежно резко сократятся под влиянием таких слухов. Он уже получает сведения, что они сокращаются и без того, особенно на юге, особенно специальные культуры, и в частности, свекла (Шингарев произносил: свекла̀). Поднимая вопрос о конфискации или поддерживая такого рода поползновения, Совет наносит удар на-

сущному делу продовольствия и всей стране... А затем, — ведь аграрная реформа уже поставлена на очередь. Шингарев еще не знает ее конкретных очертаний, но это, в общем, будет национализация земли в духе социалистических партий. О чем беспокоиться, зачем муссировать это дело и вообще касаться его, нарушая планомерность работ, подрывая авторитет правительства?

Куда же вообще все это идет? К чему все это ведет? В каком положении находится власть? Может ли она «управлять» и спокойно работать в труднейших условиях над труднейшими задачами! А тут еще совершенно официально в Совете заявляется, что правительство они поддерживают постольку, — поскольку...

Здесь Шингарев пошел уже дальше, чем следует, и был остановлен Милюковым, который заявил, что «это соответствует нашему соглашению»...

Шингарев, при напряженном внимании зала, изложил, можно сказать, излил общий взгляд кабинета на создавшееся положение дел, на развертывающуюся революцию, на самоуправство и «тираннию» Совета, на «двоевластие»...

В некоторых отношениях мы опять-таки вполне сочувствовали министрам, признавая иные явления нежелательными и вредными. Но опять-таки это были частности. Относительно общего хода революции, относительно задач цензовой власти и демократического Совета мы не могли сговориться. И разговор был, попрежнему, бесплоден. Беседа иссякла — в тягостной, напряженной атмосфере.

Эта атмосфера не рассеялась, когда мы перешли к нашим, советским вопросам и несколько поменялись ролями. Впрочем, у нас были случайные во-

просы, конкретного характера, хотя весьма существенного значения.

Почему в Европу не пускаются наши газеты? Почему из Европы не выпускаются наши товарищи-эмигранты? Хуже того — на каком основании производится отбор эмигрантов-социалистов, подлежащих и не подлежащих отправке в Россию?... Милюков делал большие глаза. Ничего подобного, чистейшее недоразумение! Возможно, что услужливые агенты и технические препятствия возымели здесь силу. Но немедленно будут приняты особые меры... Милюков ссылался на свои, на днях опубликованные инструкции заграничным представителям министерства.

Но ни инструкции эти нисколько не помогали, но особые меры результатов не имели. Дело с газетами, а особенно с эмигрантами оставалось в прежнем положении еще долго. Союзные правительства, с соизволения, при одобрении или по просьбе Милюкова, попрежнему не пускали в Россию эмигрантов «пораженческого» образа мыслей. Мартов и его ближайшие товарищи уже в мае, уже при коалиции, потеряв все надежды выбраться лойяльным и естественным путем — принуждены были ехать через Германию, в запломбированном вагоне.

Мы стали прощаться. Напряженность атмосферы остро чувствовалась всеми. Атмосфера эта должна была разрядиться. Кризис, обозначившийся с достаточной остротой, должен был разрешиться в ближайшем будущем — в том или ином смысле: либо должен был наметиться действительный внутренний, основной контакт, классовое сотрудничество по всему фронту вместо классовой борьбы, либо... В этот вечер министры, мимоходом, уже говорили о

своей отставке, прибавляя: «тогда» берите сами власть.

Я спускался по лестнице и вышел на под'езд вместе с мрачным, молчавшим весь вечер Керенским.

— Положение очень тяжелое, — говорил он, — они уйдут... Я знаю, что я говорю: они уйдут.

О нет! Этому я не верил ни на секунду, ни на иоту.

— Послушайте, — закричал мне Керенский, садясь в автомобиль. — Я завтракаю от часа до двух, у себя на квартире в министерстве...

Но я уже не пошел завтракать к Керенскому. Я слышал потом, что за этими завтраками собирались люди из очень далеких мне сфер.

Меня же подвез до Карповки в своем автомобиле «общественный градоначальник», Юревич. Он был в заседании для участия в разговорах о похоронах... Наш автомобиль останавливался несколько раз; несмотря на позднюю глухую ночь милиция бодрствовала. Порядок был полный. За три недели, разрушив до основания старый царский административный аппарат, революция сумела создать новый безупречный порядок.

* * *

Вопрос об «упорядочении наших военных лозунгов» все еще не был поставлен в порядок дня Исп. Комитета. По крайней мере, до него не доходило дело. Это было уже нестерпимо. Я усиленно агитировал по кулуарам среди левых, но не без успеха обращался и к некоторым оборонцам.

Чтобы оказать давление на президиум и вообще двинуть дело, я стал до обсуждения вопроса соби-

рать подписи под резолюцией, которую составили мы с Лариным. Резолюция, как я упоминал, кратко гласила об открытии Советом широкой всенародной кампании в пользу мира — на основе манифеста 14-го марта, во исполнение данных в нем обязательств... Резолюцию подписали большевики, прочие циммервальдцы, сомнительной левизны люди, как Н. Д. Соколов; подписали резолюцию и бундовцы — Эрлих и (страшно сказать!) Либер. Но не подписал ее Стеклов: положение было неустойчиво, он ждал, когда оно определится... Всего подписей под резолюцией было собрано 16 или 17 (я это утверждаю категорически: 17-й, кажется, присоединился перед самым заседанием). Это было близко к половине наличных членов Исп. Комитета.

21-го марта днем вопрос был поставлен на повестку... Это был «большой день». Все хорошо оценивали принципиальную важность и практическое значение вопроса. Но едва ли кто сознавал тогда, что это заседание будет переломным моментом во всей политике Совета, — мало того: во всем дальнейшем ходе революции.

Кажется, не накануне, а именно в этот день, утром, я увидел в Исп. Комитете высокого, худощавого, волоокого кавказца — с озабоченным видом и угловатыми движениями. На вопрос, кто это новое лицо, я получил ответ: это Церетели... Мы заочно достаточно знали друг друга. Ведь Церетели был также «циммервальдец» и читал мои писания. Я же знал его не только как втородумца и знаменитого борца со Столыпиным, но и много был наслышан об его жизни и роли в сибирской ссылке. Оттуда он однажды прислал мне в «Современник» статью. Она была слишком велика и заведомо не

могла появиться по этой причине; это было скорее книга, а «Современник» дышал на ладан. Но я прочитал рукопись; она, кажется, не вызвала во мне большого интереса. Церетели не только не писатель, но и вообще не теоретик. В этом отношении Церетели является блестящим исключением из правила: все наши первоклассные партийные социалистические лидеры (я оставляю в стороне Керенского) вместе с тем писатели и теоретики движения...

Это исключительное положение Церетели, впрочем, ни в какой мере не помешало ему стать звездой первой величины в нашей революции. Отныне его именем будут достаточно наполнены мои записки, и мы не будем спешить войти с ним в близкое предварительное знакомство. Познакомимся с ним на деле, будем судить по делам.

Лично до тех пор не знакомый, я почему-то не подошел приветствовать Церетели и представиться ему. Не могу об'яснить, что мною руководило; но я также впервые познакомился с ним в «деле 21-го марта»...

Из приехавших с ним втородумцев я помню, и то впоследствии, а не сейчас, одного Анисимова. Это — бывший сельский учитель, хороший практический работник, но политически совершенно не интересный; сначала он было потянулся влево, к циммервальдцам, но скоро перекинулся к правому большинству, достиг в своей правизне и шовинизме невыносимых ступеней и усиленно «выдвигался» новыми советскими лидерами. Он был впоследствии «выдвинут» на пост товарища председателя Совета; это было не более как шокирующим жестом всесильного большинства, которое может позволить себе все, что пожелает...

Других втородумцев я не помню. Но именно в это время в Исп. Комитете появились еще бывшие думские депутаты: большевики Бадаев, Шагов и кто-то еще, а затем меньшевик Чхенкели. Все они получили в Исп. Комитете совещательный голос. Но кроме Церетели никто из них не играл видной роли в революции.

* * *

Заседание было очень многолюдным. Сидели по двое на многих стульях и лепились стоя по стенам. «Циммервальдский блок» был весь мобилизован и насчитывал немногим менее половины решающих голосов. Каменев все еще не появлялся в Исп. Ком. и в этом заседании не участвовал; если не ошибаюсь — большевики от своего Ц. К. прислали Сталина... Как ни важным представляется мне это заседание, но подробностей его я не помню. Протокол, вероятно, воспроизвел бы передо мной полную картину его. Помню же я о нем вот что.

Как «инициатору» или «докладчику» или «первому подписавшему» поданную в президиум бумагу — Чхеидзе предоставил мне первое слово... Я расшифровал нашу резолюцию и изложил, «чего я хочу». Я ссылался на манифест 14-го марта; напоминал о данных обязательствах внутренней борьбы за мир; обвинял Чхеидзе в незаконном публичном толковании манифеста, означающем капитуляцию перед империализмом Милюкова и союзников; обращал внимание на мобилизацию всех буржуазных сил под лозунгами «война до конца»; указывал на официальные заявления Вр. Правительства; и, наконец, требо-

вал, чтобы Совет начал планомерную, широкую, всенародную кампанию в пользу мира и мобилизовал под лозунгами мира пролетариат и гарнизон столицы.

Что касается этих лозунгов, то первым из них должен быть официальный отказ революционной России от царской военной программы, изложенной первоначально в известном «ответе» союзников Вильсону (в декабре 1915) и недавно развитой министром Милюковым в качестве программы революции. А затем — совместное с союзниками открытое выступление — с предложением мира на основе формулы: без аннексий и контрибуций...

Мои предложения я комментировал в том смысле, что сложившаяся сейчас кон'юнктура угрожает революции величайшими опасностями, увлекая ее в войну без конца, предвещая и военный разгром, и голод, и полную хозяйственную разруху. Между тем, мирные выступления демократии, имея величайшее значение и для нашей революции, и для международного пролетариата, не сопряжены ни с малейшим риском ослабления фронта и подрыва обороны революции от военного разгрома. Напротив, мирные выступления России, очистив в глазах масс войну от всяких примесей империализма, только укрепят фронт, спаяют солдатские массы в борьбе с внешней опасностью — на случай, если наши мирные выступления не достигнут цели. Только тогда армия будет знать, что она действительно проливает кровь за революцию и свободу, и только тогда защита их будет обеспечена.

Но — я выражал уверенность в том, что наши мирные выступления принесут реальные плоды, что они будут поддержаны германским пролетариатом,

что мы подорвем ими бургфриден во враждебной коалиции, и общими усилиями со всем пролетариатом Европы — мы достигнем демократического мира. Я говорил, что на эту точку зрения должны стать и оборонцы; ибо это не только путь ко всеобщему миру, это не только путь Интернационала, но и действительного патриотизма, это наиболее надежный путь к национальной защите, к действительной обороне страны.

Все эти довольно простые соображения я потом, в течение целого полугодия, десятки, если не сотни раз развивал устно и печатно... Но я не думаю, чтобы в данном заседании мое выступление было удачно, хорошо построено, толково изложено, вообще убедительно. Это не мешало ему вызвать большое возбуждение.

После меня на ту же тему говорил Ларин, затем помню Гриневича, Стучку, Юренева, — вообще «циммервальдский блок» усердно записывался к слову. Но говорить в защиту «мирной кампании» левые предпочитали после речей оппонентов... И оппонент не заставил себя ждать.

Это было первое выступление Церетели, — и оно, конечно, стало в центре дальнейших дебатов.

Стоя, по обыкновению, в пол-оборота к противнику и глядя ему в грудь, Церетели обрушился на меня со всей силой и страстью. Он волновался и был полон негодования, — в таких случаях его прекрасный голос звенел, а поперек лба вздувалась синяя жила. Церетели, в укор мне, также ссылался на манифест 14-го марта, который он прочел в дороге, как «благовест, подсказанный гением революции»; он попрекал меня моими брошюрами, где я обнаруживал понимание того, что ныне мне стало

недоступно; сейчас же мое выступление, как и предложенную резолюцию, он считал нелепым недоразумением и пагубной затеей.

Долгое время я слушал филиппику, не понимая, в чем дело. Но Церетели, наконец, об'яснился. Он недоумевал и негодовал по поводу того, что ни в резолюции, ни в «докладе» нет ни слова о вооруженном отпоре внешнему врагу, о поддержке армии, о работе на оборону в тылу, о мобилизации «всех живых сил» на защиту революции от внешнего разгрома.

Казалось бы, спор действительно можно было считать основанным на недоразумении. О поддержке армии, о дисциплине и боеспособности, о работе на оборону и об отпоре внешнему врагу, — мы ежедневно говорили и всегда заботились совершенно достаточно. По этим вопросам в Исп. Комитете уже существовал твердо установленный взгляд, который мог бы вполне удовлетворить Церетели. Как новый человек, не бывший в курсе комитетских течений, Церетели впал в естественное недоразумение и заговорил невпопад о вооруженной обороне, когда на очереди стоял другой вопрос — о способах борьбы за мир... Казалось бы, речь Церетели можно было считать не возражением, а продолжением того, что говорилось мною и другими. И тогда это соединение борьбы за мир с поддержкой боеспособности армии давало бы в результате общую позицию Совета по отношению к войне, вытекающую из манифеста 14-го марта.

Однако, дело обстояло не так. Весь характер выступления Церетели был иной и на всех произвел совсем иное впечатление. «Циммервальдец» Церетели не только перенес весь центр тяжести на сто-

рону вооруженной обороны, но совершенно устранял, как несущественный и нежелательный момент — внутренние политические выступления в пользу мира, т. е. выбрасывал целиком все специфическое содержание циммервальда. И именно в этом смысле он предложил практическую резолюцию вместо моей: о мирных выступлениях там не было ни слова, а был призыв к мобилизации тыла и фронта на дело обороны.

Таких резких и прямолинейных выступлений в этом смысле у нас доселе не бывало: даже наш крайний правый фланг умел «применяться» к господствующему циммервальдскому течению. Громовое выступление авторитетнейшего «циммервальдца» с законченным и прямолинейным оборончеством было неожиданно, необ'яснимо и, конечно, ошеломляло всех... «Мамелюки» встрепенулись. А чуть ли не вся левая половина собрания запросила слова. Взволнованный Чхеидзе, не знающий, куда направить свои мысли и чувства, кричал:

— Я прошу, пожалуйста, подавать записки! Я не могу всех помнить! Не подавший записки, не получит слова!

Начались долгие бурные прения. Я помню, однако, больше правых ораторов. «Мамелюки» сразу почувствовали новую «кон'юнктуру» в Исп. Комитете. Они сразу увидели: вот кого им недоставало, чтобы княжить и володеть ими, чтобы сплотить их в целостную группу, чтобы образовать из них новое советское большинство, чтобы задавить нечленораздельной массой мужиков и обывателей гегемонию кучки «пораженцев», чтобы говорить от лица советской демократии, от имени всей революции! Им недоставало знаменитого социалдемократа, сибирского

«циммервальдца» Церетели... Он поведет за собой меньшевиков-оборонцев и, конечно, социалдемократов «болота». Не его вина, а его удача, если серая и интеллигентская солдатчина составит для него пьедестал. Они на это готовы! И если у этого социалдемократа нет и не может быть иного, настоящего, пролетарского пьедестала, то тем больше оснований им чувствовать себя героями дня.

Мамелюки встрепенулись. Я не помню выступлений «марксистов-оборонцев», в частности, Либера и Эрлиха, подписавших левую резолюцию. Не помню также, говорил ли что-нибудь наш президиум — болотные Чхеидзе и Скобелев. Но восторг мамелюков чрезвычайно возрос, когда в поддержку Церетели, против мирных выступлений, заговорил Стеклов. Это было также совершенно неожиданно. Правые окончательно чувствовали себя победителями... Крикам негодования и издевательствам слева не было конца.

Правые на все лады разыгрывали тему о «несвоевременности», о непатриотичности, об опасности для фронта, о пользе для одних немцев — борьбы за мир внутри революционной России. Помню, «профессор фортификации» Станкевич говорил о том, что солдат, существующий для войны, вообще никак не может, ни в каких случаях не должен произносить слова мир. А нам предлагают, чтобы солдаты участвовали в мирной кампании!..

Особенно много говорили о позиции германской социал-демократии, которая ничего не делает для мира, а защищает деспота Вильгельма. А нам предлагают внутреннюю борьбу за мир при господстве демократии! Вообще Церетели развязал языки. Море обывательской пошлости, заимствованной из буль-

варных газет, переливалось через край в Исп. Комитете...

В разгаре прений Брамсон потребовал слова для «внеочередного заявления». Несмотря на протесты, Брамсон, хотя и не получил слова, успел все же, в высшей степени «кстати» сообщить о тяжелом поражении, только что полученном нашими войсками. Это было дело на Стоходе... Самому настоящему «пораженческому» злорадству правых и их «патриотическому» негодованию на циммервальдцев — не было пределов...

Закончить прения в этот же день оказывалось невозможным. Было решено продолжить их завтра... Я успел, однако, в тот же день еще раз воспользоваться словом. Идя навстречу Церетели, я об'яснял, почему в левой резолюции затронута только одна сторона «военной» проблемы: оборона революции для нас сама собой разумеется, и мы уже прилагаем к ней усилия; для борьбы же за мир не сделано ничего, и именно это стало очередной, насущной проблемой... Когда мне не хватило 10 минут, раздались голоса, требующие увеличения моего срока, как «докладчика». По этому поводу Либер заявил, что, подписав левую резолюцию, он тем не менее, подобно некоторым другим, совершенно не уполномочивал меня выступать докладчиком от имени какой-либо группы. Это было совершенно верно. Докладчиком от группы подписавших я не был. И срока речи мне, между прочим, не продлили.

Заседание 21-го марта было достойно заключено выступлением Н. В. Чайковского.

— Я слышал тут много речей, — сказал маститый бывший революционер, в настоящем «кооператор», а в будущем бутафорский премьер бутафор-

ского архангельского правительства. — Но только один оратор стоит здесь на государственной точке зрения. Это — товарищ Церетели... Тут нам говорят о мире, когда враг занял десятки наших губерний. Сначала мы должны сломить бронированный кулак и осуществить великие цели, поставленные нашими союзниками. Нам говорят о завоеваниях, об Армении, о Дарданеллах. Да какие же это завоевания? Разве это завоевания? Это... небольшое разве только округление. Только и всего... Единственно приемлемая точка зрения это — товарища Церетели...

Неистовый, искренний хохот, поднявшийся слева, несколько смутил опьяненную успехами правую половину. Трудовики вскоре после этого отставили Чайковского. Но сейчас его выступление, поставившее все точки на и, не могло серьезно нарушить победного торжества мамелюков. Возбужденные, радостные, с нежданно-свалившимся лидером, с новыми чарующими перспективами — они долго не расходились, обменивались впечатлениями и предавались сладким мечтам.

Уходя из дворца, я случайно, в канцелярии, встретил Церетели, устало и мрачно сидевшего на стуле, в шубе, в ожидании кого-то из товарищей. Вероятно, он видел, что в конце концов что-то не ладно. Он обратился ко мне:

— Так вы не поддерживаете мою резолюцию?..

— Нет, не поддерживаю, — ответил я, и хотел продолжить мое об'яснение — в том смысле, что его резолюция, правильная по существу, охватывает только половину вопроса и при том менее важную в данный момент.

Но Церетели решительно не хотел меня слушать.

— Ах, не поддерживаете! — довольно странным тоном произнес он и чуть ли не отвернулся, сделав вид, что все остальное ему ясно без об'яснений.

— Однако, это довольно неприятный суб'ект! — подумал я, выходя на улицу с самыми мрачными мыслями по поводу всего происшедшего.

* * *

На другой день, перед заседанием, Церетели подошел ко мне с бумагой в руках.

— А знаете, — сказал он, — я пришел к выводу, что наши резолюции можно соединить. Я вчера многое неправильно понял, и нахожу, что обе части должны быть в резолюции, — и военная защита, и борьба за мир. Вот посмотрите, я составил резолюцию из обеих частей, и думаю, что она может быть приемлема для огромного большинства.

Одна неожиданность за другой! Что это, — действительно ли опытный политик попался каким-то образом в просак, а искренний человек прямо и просто сознается в этом, открыто капитулируя и зачеркивая все содеянное? Или это — дипломатический ход?.. Я взял резолюцию. Она действительно состояла из «обеих частей»: в ней говорилось и о необходимых шагах в пользу мира, и о поддержке вооруженного отпора внешнему врагу. После небольших поправок, она была приемлема по существу. За нее можно было голосовать. Но она не заменяла нашей вчерашней резолюции: ибо в ней отсутствовали конкретные директивы относительно всенародной мирной кампании. Я отдал резолюцию Ларину, большому мастеру по этой части, и предложил ему выработать окончательный текст, приемлемый для

обеих сторон. Ларин действительно и сделал это вместе с Церетели.

Началось заседание. Началось, во-первых, под впечатлением Стохода. Затем последовали дружные заявления от правых групп — о том, что их партийные центры, обсудив вчерашние выступления в пользу мирной кампании в Исп. Комитете, с своей стороны, поручили высказать свое резко отрицательное отношение к такого рода плану. То же заявил и Филипповский от имени представляемого им «совета офицерских депутатов»: «несвоевременно и неуместно».

Церетели взял слово, чтобы предложить новую резолюцию, и более или менее определенно признал ту ошибку, в какую он впал вчера. Новая резолюция, исходящая от Ларина и Церетели, была действительно по существу приемлема для левого крыла, по крайней мере, для большинства его...

Собрание было снова в полном недоумении. Ораторы слева начинали с того, что они записались вчера для возражений Церетели, но сейчас в этом нет нужды. Правая же часть, не мало разочарованная, продолжала полемику с пораженчеством. В виду академического характера прений, они были скоро прекращены. Резолюция Ларина-Церетели была принята огромным большинством. Поставленный первоначально вопрос об «упорядочении наших военных лозунгов» как будто исчерпывался. Но вот тут то и сказалась «дипломатия».

Ведь эта резолюция о «мирных шагах» носила также вполне академический характер. Она ни к чему не обязывала ни Вр. Правительство, ни Исп. Комитет, ни всю советскую демократию. Она была правильна по существу, но не имела никакого практического

значения. Конечно, вопрос, стоявший в центре всей политической кон'юнктуры, не мог быть «исчерпан» этой резолюцией. И так оставить дело было нельзя.

Вопрос о немедленных практических шагах Совета не только не исключался этой резолюцией, но продолжал ее и мог быть поднят именно на ее основе. В частности, это мог быть вопрос о той же всенародной мирной кампании. И вопрос этот был сейчас же поставлен. Левая, в дополнение к принятой резолюции, требовала официального постановления о кампании в пользу мира. И тогда Церетели, в противовес этому, внес другое предложение: кампания может быть открыта в любой момент, но сейчас в ней нет никакой нужды; сейчас Исп. Комитет в лице своей контактной комиссии, должен обратиться к Вр. Правительству с требованием официального заявления об отказе новой России от всяких завоеваний и контрибуций.

Обсуждения этих двух предложений уже не было или почти не было. Значительное большинство голосов собрало предложение Церетели.

* * *

Это постановление, сделанное голосами нового большинства, имело огромное значение, которое вполне оценить можно было только впоследствии. Для нового большинства это постановление, конечно, было компромиссом: еще только вчера оно надеялось совсем провалить вопрос о мире. Но для советского циммервальда, для всей советской политики, для всей революции — этот вотум был тяжким уроном.

Вопрос о мире был из'ят из плоскости б о р ь б ы и был передан в плоскость келейного соглашения без всякого участия масс. Правда, теоретически говоря, к борьбе можно было всегда вернуться. Но практически не для того образовалось новое большинство, и не для того оно сейчас уклонилось от апелляции к революционной демократии, чтобы завтра вернуться к мобилизации демократических сил для борьбы с буржуазией. Нет, это был особый, специфический метод действия, вытекавший из существа дела, из природы действующих групп, из положения нового, мелкобуржуазного большинства между пролетариатом и плутократией.

Дипломатия была ныне признана орудием мирной политики революции — без надежды чем-либо подкрепить советское дипломатическое искусство. Контактная комиссия была призвана противостать всей огромной мобилизации сил со стороны буржуазии. Все это имело высокую принципиальную важность. И этот двуединый факт — образованное новое большинство и отказ от апелляции к массам — имел неисчислимые последствия для всей истории революции.

Новое большинство возглавил, вместе с Церетели, наш болотный президиум, Чхеидзе и Скобелев, наконец, благополучно выведенные из неустойчивого равновесия. К новому большинству примкнул также (пока) Стеклов, пытавшийся составить одно целое с лидирующей группой; а затем к большинству присоединились, конечно, и несколько человек меньшевиков оборонцев. Но все эти руководители большинства «руководили» заведомо мелкобуржуазной, солдатско-интеллигентской массой и заведомо всецело опирались на нее.

Новое большинство пока еще далеко не было ни устойчиво, ни сильно, ни значительно. Именно потому оно и пошло на компромисс: Церетели вообще не любил компромиссов (в Совете, налево), и вышеописанные экивоки, на почве незнакомства с ситуацией, совсем не характерны для него... Меньшинство, возглавляемое циммервальдцами без кавычек, было еще очень велико, достаточно влиятельно и сильно давало себя знать в ближайшие недели. Но оно было уже меньшинством. Циммервальдская группа, начавшая революцию (не говоря о Стеклове), была уже «не у власти» и уже не отвечала за курс советской политики.

* * *

Постановлением 22-го марта «контактной комиссии» было поручено добыть официальный отказ Вр. Правительства от завоевательной политики. Надо было выполнить это постановление... В этот день мы, однако, не могли добиться свиданья с советом министров. На другой же день, 23-го, были похороны жертв революции. Свидание было назначено на вечер 24-го.

Будет слишком слабо сказать, что похороны прошли блестяще. Это был грандиозный, захватывающий триумф революции и самих создавших ее масс. Что касается размеров манифестации, то они превзошли все когда-либо виденное доселе. Наблюдавший ее из своего посольства г. Бьюкенен [1]) категорически утверждал, что ничего подобного никогда не видела Европа.

[1]) Английское посольство выходит окнами на Марсово Поле и на набережную Невы.

Но количественная сторона не была важнейшей в знаменательный день 23-го марта. На этот раз вся пресса без исключения должна была преклониться перед тем уровнем гражданственности, какой проявили народные массы, на этом величественном смотру духовным силам революции... Все опасения оказались напрасными... Несмотря на невиданное доселе число манифестантов, несомненно достигавшее миллиона, порядок был не только безупречный, но — по словам того же г. Бьюкенена — «невероятный». Каким-то чудом миллион людей, с бесчисленными знаменами, с оркестрами, все-таки прошел — с раннего утра до позднего вечера — по Марсову Полю и проводил до братских могил тела павших товарищей... Это были не похороны, а великое, ничем не омраченное народное торжество, о котором надолго осталась какая-то б л а г о д а р н а я память у всех участников.

Я лично не участвовал в нем, как в большинстве подобных манифестаций. Может быть, я был занят в этот день «Новой Жизнью», а может быть я воспользовался для отдыха тем первым днем, когда в Таврическом дворце не было решительно никаких работ. Но я выслушал немало рассказов, о том, что это был за удивительный смотр революционным массам. Да, с такими «массами», правильно направляя их волю, можно было достигнуть поистине великих, еще неслыханных побед... Но...

* * *

Вечером, в пятницу, 24-го, мы стали собираться в заседание «контактной комиссии» в Мариинский дворец. В этот день я выступал перед фронтовыми

делегатами (в кабинете Родзянки) и предложил им усилить своим представителем нашу «контактную комиссию» в сегодняшних переговорах. Депутат был выбран; но я совершенно не помню, ездил ли он с нами и присутствовал ли он в заседании.

Но когда собрались мы, пятеро (Чхеидзе, Скобелев, Стеклов, Филипповский и я), то к нам присоединился Церетели и выразил желание принять участие в переговорах. Он выразил сомнение в своих формальных правах, спрашивая, следует ли предварительно адресоваться к Исп. Комитету. Но это, конечно, были пустяки. Такие права (хотя бы только на сегодняшнее заседание) он всегда получить мог — при создавшемся положении; контактная же комиссия имела полную возможность кооптировать Церетели (как она впоследствии кооптировала и Чернова); и вообще тут спорить было не о чем... Мы поехали вшестером.

Совет министров был, если не в полном, то почти в полном составе. Мы приступили к делу — после приветствий и комплиментов вновь прибывшему Церетели... Я не помню, говорил ли Церетели в качестве «докладчика»; но во всяком случае больше всех говорил он. Я помню его весьма «дипломатические» речи.

Церетели старался быть убедительным для министров и искал близкие им исходные точки. Такими точками было положение армии и тыла. Если в армии и в тылу, среди солдат и на заводах, дело обстоит не так хорошо, как было бы желательно, то это в значительной степени об'ясняется внешней политикой Вр. Правительства, его декларациями о войне до конца, на основании союзных обязательств, — об'ясняется заявлениями министра иностранных

дел и т. д. Все это сеет тревогу, недовольство, опасения в затяжном характере войны ради чуждых целей и ослабляет оборону на фронте, как и работу в тылу. Необходимо сделать официальное заявление об отказе от всяких целей войны, кроме обороны. Тогда не только механически улучшится общее положение: тогда Совет получит возможность развить всю энергию для поднятия тыла и фронта; тогда Совет мобилизует всех рабочих и солдат и заставит их положить все силы на дело защиты революции от внешнего врага.

Церетели особенно упирал на этот последний пункт, прельщая министров щедрой компенсацией... Тем не менее было очевидно, что такого рода наше выступление произвело на «кабинет» пренеприятное впечатление. Министры в прошлый раз начали дружное наступление и явно не прочь были его продолжать. Вместо того приходилось занимать оборонительные позиции...

Завязался нудный, тягучий, никчемный разговор. Кажется, первому пришлось, по необходимости, отвечать Г. Е. Львову... Завоевательные стремления? Помилуйте! Как можно думать о завоеваниях! Ведь неприятелем заняты наши кровные огромные области. Никаких правительственных заявлений так понять нельзя, по крайней мере, так понимать не следует. «Рабочие и солдатские депутаты», собственно, ломятся в открытую дверь, и, собственно, неизвестно чего требуют от правительства...

Подобные речи, смысл которых был, конечно, ясен всем нам — без различия направлений! — заняли много времени. Пришлось в конце концов по-простому об'яснить, что нужен всенародный документ. И чтобы в документе было сказано, что ни-

каких целей, кроме защиты от завоевателей, Россия отныне не преследует. Если это соответствует действительности и даже само собой разумеется, то тем легче выполнить наше требование и тем меньше оснований нам отказать...

Когда очередь дошла до Милюкова, то он прямо, ясно и категорически заявил, что такого документа он опубликовать не может и своей подписи на нем не даст... Но коллеги Милюкова смотрели на дело иначе. Возник опять долгий разговор, обнаруживший воочию значительную трещину в кабинете. Некоторые министры, как будто даже не особенно стесняясь в выражениях, спорили против Милюкова и говорили о том, что такой документ, напротив, вполне возможен, и что совет министров обсудит этот вопрос. Помнится, более других, обращаясь к нам, полемизировал с Милюковым Терещенко.

В конце концов мы на том и расстались, что правительство будет иметь суждение по поднятому вопросу и, вероятно, завтра же даст нам ответ... Трещина же в нашем первом революционном кабинете, к этому времени, действительно стала совершившимся фактом, на который следует обратить внимание.

В наших кругах уже было достаточно известно о начавшихся несогласиях. Мы уже видели, что Керенский и Некрасов печатно открещивались от заявлений Милюкова по внешней политике. Иначе, конечно, и быть не могло. Вопрос о целях войны не мог не послужить ближайшим источником разногласий в правительстве: это было естественным отражением различных течений в этом вопросе в различных группах буржуазии. Неистовый империализм Милюкова вообще должен был неизбежно

вызвать недовольство среди самих цензовиков; в связи же с данным положением дел, в связи с революционной встряской и разрухой, в связи с ненадежностью армии и возможностью поражения — проблема Дарданелл и Армении естественно стала казаться многим «несвоевременной и неуместной», утопичной и грозящей не малыми бедами «государственности и порядку».

В кабинете возникла оппозиция Милюкову, охватившая большинство министров. Образовалась левая семерка (против кадетов и Гучкова) в составе: обоих Львовых, Керенского, Некрасова, Терещенки, Коновалова и Годнева. — Сейчас именно эта семерка взялась изготовить требуемый нами документ, хотя бы и против Милюкова.

* * *

Когда я вышел из-за стола во время заседания, меня остановил Керенский и усадил рядом с собой в отдаленном конце комнаты. Керенский не принимал участия в переговорах. Он был так же взволнован и растерян, как в памятный вечер 1-го марта перед «учредительным» ночным заседанием в правом крыле Таврического дворца. Казалось, с тех пор прошел по меньшей мере год, а не три с половиной недели!.. И Керенский почти буквально повторил ту же сцену, что и тогда. Без всякой видимой причины, задыхаясь и выкрикивая слова, он снова заговорил о недоверии к нему, об агитации и кознях против него в Совете. И снова он производил впечатление в конец расстроенного человека, с больными нервами. Он говорил долго и несвязно, гово-

рил, не желая слушать и перебивая с полемикой при первой же попытке открыть рот.

Да я и не мог сказать ему решительно ничего утешительного. Я до сих пор храню к личности Керенского мои личные симпатии, и тогда был бы рад смягчить ту острую, болезненную неприятность, которую он испытывал. Но я мог только усилить ее, если бы мы могли основательно продолжать разговор. Кажется, я успел только сказать ему, что он должен немедленно явиться в Исп. Комитет.

Нас стали окликать, — мы мешали заседанию. Керенский вскочил и отошел от меня с дрожащей челюстью и блуждающими глазами...

* * *

На другой день, до позднего вечера никаких вестей из Мариинского дворца мы не получали... Утром 25-го не было заседания Исп. Комитета. Но когда я зашел в его аппартаменты, я застал там какое-то большое совещание с посторонними людьми: налицо был «общественный градоначальник», городской голова и разные другие лица — буржуазного и чернорабочего вида. Разбирался крайне острый вопрос о гужевом транспорте в столице. Ломовые извозчики требовали 8-ми часового рабочего дня и отказывались работать в праздники. Был еще ряд недоразумений с извозопромышленниками.

Это был один из непрерывных конфликтов, разбиравшихся денно и нощно в нашей комиссии труда. Но данный конфликт имел особую остроту. В районы не доставлялась и запаздывала мука, и это грозило голодом рабочим кварталам. Положение для совет-

ской комиссии было, как всегда в таких случаях, невыносимо трудное. Но было необходимо заставить ломовиков, которые были правы, немедленно приступить к работе и не прерывать ее. Требовался огромный авторитет и не меньшая убедительность.

Я постоял некоторое время и восхищенно слушал, как председательствовавший Богданов с железной твердостью вел собрание, медлительно и властно отводя аргументы сторон и формулируя непререкаемые директивы. Присутствовавшие администраторы и муниципалы, кажется, также с немалым пиететом следили за тем, как вершатся дела в Исп. Комитете.

Опасный конфликт с ломовыми извозчиками был ликвидирован, хотя и не сразу... Вообще работа на заводах, под влиянием начатой советской агитации, понемногу налаживалась. Если она не шла повсюду полным ходом, то здесь играли огромную роль независящие от рабочих обстоятельства — главным образом, отсутствие топлива и сырья... Это, конечно, отнюдь не ослабляло кампании против рабочих, против их невыносимой лени и их невыполнимых требований. Но кампания шла, независимо от положения дел на заводах, и здесь ничего поделать было нельзя. Не приглашать же было для «ревизии» заводов, вслед за агитируемыми солдатами, еще и агитирующих бульварных газетчиков и господ с Невского проспекта...

Во всяком случае я уверен, что Церетели не в меру широко рекламировал в Мариинском дворце значение нашего нового громоподобного призыва напрячь все силы в тылу для фронта. Что можно было сделать, делалось и без того: чего можно было достигнуть — ежедневно достигалось. Чего не дела-

лось и не достигалось, то едва ли было выполнимо и достижимо при помощи «призыва»... Обещанная компенсация за отказ от завоеваний была для тыла, пожалуй, слишком незначительной. Другое дело — воздействие на дух армии: здесь мог дать большие результаты отказ от всяких посторонних целей и твердое сознание борьбы за свободу, за землю, за добытые и будущие внутренние классовые завоевания.

* * *

В Исп. Комитете мы доложили о вчерашних переговорах и стали ждать... Опять неприятность с Керенским! Оказывается, накануне он освободил из-под ареста генерала Иванова, того самого, который в момент переворота двинул полки на Петербург и, согласно требованию Стеклова, должен был быть об'явлен вне закона... Кучки солдат возмущенно говорили об этом. Но и на сторонников самых мягких мер этот акт произвел сильное и неприятное впечатление.

Допустим даже, что этого господина следовало освободить. Но ведь не больше же было к тому оснований, чем для освобождения многих и многих, сидящих в Петропавловке и в других местах... Это был акт безудержного «генерал-прокурорского» произвола — во-первых. А затем ведь надо же считаться с психологией масс (да еще — избирателей, не так ли?), учитывающих характер преступления и болезненно реагировавших именно на Иванова. Если его следовало освободить, то следовало сначала убедить в этом. Иначе это была кричащая демонстрация перед массами — во-вторых.

В глазах многих эта «гуманная» выходка Керенского переполнила чашу. Министра «от демократии» стали громко требовать к ответу. Предлагали официально вызвать его в Исп. Комитет. Это требование уже было известно Керенскому, да и без всякого требования, казалось бы, нельзя было давно не сделать этого, — особенно получив сведения о недовольстве им, о недоверии и кознях. Но Керенский не желал знать Исп. Комитета.

Этого мало: на другой день, в воскресенье, 26-го кто-то вбежал в заседание и — полу-смеясь, полунегодуя — сообщил весть, от которой мы ахнули. Керенский явился в Таврический дворец, прошел прямо в «белый зал», где происходило заседание солдатской секции, произнес там речь, пожал бурю аплодисментов и уехал. Все это произошло несколько минут тому назад, когда на расстоянии нескольких сажен от «белого зала» происходило заседание Исп. Комитета. Это было уж из рук вон! А говорил Керенский в солдатской секции следующее (передо мной два совершенно тождественных отчета — «Рабочей Газеты» и «Русского Слова»).

— Товарищи, солдаты и офицеры! У меня не было раньше времени посетить представителей той среды, из которой я сам вышел. Я был все время занят своей работой и сегодня приехал вот по какому поводу. До сих пор у меня не было никаких недоразумений с вами, но сейчас распространяются слухи, распускаемые злонамеренными людьми, которые хотят положить грань между нами и внести разлад в демократическую среду... Уже в самом начале войны в закрытых заседаниях Г. Думы, я горячо настаивал на изменении солдатского устава,

на отмене чести (?!) и т. п. Я до изнеможения боролся за общечеловеческие права, и вот теперь в моих руках вся власть генерал-прокурора, и никто не может выйти из-под ареста без моего ведома и согласия (бурные аплодисменты).

По словам отчета, «министр говорит энергично, все более и более волнуясь»:

— В вашей среде раздавались нарекания. Я слышал, что здесь появляются люди, выражающие мне недоверие, упрекающие меня за послабления представителям старого строя. Я предупреждаю тех, кто так говорит, что я не позволю не доверять мне и в моем лице оскорблять всю русскую демократию. Я вас прошу или исключить меня из своей среды или безусловно мне доверять.

Дальше, об'яснив освобождение ген. Иванова его старостью и тяжелой болезнью, и об'яснив послабления некоторым Романовым тем, что «Дмитрий Павлович боролся с царизмом, подготовил заговор и убил Гришку Распутина», Керенский продолжал:

— Дело Вр. Правительства огромное и ответственное. Оно стоит за свободу, за право, за русскую независимость. Стоит до конца... Я не уйду с этого места, пока не закреплю уверенности, что никакого строя, кроме демократической республики, в России не будет (бурные аплодисменты, переходящие в овацию).

— Завтра 27 марта. Ровно месяц с того момента, как я ввел первую часть революционных войск в Таврический дворец. Я вошел в кабинет, как представитель ваших интересов. На днях появится документ о том, что Россия отказывается от всяких завоевательных стремлений... Я работаю из последних сил, пока мне доверяют и пока со мной от-

кровенны. И теперь, когда появились люди, желающие внести раздор в нашу среду, я должен вам заявить, что если вы хотите, я буду с вами работать, если не хотите, я уйду.

«Зал дрожит от аплодисментов. Раздаются возгласы: просим! верим! вся армия с вами! Когда овация стихает. Керенский раскланивается и продолжает»:

— Я пришел не оправдываться, а заявить, что я не позволю себе быть на подозрении. Я больше чем удовлетворен тем, что здесь было. До последних сил я буду работать для вашего блага, и если будут сомненья, придите ко мне днем и ночью, и мы с вами сговоримся.

«Керенского под шум приветствий подхватывают на руки и выносят из зала. Министр взволнован и едва держится на ногах. Кто-то подает стул. Керенский в изнеможении опускается»...

Я полагаю, что стоило воспроизвести эту сцену. Но я полагаю, что не стоит портить ее комментариями: весь «бонапарт» и так воспроизведен во всех красках. И ловкая высокого качества демагогия (исконная борьба за отмену «чести», ввод первого полка революции, документ от отказе от завоеваний); и превосходное «не потерплю» и «не позволю»; и злонамеренные люди, сеющие рознь «между нами», и оскорбление в лице оратора этими «личностями» всей демократии, — все превосходно. Больше всего от «бонапарта» здесь то, что по существу все сказанное — нелепо: по существу ни одному слову нельзя поверить, принять его в серьез, — но все смело и правильно рассчитано на неопровержимость и на успех в данной обстановке... Для настоящего бонапарта недостает пустяков: эле-

ментарного учета собственных сил и понимания общей кон'юнктуры.

«Злонамеренные личности», по поводу которых Керенский явился в солдатско-офицерскую, мужицко-обывательскую массу! Это кто такие? Ведь это те самые люди из Исп. Ком., которых он обошел на несколько сажен, приехав и уехав без ведома их, жаждавших свиданья. Да и что такое все это выступление «генерал-прокурора»? Ведь об'ективно, — это попытка опорочить «средостение»; ведь об'ективно — это попытка натравить «общественное мнение» на Исп. Комитет, в огромной своей части настроенный резко отрицательно к образу действий министра юстиции. О, это покушение с негодными средствами, эта попытка не опасна! Керенский не учитывал ни собственных сил, ни общей кон'юнктуры. Ведь не был же и не мог быть Керенский на деле «бонапартом»...

Не опасно, но интересно, характерно все это, и стоило воспроизвести эту сцену. Ведь перед нами еще месяцы великой революции, возглавляемой Керенским.

* * *

В то же воскресенье, 26-го, мы получили приглашение пожаловать вечером в Мариинский дворец — для переговоров «по вопросу, затронутому в прошлый раз». Мы отправились, — впрочем без Скобелева, который должен был выступать в грандиозном концерте, устроенном преображенцами в Мариинском театре. В то время была большая мода на «концерты-митинги» — политика в соединении со всеми видами (довольно сомнительного) искусства

и чуть ли не с танцами. Скобелев, помню, особенно энергично порхал тогда по эстрадам... В «контактное» заседание он прибыл позднее...

В этом заседании я совершенно не помню Керенского, но в общем оно было так же многолюдно и торжественно, как и два дня назад, — кажется, с участием Родзянки и думских людей.

Нам было об'явлено, что совет министров, по зрелом обсуждении, счел возможным удовлетворить желание Исп. Комитета и уже составил проект документа, об'являющего во всеобщее сведение об отсутствии всяких завоевательных стремлений у России. Премьер Львов действительно огласил документ, который держал в руках.

Документ был обращением Вр. Правительства к гражданам России. Ссылаясь на тяжелое наследство царизма и признавая государство в опасности, правительство решило прямо и открыто сказать народу всю правду. «Правда» эта заключалась собственно в следующей декларации о целях войны.

«Оборона во что бы то ни стало нашего собственного родного достояния и избавление страны от вторгнувшегося в наши пределы врага — первая насущная и жизненная задача наших воинов, защищающих свободу народа. Представляя воле народа в тесном единении с нашими союзниками окончательно разрешить все вопросы, связанные с мировой войной и ее окончанием, Вр. Правительство считает своим правом и долгом ныне же заявить, что дело свободной России не господство над другими народами, не отнятие у них национального их достояния, но утверждение прочного мира на основе самоопределения народов. Русский народ не добивается усиления своей мощи за счет других народов. Он не ставит себе целью ничьего порабощения и унижения. Во имя высших начал справедливости им сняты оковы, лежавшие на польском народе. Но русский народ не допустит, чтобы родина его вышла из великой борьбы униженной и подорванной в жизненных

своих силах. Эти начала будут положены в основу внешней политики Вр. Правительства, неуклонно проводящей волю народную и ограждающей права нашей родины, при полном соблюдении обязательств, принятых в отношении наших союзников».

«В ответ на сказанную правду» правительство требует напряжения всех сил и поддержки его со стороны «всех и каждого»... Документ пошел по рукам. Начались замечания с нашей стороны. Существенных разногласий в оценке, к моему удовольствию, не оказалось. Конечно, мои сомнения были направлены в сторону Церетели. Но Церетели, хотя и в осторожной форме, признал документ неудовлетворительным, присовокупив, что поднять агитацию вокруг такого документа Совету будет не под силу. Такой документ не может дать прочной опоры Совету при его призывах к беззаветной поддержке фронта. В документе нет прямых указаний на отказ от аннексий, от чужих территорий. Если это связано с существующими союзными договорами, то в документе должно быть указание на необходимость их пересмотра и на соответствующее обращение к союзникам...

Милюков на этот раз хотел быть большим дипломатом, чем в прошлый раз, когда он не пошел дальше прямого отказа выполнить наше требование. Теперь, в ответ на слова Церетели, он сделал заявление, на которое я обращаю внимание читателя (я напомню его в одной из следующих книг):

— Я имею в виду, — сказал Милюков, — такое обращение к союзникам относительно пересмотра договоров. Сейчас момент для этого я считаю неблагоприятным. Но через некоторое время я не вижу препятствий, почему бы не предпринять этого шага.

Обсуждение документа продолжалось. Началась снова скучная, бесплодная, чисто словесная полемика... Документ, в самом деле, был совершенно неудовлетворителен; он наивно обходил вопрос и сохранял все признаки обычных лицемерных заявлений всех воюющих правительств. Если в совете министров он послужил предметом борьбы, то победа всецело осталась за Милюковым. Большинство кабинета, левая «семерка» — потерпела крах. Либо Милюков сумел подсунуть своим коллегам ничтожный клочек бумаги вместо желательного им ценного документа, либо сумел убедить их в том, что действительный отказ от аннексий совершенно нежелателен и что необходимо ничтожный клочек бумаги совместными усилиями подсунуть Совету. Конечно, более вероятно второе: вероятно, левая «семерка» была довольно слабой оппозицией Милюкову, и серьезной борьбы в кабинете министров из-за этого документа, повидимому, не было. Во всяком случае кабинет защищал свое воззвание вполне солидарно, единым фронтом.

Правительственное обращение к народу прежде всего направлялось вовсе не к сведению Европы, а выпускалось для внутреннего употребления. Это было крайне важно для Милюкова и отмечалось им потом не раз. Затем — оно не только не заключало в себе определенных указаний на отказ от аннексий, но содержало вредные указания иного рода. Оборона прямо об'являлась не единственной, а «первой» целью войны. Ссылка на воззвание к полякам (комментированное выше) была просто лжива. Единая с союзниками программа подчеркивалась дважды... Оставалась одна фразеология, — с которой в заседании вышел маленький инцидент.

Желая иллюстрировать полную никчемность трафаретных фраз о том, что свободная Россия не желает ни «господства над другими», ни «отнятия достояния», ни «чьего либо порабощения и унижения», — я сослался на манифест Николая II при об'явлении войны.

— Видит Бог, — цитировал я, — что не ради суетной мирской славы, не ради насилия и угнетения подняли мы оружие, но единственно ради охраны достояния державы росссийской и т. д.[1]).

Как только я кончил мою реплику, Терещенко вскочил с места и патетически заговорил, делая вид, что он глубоко взволнован и оскорблен в своих лучших чувствах:

— Как! в этой зале, министров революции позволяют себе оскорблять сравнением с Николаем II! Это совершенно недопустимо! И я не могу оставаться здесь при таких условиях!..

---

[1]) Я хорошо знал и помнил этот манифест, благодаря особому случаю. В 1915 году, когда не оказалось, после всех попыток, никакой возможности провести через цензуру мою «пораженческую» брошюру, — я в самой нарочито-грубой форме, для всех совершенно неправдоподобной, «прикрыл» этим манифестом мои разоблачения одной за другой всех «благородных» целей войны, над изысканием которых позорно трудился весь наш ученый и публицистический мир. Я доказывал, что все эти цели суть ложь и обман, а действительные цели (указаний на которые в частных разговорах требовал цензор) — вот смотрите: указаны его величеством... Ну, и досталось мне за этот прием от благородно-негодующих либеральных и оборонческих критиков. Ведь они монопольно владели тогда печатным словом и решительно не хотели пускать в оборот «пораженческой» ереси. Керенский называл эту брошюру «комментарием к высочайшему манифесту». Прием действительно крайне сомнительный, но я, по зрелом размышлении, взял на себя этот грех... И не раскаиваюсь

Терещенко действительно бурно вышел из-за стола, а затем и из комнаты, немного даже хлопнув дверью... Но, надо сказать, никто из присутствовавших не обратил на это внимания, и обсуждение продолжалось. Погуляв по дворцу, не видя за собой посланников и отчаявшись в каком-либо удовлетворении, Терещенко вскоре вернулся и по-прежнему принимал участие в переговорах. Трюк молодого дипломата не удался.

Около полуночи служитель доложил, что к телефону требуют Чхеидзе. Он отсутствовал минут 10 или больше. Скобелев, быть может, обеспокоенный, вышел за ним. Чхеидзе вернулся — необычной походкой, странно смотря в одну точку невидящими глазами, — сел в свое кресло и оставался до конца заседания... Оказалось, что его сын, юноша 15—16 лет, только что по-нечаянности застрелился из ружья. Заседание продолжалось. Кажется, Чхеидзе сказали, что дело ограничилось не-смертельной раной; но, повидимому, он не поверил.

Заседание кончилось тем, что советские делегаты единогласно признали документ неудовлетворительным и взялись доложить его Исп. Комитету. Для министров было ясно, что Исп. Комитет не мог иметь другого мнения.

* * *

Днем 27 марта Исп. Комитет имел суждение о документе. Чхеидзе был на своем посту. Его старались не трогать. Он передал председательство, но оставался во дворце... Церетели, сравнительно со вчерашним своим выступлением, энергично вносил смягчающие ноты. В стане «врагов» это одно, у себя

же дома, когда оппоненты сидят не справа, а слева — совсем другое. Оппонентов справа у Церетели в Совете вообще не было за все эти месяцы. С первым же своим появлением Церетели «консолидировал» всю советскую правую около своего особого, сибирского «циммервальдизма», — так же как с первыми раскатами революции вся буржуазия, вместе с землевладельцами, «консолидировалась» в «левой» партии кадетов...

Церетели настаивал, что в документе не хватает лишь ясности, не хватает нескольких конкретных штрихов. Если бы они были налицо, то требование демократии можно было бы считать выполненным и крупную победу достигнутой. Но все же, в настоящем его виде, Церетели не брал документа под свою окончательную защиту.

Да это было бы, пожалуй, слишком трудно. Дело было не только в документе. Дело было и в том, что «общественное мнение» демократии по вопросу о завоевательной политике стало как ни как быстро кристаллизоваться... Накануне, когда мы с Церетели заседали в Мариинском дворце, в те же часы происходило огромное собрание организации петербургских меньшевиков. Оно было посвящено вопросу о войне, и на нем одержало верх циммервальдское течение. Собрание приняло резолюцию меньшевистского Ц. К., намечающую, между прочим, следующую программу действий: «признавая самой важной и совершенно неотложной задачей демократии в настоящий момент борьбу за мир без аннексий и контрибуций на основе самоопределения народов, борьбу за мир в международном масштабе, мы считаем необходимым мобилизовать общественное мнение и организовать давление рабочего класса и демокра-

тии всей страны на Вр. Правительство, чтобы побудить его: а) официально и безусловно отказаться от всяких завоевательных планов; б) взять на себя инициативу выработки и обнародования такого же коллективного заявления со стороны всех правительств стран согласия; и в) предпринять необходимые шаги для вступления совместно с союзными правительствами на путь мирных переговоров». Затем было постановлено ту же программу действий предложить европейскому пролетариату...

Во-первых, все это было абсолютно правильно и чрезвычайно ценно. Во-вторых, это должно было быть достаточно авторитетно для Церетели и правых советских меньшевиков... Не менее внушительно было выступление заграничных меньшевиков в лице П. Б. Аксельрода. Меньшевистская эмиграция призывала Совет «выступить во главе пролетариата, т. е. при активном его содействии с двойной инициативой»: во-первых, потребовать от Вр. Правительства вступления в переговоры с союзниками о подготовительных шагах к мирным переговорам, и во-вторых, обратиться к рабочим партиям всех стран с предложением скорейшего созыва международного конгресса по вопросу ликвидации войны.

Да не только социалдемократы, — какие-нибудь «народные социалисты», и те на своей конференции (в Москве, 23—25 марта) постановили требовать отказа от завоеваний... При таких условиях взять под защиту вчерашний документ в настоящей его редакции — означало бы слишком большую готовность скомпрометировать себя безо всякой практической пользы.

Документ в Исп. Комитете был признан неудовлетворительным. Левая с интересом наблюдала, как

новое правое большинство повергалось в уныние и беспокойство... В самом деле, что же теперь предстояло делать? Ясно, что были неизбежны — новая атака слева и требование «выступить во главе пролетариата, при активном его содействии»...

Однако, положение разрешилось иначе. Из Мариинского дворца Церетели (персонально!) позвали к телефону и сообщили ему, что в Таврический дворец сейчас посылается документ в новой редакции... Правительство пошло на уступки. Уступать было с чего без большого ущерба для Милюкова. Но правая торжествовала настолько подозрительно, что ее отношение к новой редакции документа казалось предрешенным. Да и в самом деле, — ведь перед правым большинством была альтернатива: либо «выступить во главе пролетариата» с действительным «давлением», т. е. начать б о р ь б у, либо удовлетвориться л ю б о й редакцией и вести политику соглашения.

Принесли пакет и торжественно, с немалым волнением, вскрыли его. В документе оказалась вставка в пять слов, подчеркнутая красным карандашом. После перечисления того, что н е является целью войны — не «господство» не «отнятие» — было добавлено: «не насильственный захват чужих территорий». Остальное осталось прежним.

Отказ от завоеваний был начертан черным по белому. Больше ничего не требовалось. Дело было кончено... Постановлением большинства акт 27-го марта был признан крупной победой демократии и крупным шагом вперед в деле мира.

Конечно, несмотря на суб'ективную лживость этого акта, он был об'ективно некоторой уступкой империализма и некоторым достижением демократии.

Будучи первым такого рода актом (среди всех воюющих держав) с самого начала войны, он создавал некоторую «новую ситуацию» для дальнейшей борьбы. Но все значение его заключалось именно в том, что это был исходный пункт для дальнейших, логически вытекающих требований; и для сохранения какой-либо ценности акта 27 марта была необходима немедленная мобилизация сил в целях дальнейших выступлений...

Помню, вечером того же дня, 27-го, из Таврического дворца я отправился на собрание сотрудников все еще не выходившей «Новой Жизни» (пригласив с собой Гоца!). Там я рассказал о новом акте, о новой ситуации, — и там все это встретило именно такую условно-положительную оценку. Акт 27 марта был «победой».

Увы! это была поистине пиррова победа. Об этом красноречиво свидетельствовало отношение к достигнутому успеху со стороны нашего нового правого большинства. И именно здесь был корень положения...

Ничтожный по существу успех советское большинство выдавало за крупную победу и рекламировало ее среди масс. Что означало это? Это означало, что анти-циммервальдское большинство будет выдавать ничтожное пройденное расстояние, ближайший этап — если не за конечный, то за близкий к пределу пункт в деле борьбы за мир российской демократии... Отношение большинства к акту 27 марта делало более чем проблематичными необходимые дальнейшие мирные выступления и подрывало всякую дальнейшую борьбу за мир.

Это одна сторона дела — важнейшая. Но не лишено важности и то обстоятельство, что «победой»

27 марта демократия была обязана отнюдь не движению и давлению масс, которые не были не только привлечены к борьбе, но не были и посвящены в дело. «Победой» 27 марта мы были обязаны тактике мирного соглашения с правительством. А стало быть — отныне метод «мирного соглашения», в противоположность апелляции к массам, в противоположность методу борьбы — можно считать навеки прославленным и возведенным в ранг единственно рационального, специфически советского метода воздействия. При таких условиях «победа» 27 марта была, пожалуй, хуже, чем пиррова победа. Она не только отрывала «победителя» от войска, но и лишала его стимулов к действительным победам. Она затащила «победную» колесницу в непролазное болото оппортунизма и «соглашательства».

Остается только один основной вопрос: действительно ли в Исп. Комитете уже образовалось мелкобуржуазное, оппортунистское большинство, готовое ликвидировать манифест 14 марта, стремящееся аннулировать одну из намеченных им линий внешней политики — борьбу за мир, в интересах другой линии — военной обороны? Действительно ли уже образовалось большинство, стремящееся извратить и уничтожить все до сих пор намеченные основы советской мирной политики, а вслед за этим и весь наметившийся доселе ход революции?

Для тех, кто сомневается в этом, доказательством послужат факты, о которых впереди будет речь. Но нельзя ли поверить этому и априори? Не была ли заранее утопичной борьба советских циммервальдцев за торжество классовой пролетарской линии в нашей революции? Могла ли эта линия не быть стерта мелкобуржуазным оппортунизмом? Могло ли в

советских органах, представляющих всю демократию, не образоваться мужицко-солдатского, интеллигентско-обывательского большинства? Ведь это же вытекало из законов истории, из основных предпосылок нашей революции, из ее первородного греха: из мелкобуржуазного, крестьянского строя нашей страны, из всенародного характера революции, из появления на первом плане ее, в первый же момент, мужика-солдата?

Образование нового советского большинства было неизбежно и закономерно. Но это совсем не значит, что этому мелкобуржуазному большинству была вообще не под силу задача мира, что участие и даже инициатива в международной классовой борьбе за мир противоречили его классовой природе. Это ни в каком случае не так: ибо задача мира есть задача демократическая, и она могла быть выполнена блоком, единым фронтом мелкобуржуазных и пролетарских масс против империалистской буржуазии. Поэтому и борьба за циммервальдскую линию в Совете не была беззаконна, утопична и заведомо обречена на провал. Нет, она была только бесконечно трудна и, очевидно, была непосильна для фактических участников борьбы.

Не будем же негодовать на законы истории. Но будем справедливы к тем, кто в неравной борьбе потерпел поражение за единственно правильный курс революции.

* * *

Эпилог был таков. 28-го марта акт был опубликован и имел «хорошую прессу». Социалдемократические газеты давали условную оценку — в зависи-

мости от дальнейшего. Другие прославляли победоносный ход и новые демократические завоевания революции.

Кажется, именно в этот день меня вызвали по телефону из Исп. Комитета в квартиру Н. Д. Соколова, находившуюся в двух шагах. Я мог выбраться только через час и застал у Соколова конец «частного совещания». Там был Керенский, которого призвали «для об'яснений» его личные друзья. Кроме Соколова был налицо Церетели, большинство же составляли близкие Керенскому «народнические» элементы. Мне не пришлось слышать «об'яснений» Керенского, но конец беседы был довольно мирным (как, вероятно, и начало). Керенский выглядел совершенно здоровым и спокойным. Вместе с наличными людьми он направлялся в Исп. Комитет.

Всю недолгую дорогу в автомобиле мы молчали. Керенский явно обдумывал план завоевания.

Его задача бесконечно облегчалась тем, что он заставал собрание врасплох. И он, действительно, многое успел, благодаря быстроте и натиску.

Собственно, единственное обвинение, это — в оторванности, в отсутствии контакта и в независимости политики. Отдельные акты Керенского, как бы они ни возмущали многих или даже большинство, не были в формальном противоречии с постановлениями Исп. Комитета. Что же касается их «духа», то это почва была неустойчивая — особенно при новом большинстве. Правая часть была готова взять чуть ли не все инкриминируемые акты под свою защиту. И все или почти все сходились только в одном: нельзя советскому человеку так обходиться с Советом.

Керенский направил свою артиллерию именно в

этот пункт и посвятил свою первую речь тем техническим и прочим препятствиям, которые отрывают его от Исп. Комитета. Все его желания и стремления, конечно, в Таврическом дворце, но нет никаких фактических возможностей... После таких, «удовлетворительных» об'яснений, после «чистосердечного раскаяния» — в собрании воцарился еще больший разброд. Председатель предложил задавать почетному гостю вопросы, которые еще более разредили атмосферу и сделали собрание совершенно нелепым.

Правда, были не только вопросы. Были и энергичные обвинения в нарушении общей советской «линии» и в вопиющем отсутствии такта. Но обвинения исходили от отдельных лиц и в размягченной атмосфере не имели должной ударной силы. Сеанс кончился ничем...

Отдельные группы говорили о том, что надо иметь о Керенском формальное суждение и формулировать дальнейший modus vivendi от имени Исп. Комитета. Но это так и не было сделано. А близкий по духу Керенскому Станкевич, с которым мы вышли из дворца и вели долгую беседу, дружески говорил мне:

— Зачем так нападать на Керенского? Керенского надо беречь, беречь от всего, что может его скомпрометировать так или иначе. Тут пустяками надо пренебречь из высших политических соображений. Ведь ни для кого не секрет, что в правительстве не особенно благополучно. Может быть, нам не миновать передряги. Керенский может очень и очень понадобиться. Ведь вы же не станете отрицать: это сейчас единственный человек, который может стать в центре событий. Другого нет...

Действительно, в это время в радикальных и в некоторых право-демократических кругах уже ставился в порядок дня вопрос о новом «коалиционном» правительстве, буржуазно-советского состава, с естественным премьером Керенским во главе. Однако, сам Керенский в том же заседании Исп. Ком., в другой своей речи, представил нам назревающий «кризис» в несколько ином свете.

Он повторил министерские речи о том, что положение правительства становится невыносимым. Помимо общих трудностей, «давление» со стороны Совета и тот курс, какой он взял по отношению к власти, делают положение кабинета совершенно ложным и уже создали почву для кризиса. Министры неоднократно заявляли, что они так не могут, что они уйдут. Требования по отношению к внешней политике уже переполнили меру, и кризис действительно разразился бы, если бы с актом 27 марта не было достигнуто соглашение. Что-нибудь одно: либо надо ожидать кризиса министерства, либо смягчить политику Совета в сторону соглашения.

Совершенно верно: кризис уже давал себя чувствовать, и он должен был разрешиться. Это было ощутительно и в «контактной комиссии» 20-го марта, целую неделю тому назад. Но тогда путь к разрешению кризиса реально мыслился только один: Совет будет развертывать программу революции, и поскольку существующее цензовое империалистское правительство ее не выдержит, поскольку победа в борьбе за армию склонится на сторону демократии — постольку первый кабинет революции должен быть ликвидирован и выброшен за борт.

О, это будет не так скоро! Министры и их

рупор Керенский пугают напрасно: они добровольно не уйдут, и они еще многое выдержат. Политическую власть буржуазии они до последней крайности не выпустят из рук: они поступятся для этого многими «кровными», «насущными» нуждами и в том числе программой неистового империализма.

Но общая перспектива неделю назад была именно такова. Демократия будет двигать революцию вперед, и кризис власти будет разрешен ее перестройкой...

Теперь, за эту неделю, при свете всей истории 27-го марта, для разрешения кризиса открылась новая возможность. В перспективе открылась не капитуляция цензового правительства, а капитуляция всей революционной политики Совета — в интересах буржуазии и ее власти. В Мариинском дворце это уже почуяли и плотнее уселись в креслах.

Таков был еще один итог битвы и «победы» демократии.

---

7. ФИНАЛ ЕДИНОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ФРОНТА

Всероссийское Совещание Советов.

Подготовка. — «Аграрный» доклад и «аграрные» неприятности. — Резолюция о войне в предварительной комиссии. — Церетели и меньшинство. — Циммервальд на Совещании. — Резолюция о Вр. Правительстве. — Единый фронт на Совещании. — Клочек бумаги. — Прочие доклады и докладчики. — Новое большинство еще неустойчиво. — Встреча. — Состав Совещания. — Ф. И. Дан. — Доклад и прения о войне. — Буржуазная кампания в Совете. — Керенский на Совещании. — Каменев извивается. — Стеклов «чижика с'ел». — История моего «содоклада». — Церетели на наклонной плоскости. — «Масса» выше лидера. — Начало блока меньшевиков и с.-рев. — Блок «народников». — Левые эсеры. — Агитация в пользу «коалиционного» правительства. — Апофеоз единого фронта. — Приезд Плеханова. — Совет заброшен в Народном Доме. — «Низы» и «начальство». — Еще одна трещина. — Английские и французские гости в Исп. Ком. — Бунт мужиков против самих себя. — Единый фронт союзных социалистов. — Последнее торжество в Совещании. — Итоги. — Декларации принципов. — Программа революции: мир, хлеб, земля. — Триединый пункт. — Принципы циммервальда на службе патриотизма. — Цели, средства и гарантии. — Ленин.

О Всероссийском С'езде Советов говорили уже давно. Его необходимость была очевидна. Правда, узурпация петербургским Советом прав и функций

всероссийского демократического органа всеми признавалась исторически неизбежной и ни одной демократической организацией никогда не опорочивалась. Только правительство, в «контактной комиссии», не упускало случая поставить на вид недостаточность наших правомочий... Но все же неотложность всероссийского советского смотра, неотложность выявления воли всей демократии и неотложность создания постоянного правомочного всероссийского советского органа — была для всех ясна.

Иногородняя комиссия уже недели две назад разослала по всем городам телеграфные приглашения. И уже несколько дней в Исп. Ком. шла усиленная подготовка к С'езду. Разрабатывали порядок дня, намечали докладчиков, обсуждали их тезисы, заботились о технической стороне. Мне кажется, особенно много потрудился по организации С'езда — Богданов.

Центральными и боевыми вопросами, конечно, были — война и отношение к правительству, т. е. общий характер советской политики, внутренней и внешней. Кроме того, в порядок дня были поставлены вопросы: продовольственный, земельный, рабочий, солдатский, организационый и об Учр. Собрании — т. е. все основные вопросы «специальной» советской политики в отдельных областях...

Партийная дифференциация ныне уже почти закончилась, партийная борьба в Исп. Комитете уже развернулась во всю ширь, и при выборе докладчиков на С'езд она проявилась довольно сильно... Я помню, моя кандидатура в докладчики выдвигалась по всем основным вопросам, но по всем проваливалась. По внешней политике, больше меня голосов получил Церетели, — это были, конечно, правые

голоса; по вопросу же об отношении к правительству больше голосов получил Стеклов, — что это были за голоса, сказать не берусь... В таком дискредитировании моей личности я тут же обвинил моих злых личных врагов, и при общем весельи мне была дана компенсация в виде единогласного избрания меня в докладчики по земельному вопросу.

Это было довольно естественно, принимая во внимание, что я был как-ни-как «аграрник» вообще и, кажется, единственный аграрник в Исп. Комитете. Но мне это избрание доставило не малую неприятность. Я решительно не хотел браться за это дело, чувствуя к нему до странности сильную неприязнь. Мои чувства были настолько определенны, что я самочинно, уже после избрания стал искать себе заместителя и нашел его в лице специалиста-профессора И. В. Чернышева, «легального марксиста», очень право настроенного, но очень «привившегося» — не в пример многим более левым — в Совете и в его учреждениях. Впоследствии он при Церетели-министре был товарищем министра почт и телеграфов; пока же Церетели широко использовал его для различных экономических выступлений и экспертиз, направленных к поддержке цензовиков и всего от них исходящего. Сейчас Чернышев, по моему предложению, охотно взялся сделать на С'езде доклад и представить его тезисы Исп. Комитету.

Однако, официальным докладчиком числился я, и с меня же требовали тезисов. Я же решительно не знал, как построить и каким содержанием наполнить доклад. В голове бродили только обрывки мыслей о том, что необходимо лишь декларировать предстоящую реформу, отметив ее общий характер,

а затем посвятить весь доклад текущей земельной политике — до реформы. Мне казалось это практически наиболее важным, а политически наиболее рациональным. Но что это должна быть за текущая политика, какие именно вопросы надлежало тут разработать, — в этом направлении решительно отказывались идти мои мысли. Я хорошо помню, что при обсуждении тезисов в Исп. Ком. я не проявил ни энергии, ни знания, ни находчивости, не говоря уже об инициативе...

Кроме того, я предвидел совершенно неизбежные передряги с земельным вопросом на С'езде: с.-ровская масса, при отсутствии толковых авторитетных лидеров, наряду с шовинизмом в войне, разведет такой демагогический радикализм в земельном вопросе, что с этим делом не справишься, и кроме путаницы из доклада ничего не выйдет.

На С'езде так все и случилось. Чернышев с докладом был готов; я также, хотя и «саботировал», но готов был принять участие в деле. Но земельная секция С'езда, наполненная солдатами во главе с двумя-тремя юными шустрыми эсериками, так запутала дело, что самый доклад. Исп. Комитета пришлось снять и ограничиться «условной», «предварительной» революцией общего характера, переданной «для обсуждения на места».

* * *

Зато я добросовестно поработал в комиссии, избранной для разработки резолюции о войне. Это была одна из центральных резолюций, предложенная С'езду от имени Исп. Комитета и принятая им с незначительными поправками. В комиссии против

трех правых — докладчика Церетели, подавленного, измученного, бессловесного Чхеидзе и, кажется, Эрлиха — было двое левых, Ларин и я. Мы боролись упорно, отстаивая каждое слово.

Церетели не рискнул выбросить все относящееся к борьбе за мир, но стремился как можно более сократить эту часть, раздув и детализировав до полной архитектурной уродливости, до полной фактической гегемонии — вторую часть об обороне. В интересах обещанной «компенсации» Вр. Правительству Церетели не ограничился общим призывом «мобилизовать все живые силы страны во всех отраслях для укрепления фронта и тыла». Он настаивал на специальных обращениях в этой резолюции к различным категориям рабочих, перечисляя их поименно. И это было принято большинством.

Борьба же за мир была не только сравнительно «смазана», но и редактирована была с вредной тенденцией. «Придавая огромное значение акту 27-го марта, — говорилось в резолюции, — российская демократия видит в нем важный шаг навстречу» и т. д. Вместо «требований» к правительству — предлагалась «поддержка со всей энергией его шагов в этом направлении». Другие же народы призывались следовать нашему примеру и «оказывать давление» на свои правительства, чтобы добиться уже полученного нами... Словом, оппортунистская тошнотворная дребедень уже растекалась рекой по всей резолюции.

Мы, меньшинство, добросовестно боролись за каждое слово. Мы едва настояли на требовании «дальнейших шагов» Вр. Правительства, — но и то редакция этого места была испорчена. И вообще вся наша неблагодарная упорная борьба, все наше

раздражающее, томительное упорство — натыкались в конце концов на молчаливое поднятие трех рук против двух... Церетели стал сердиться. И стал проявлять весьма характерное для него, до крайности примитивное отношение к меньшинству, проводимое им впоследствии с классической, совершенно слепой прямолинейностью.

— И зачем же вы отнимаете время? — стал досадливо вставлять Церетели, — вы же видите, что ваши старания ни к чему не приводят, и все ваши поправки отвергаются!

Церетели уже начинал считать работу меньшинства не более, как досадной ему помехой, не способной иметь практическое значение. Он не видел, что меньшинство в эти недели еще висело у него на шее весьма и весьма тяжкими гирями, не давая ему свободы движений. Иначе Совет — из «мамелюков», оборонцев и болотных людей — уже в эти дни разрешил бы «кризис» Мариинского дворца крепкими и сладкими об'ятиями.

Нет, пока мы работали далеко не бесплодно. И в частности, резолюцию о войне большинству все-таки не удалось изготовить в желательном виде. Дух циммервальда из нее вытравить не удалось. В ней еще не было принципиальных положений, которые были бы по существу неприемлемы, за которые было бы нельзя голосовать, которые противоречили бы духу классовой международной солидарности и последовательной классовой борьбы в условиях мирового военного конфликта. В резолюции была лишь крайне слабо проявлена эта линия — или, вернее, влияние циммервальда было уже ничтожно. Но формально разделаться с циммервальдом большинству было еще не под силу. Это еще была

официальная советская военная позиция. В частности, «официального» понятия защиты страны (или отечества) в то время еще не было в обиходе руководящих сфер Совета, и таковых терминов еще не существовало на официальном советском языке. В то время могли говорить только о защите революции.

Этот период всероссийского советского совещания, — заключительный период единого демократического фронта против буржуазии и империализма, — был периодом «теоретического», выхолощенного циммервальдизма. Но формальная шейдемановщина была еще впереди.

* * *

Доклад Стеклова о Вр. Правительстве был рассмотрен в Исп. Комитете весьма наскоро. Коротенькая резолюция гласила, что правительство «в общем и целом» заслуживало доселе и будет заслуживать впредь поддержки «постольку-поскольку». Общими силами эта резолюция была составлена в пленуме Исп. Комитета, но не была принята С'ездом. Вместо нее «единым фронтом», в согласительной комиссии, была составлена другая и принята единогласно.

Резолюция согласительной комиссии была значительно «лучше», «левее» той, какую предложил Исп. Комитет; она была значительно левее и той резолюции о войне, какую отстоял Церетели в нашей вышеописанной комиссии и потом на С'езде. Единый фронт составился не только на основе «поддержки поскольку-постольку», но и на основе следующих положений: 1. «сплочение всей демократии для отражения царистской и буржуазной контр-революю-

ции, а также для упрочения и расширения завоеваний революции»; 2. «постоянный политический контроль и воздействие на Вр. Правительство для побуждения его к решительным шагам в сторону полной демократизации всей русской жизни и к подготовлению всеобщего мира без аннексий и контрибуций, на основе самоопределения народов; 3. «призыв революционной демократии, сплотив все силы вокруг Советов, быть готовой дать решительный отпор всякой попытке правительства уйти из-под контроля демократии или уклониться от выполнения принятых им на себя обязательств».

Единый фронт, казалось, образовался на прочной и здоровой почве. Резолюция, правда, не оперирует с терминами и понятиями классовой борьбы. Но дело от этого меняется немного. Грань между цензовой властью и демократией, сплоченной в Советах, вычерчена с достаточной рельефностью. Программа закрепления и расширения завоеваний революции — указана. Базис циммервальда, если не подчеркнут, то и не затушеван и проявлен гораздо ярче, чем в резолюции о войне. И, наконец, апелляция к силам самой революционной демократии, мобилизация этих сил для возможного решительного отпора буржуазной власти — увенчивает резолюцию.

Это — единый демократический фронт для борьбы за революцию с силами империалистской буржуазии. Увы! закономерный процесс расслоения демократии — на пролетариат и мелкую буржуазию — неумолимо шел и делал свое дело. Откол мелкобуржуазной демократии от пролетариата, от циммервальда, от революции — не мог быть остановлен. Трещина, уже давшая себя знать в Исп. Комитете, уже давшая демократии пиррову победу, — должна была

расти и углубляться. И единый демократический зафиксированный в «согласительной» резолюции, — должен был остаться на бумаге, как ничтожный памятник великих планов, неслыханных возможностей и былых надежд...

* * *

Когда и как принимались в Исп. Комитете тезисы и резолюции по остальным докладам, — я не помню. Вероятно — кое-как, впопыхах, уже во время самой сессии С'езда. Я не помню и всех докладчиков, и сомневаюсь были ли все остальные доклады сделаны в пленарных заседаниях. Кажется, кроме аграрного, был опущен еще и доклад по рабочему вопросу, и дело также ограничилось резолюцией. Во всяком случае эта часть С'езда была сильно скомкана — если не за счет докладов, то за счет прений. В «деловом» отношении она, однако, была очень важна. В частности, резолюция по рабочему вопросу развернула социалдемократическую программу-минимум в области охраны труда — частью «предложив» правительству издать соответствующие декреты, частью декларировав известные нормы («свободу коалиций» и «ненаказуемость стачек»), частью призвав рабочий класс к проведению некоторых мероприятий еще до общих декретов (примирительные камеры, соглашения о 8-час. рабочем дне)...

Из докладчиков на С'езде не было ни одного большевика. Но не было среди них и ни одного представителя «самой большой» партии, с.-ров, на которых базировалось новое большинство. Половина докладчиков — Стеклов, я, Венгеров (по военному вопросу), да, как будто, и продовольственник Громан — были формально вне фракций... Это было еще

время, когда активно-действующие лица выдвигались в советских сферах по индивидуальности или по принадлежности к «течению».

Из состава докладчиков на мартовском С'езде также, между прочим, можно усмотреть, что к этому времени еще не окончательно кристаллизовалось или, по крайней мере, было еще довольно слабо и неустойчиво новое большинство. Наличность в числе докладчиков таких людей, как Стеклов или я — свидетельствовала об этом достаточно определенно. Через какой-нибудь месяц никому уже не пришло бы в голову назвать подобных кандидатов. Хотя меньшинство продолжало быть очень значительным, но все же не только в докладчики от имени Исп. Комитета, но и в комиссии — его представители тогда уже пробирались очень редко и с большим трудом...

В те же дни, в конце марта, еще была идиллия.

* * *

Однако, советского С'езда в марте не вышло. Провинциальных делегатов прибыло около 400. Они представляли 82 города и Исп. Комитеты армий и войсковых частей. Казачий С'езд также прислал 11 своих представителей... Но комиссия по организации С'езда (с Богдановым во главе) все же сочла такого рода С'езд не полным и не правомочным: по ее сведениям, на местах существовало еще огромное количество Советов, не приславших по разным причинам своих представителей. Поэтому, комиссия предложила считать мартовский С'езд не правомочным С'ездом Советов, а предварительным Всеросс. Совещанием. Так и было решено.

Вечером 28-го, в день опубликования акта «об отказе от аннексий», была назначена в «белом зале» первая встреча делегатов, а затем — чаепитие. Я пошел посмотреть на «всероссийскую революцию» и подсел к группе знакомых в глубине зала...

Зал, после переполнявших его советских «секций», казался полу-пустым — как в доброе заседание Гос. Думы. Но и здесь военные — если не подавляли, то беспокоили настороженный глаз. Их было, вероятно, около половины. И при том было много офицеров. Солдатская масса еще не справлялась с политическим представительством. Офицеры же — из прапорщиков — потянулись в «социалисты»; и многие кадетские адвокаты и прочие профессии, с погонами на плечах, сейчас представляли солдатскую массу под видом эсеров или беспартийных. Было много фронтовиков. Энергичные прапорщики старались об'единить их, чтобы солидно представить «голос действующей армии» — по крайней мере, для буржуазной прессы.

Из «штатских» с'ехалось много старых партийных деятелей, хотя и не высшей марки. Казалось, рабочих было не так много, — больше было интеллигентов... Говорились краткие приветствия — и шаблонные, и трогательные. Превозносился «лидер»-Петербург. Но больше всех, прямо неумолкаемо говорил председатель Скобелев, бывший в прекрасном настроении, сыпавший шутками, вообще изощрявшийся в красноречии и остроумии.

— Вот ведь язык то без костей! — говорил, неодобрительно покачивая головой, мой сосед, заслуженный меньшевик Гарви, который сам в те времена отказывался «выступать в собраниях свыше десяти человек»...

Вдоволь наговорившись с кафедры, Скобелев пригласил все собрание на хоры, где был устроен «революционный чай».

Я уже не пошел непосредственно знакомиться с провинцией: было дело. В комнате № 10 собралась группа членов И. К. и спешно готовилась к открытию Совещания завтра утром. Составлялся президиум. Стеклов был очень обескуражен, что лидеры нового большинства не выдвигают его кандидатуры — при всей его «лойяльности». Но он огорчался напрасно: президиум Совещания как-ни-как необходимо было составить по-фракционно. Поэтому, кроме нашего собственного президиума, Чхеидзе и Скобелева, — от меньшевиков вошли Церетели, Хинчук, Богданов, от с.-р. Гоц, от большевиков Шляпников, Ногин; затем в президиуме была представлена и армия — действующая и тыловая — Ром, Завадье... Президиум так или иначе был намечен.

Но главное дело, предстоявшее нескольким лицам в 10-й комнате, это была все та же, еще не оконченная резолюция о войне. Мы снова бились — долго, до изнеможения... Только в начале третьего часа я позвонил по телефону в знакомый дом и, разбудив хозяев, просил позволения придти ночевать — вдвоем: со мной шел Церетели, который еще не устроился с квартирой. Идти было недалеко. Церетели рассказывал о революции в Иркутске.

«Совещание» должно было открыться утром, и немедленно приступить к деловой работе. Но, конечно, этого не случилось... «Бабушка»-Брешковская закончила, наконец, свое триумфальное шествие — по цветам, среди восторженных толп народа — из Сибири в Петербург. С вокзала, с почетным конвоем из Керенского, Некрасова, Чхеидзе — она прое-

хала в Таврический дворец. Я не присутствовал при ее бурной встрече «Совещанием».

Избрали намеченный заранее президиум, выслушали приветствие Чхеидзе, недурно выдержанное в тонах «стремления к миру»; но пришлось разойтись до вечера. В четыре часа должны были состояться похороны сына Чхеидзе. Собрание, стоя, в глубоком молчании проводило председателя, и многие отправились вслед за ним.

На похоронах народа было меньше, чем можно было ожидать. Но много знамен, торжественный оркестр... На лестнице квартиры Чхеидзе мимо меня промелькнуло знакомое круглое, без бороды лицо, с твердым, холодноватым взглядом. Но кто этот плотный, невысокий, уже почтенных лет офицер — я решительно не мог догадаться. Теперь, с этим постоянным переодеваньем из штатского в военное и обратно — эти знакомые незнакомцы стали обычным явлением. Но все же это меня беспокоило и, наконец, — осенило: да ведь это — Дан!.. Он также приехал из ссылки, где был мобилизован в качестве врача.

Я встречался с Даном всего несколько раз — в 1914 году, перед войной в эпоху «ликвидаторства» и старой «Рабочей Газеты». Тогда он дал в «Современник» одну-две статьи. А затем, уже после моей высылки из Петербурга, в дни австрийского ультиматума Сербии, Дан посетил меня в Териоках и холодно посмеивался над теми, кто верил в возможность мировой войны. Через неделю война была уже фактом, а Дана под конвоем везли в Сибирь.

В Сибири, по доходившим до меня слухам, Дан стал на циммервальдскую позицию и даже, как говорили, был настроен крайне лево... Мартов из-за

границы писал мне, почему я не пригласил Дана сотрудничать в «Летописи». Я не знал, что это нужно — тем более, что «Летопись» фактически продолжала и усовершенствовала «Современник». Но все же я написал Дану.

Дан — это одна из наиболее крупных фигур русской революции. Это один из самых выдающихся деятелей как русского рабочего движения, так и событий 1917 года. Подобно Церетели, он займет не мало нашего внимания в следующих книгах... Его приезд в то время, конечно, мог сильно отразиться на течении дел. А слухи и об его позициях возбуждали самые радостные надежды. Добро пожаловать!.. Но только вот вопрос: не особый ли это «сибирский» циммервальдизм?

* * *

Вечером, при блестящем освещении, при переполненных «публикой» хорах, при непривычном, хорошо организованном порядке в зале, — Церетели делал свой доклад о войне. Он воспроизвел и разводнил свою резолюцию — не больше, не меньше... Его прекрасно слушали, ибо это превосходный оратор — иногда несколько многословный и «шаблонизирующий» свои круглые законченные фразы, но иногда — сильный, острый и находчивый.

Было любопытно познакомиться с советским парламентом в процессе прений. Прения о войне обнаружили слабую, малочисленную левую и хорошо организованную правую, во главе которой стояли офицеры. Речи справа были сколком с общей буржуазной кампании из-за войны и армии. Аргументы из «большой прессы» повторялись без изменений, без

дополнений и без стеснений. Говорящих о мире попрекали Стоходом, «висящей в воздухе рукой», неуспехом манифеста 14-го марта. Патетически протестовали против «позорного мира». Словом, били в алармистский набат, утверждая, что мир даст победа, п р и з ы в а я забыть все для военной обороны и все д е л а я для гнусного грабежа и удушения революции. Иные офицеры «от имени такой-то армии» отваживались даже требовать не только «войны до конца», но и разных экспериментов с чужими землями и с проливами. А один, тоже, конечно, от имени одной из армий, прочел резолюцию с протестом против «двоевластия».

Среди сознательной части собрания эти выступления энергичной кучки вызывали отпор. Ибо это было уже не стремление аннулировать одно основное положение манифеста — борьбу за мир, в пользу другого — военной обороны. Это было нечто гораздо худшее. Но это давало докладчику хорошее орудие или хорошую опору для борьбы налево. И в заключительном слове Церетели, на этом основании, стал смелее «забирать» вправо. Он очень «ухаживал» за правыми оппонентами. А налево он уже тогда, в марте, осмелился заявить, что «момент для переговоров с союзниками для Вр. Правительства еще не наступил», и что мы внутри России «уже сделали главное».[1])

Слева говорил Каменев, который также — еще впервые в советских сферах — обнаружил прекрасные ораторские данные. Но Каменев не был смел

[1]) По отчету «Речи» (№ 76, 1917 г.) Церетели сказал: «мы сделали все, что возможно», по отчету «Известий» — «мы сделали главное». Из двух зол для Церетели я выбираю меньшее.

и потому не заострил своих аргументов, держась в академической плоскости и рассуждая об империалистическом характере мировой войны. Другие большевики были острее, но были неловки, вызывали шум и свист и не привлекали внимания.

Ораторов записалось несколько десятков. Я также не прочь был выступить, но стеснялся в качестве члена Исп. Комитета нарушить дисциплину и добрые нравы, выступая против официального докладчика. Впоследствии это, разумеется, уже вошло в порядок вещей.

Со «скамьи» правительства, слева от трибуны я мрачно наблюдал довольно печальную картину собрания. Вдруг кто-то сзади весело хлопнул меня по плечу и бросился в соседнее кресло. Это был Керенский, «как ни в чем ни бывало», спокойный, оживленный и, вероятно, довольный тем, что он догадался явиться на советский с'езд. Я спросил, будет ли он выступать, но он даже сначала отказался, как бы желая сказать, что пришел участвовать в работах... Но, разумеется, он скоро попросил слова вне очереди, был бурно встречен, сказал приветствие в качестве члена правительства и в качестве члена Совета; потом пожал бурю рукоплесканий, говорил в кулуарах с фронтовыми делегациями, затем уехал и больше не показывал глаз.

* * *

С утра 30-го работали секции. Меня силой погнали в земельную, полную одних солдат. Там трудились над резолюцией в виде с.-р-овского «основного закона о земле». Я ушел, не вступая в безнадежные пререкания.

В коридоре Каменев показал мне большевистскую резолюцию о войне, разумеется, обреченную на провал. За эту резолюцию, как мне показалось, должны были голосовать циммервальдцы, и надо было это сделать для демонстративного подсчета голосов. Но в резолюции было подозрительное место: в нем говорилось, что империалистская война может быть окончена только при переходе политической власти в руки рабочего класса. Значит ли это, что борьба за мир сейчас не нужна? Или это значит, что она нужна, но для этого надо сейчас брать в свои руки политическую власть? Каменев уверял, что это отнюдь не означает ни того, ни другого. Но отвечал крайне уклончиво на предложение переделать это место и старался устранить недоразумение только своими комментариями. Между тем, все читавшие эту резолюцию утверждали, что большевики в ней требуют политической власти рабочему классу. Где истина?

Каменев, «благожелательно» толкуя резолюцию, несомненно стремился по обязанности сохранить в ней официальную большевистскую концепцию: окончание империалистской войны возможно только путем социалистической революции. Но также несомненно для меня, что Каменев не сочувствовал этой официальной большевистской концепции, считал ее не реальной, а сам стремился вести линию реальной борьбы за мир в тогдашних конкретных условиях. Именно такого, иногда слишком умеренного, поссибилистского характера были тогда все выступления этого официального в то время лидера большевистской партии. Положение его было двойственно и не легко. Он имел свои собственные взгляды и работал на российской революционной

почве. Но — он «косился» на за границу, где были тоже свои собственные, не совсем те же взгляды.

Я хорошо понимаю, как я рискую скомпрометировать этого высокого сановника в глазах его высоких коллег, — но я не могу скрыть моего глубочайшего убеждения: если бы все большевики разделяли взгляды Каменева, — по крайней мере, в течение первого года революции, — то я также был бы большевиком, и при том левым.

* *
*

Вечером, часов в 10, Стеклов приступил к докладу об «отношении к Вр. Правительству». Это был очень странный доклад. Он тянулся бесконечно, но не содержал в себе никакой характеристики «сущего или должного» отношения к Вр. Правительству. Очень много времени было посвящено истории революционных событий. Когда же дело дошло до «теории», то вся она свелась к разоблачению происков и козней контр-революции — «спереди, сзади, с боков, с высоты». Оратор, конечно, очень увлекся. Но в зале воцарилось полное недоумение: никакой внутренней политики и вообще никакой политики в докладе не было. Резолюция Исп. Комитета, увенчавшая доклад, ровно ни из чего не вытекала. Скорее наоборот. Газеты писали на другой день о том, как Стеклов, вслед за щедринским медведем, «чижика с'ел». В самом деле, рассказывая ужасы контр-революции, Стеклов действительно всем докладом обещал страшное кровопролитие, — а кончил резолюцией о «поддержке постольку-поскольку», в благодарность за то, что правительство «проявляет стремление идти по пути декларации, опубликованной по соглашению с Советом».

Мне было скучно и немного забавно. Но я не придал всему этому значения... Другие посмотрели не так. Уже в первом часу ночи, как только кончил Стеклов, нас созвали на экстренное заседание Исп. Комитета. Не помню, кто именно, основываясь на полной неудовлетворительности доклада, потребовал вторичного доклада на ту же тему от имени Испол. Комитета — под видом «содоклада». Это встретило сочувствие, но вызвало протесты Стеклова и требования с его стороны «пред'явить доказательства».

Долго препирались насчет ценности стекловского выступления и, наконец, постановили: назначить на завтра «содоклад». Большевики, прельстившись «контр-революцией» и ожидая худшего, чем ноль, голосовали против... Но кто же сделает «содоклад»? Не могу сказать, по чьей инициативе, но было постановлено поручить это мне.

Меня это совершенно не устраивало. Во-первых, было несколько неудобно перед Стекловым, — хотя его доклад я признавал неудовлетворительным и высказал это в заседании. Во-вторых, для меня было ясно, что я ни в каком случае не могу ныне выразить взгляды Исп. Комитета, от имени которого приходилось выступать. Большевики в данном случае едва ли имели основание особенно опасаться... Но делать было нечего; других кандидатов не обнаруживалось; было поздно; я обещал завтра утром представить тезисы.

— Что вы сидите, как будто вас к смерти приговорили, — закричал мне Богданов, видя меня в удрученном состоянии, — ведь вас в люди выводят!..

Выводят в люди? Об этом, признаться, у меня не было никаких мыслей. Честолюбие и т. п. я себе, вообще говоря, далеко не считаю чуждым. Но при-

менительно к такого рода выступлениям мне почему-то не приходило никогда в голову, что Богданов был прав. Единственный раз я стремился выступить в Совете: это было 14-го марта. А затем я всегда был скорее не прочь уклониться, чем пользоваться (довольно легкой) возможностью мозолить глаза на трибуне... И сейчас меня не «с'агитировал» Богданов. Я с удовольствием уступил бы ему честь завтрашнего «содоклада».

Мне снова пришлось выйти вместе с Церетели из Таврического дворца. Я стал говорить ему о ложности моего положения в качестве докладчика Исп. Комитета... Я сказал ему несколько слов к характеристике моей левой позиции по отношению к Вр. Правительству. Но Церетели перебил меня словами:

— Вы, конечно, должны говорить о необходимости соглашения с буржуазией. Другой позиции и другого пути для революции быть не может. Ведь вся сила у нас. Правительство уйдет по мановению нашей руки. Но тогда погибель для революции.

Я ручаюсь, что передаю смысл реплики совершенно точно, а может быть — буквально. Разумеется, для меня это все было ни в какой мере не приемлемо. Но интересно сейчас было не это. Нет, — куда идет и куда ведет этот злосчастный «циммервальдец», эта поистине роковая фигура революции?...

* * *

Утром, 31-го я явился в Исп. Комитет с моими тезисами, заведомо безнадежными. Тезисы были таковы: Вр. Правительство — классовый орган буржуазии; Совет — классовый орган демократии,

мелкобуржуазной и пролетарской; «отношения» между этими органами вытекают из законов истории и из фактически сложившегося положения дел в революции; это — отношения классовой борьбы между Советом и Вр. Правительством; таковая борьба фактически происходит и должна происходить впредь, — в ней сущность сложившихся и должных взаимоотношений; борьба вытекает из самого факта развертывания демократической программы, из самого факта расширения революционных завоеваний; формы же этой борьбы в данный момент не должны быть направлены к прямой ликвидации существующего правительства, а должны выражаться в «давлении», «контроле» и мобилизации сил.

Я показал тезисы Каменеву, который их в общем одобрил. Затем показал Церетели, который решительно отверг их, как выражающие взгляды меньшинства. Собрали кое-как летучее заседание и большинством голосов постановили — предоставить мне с моими тезисами выступить в качестве очередного оратора, но не в качестве докладчика Исп. Комитета... Я записался в качестве очередного оратора.

Прения продолжались долго и носили несколько иной характер, чем прения о войне. Для разжигания шовинизма здесь почва была куда менее благоприятна и, наоборот — здесь отрылось поле для классового инстинкта всех менее сознательных элементов. Ораторы левой с успехом били в точку подозрительности по отношению к правительству враждебного класса и в точку сплочения вокруг «собственных» Советов. Скоро стало ясно, что равнодействующая идет левее резолюции Исп. Комитета.

Хорошо выступал Каменев, — призывавший от-

нюдь не к «свержению», а к «недоверию» и сплочению. И снова забирал вправо Церетели, говоря о «необходимости соглашения с буржуазией» и спускаясь уже до очень низких ступеней оппортунистской... тривиальности — вроде: «разум народа понял, что демократическая республика есть та общая платформа, которая может об'единить и пролетариат, и буржуазные классы. На этот путь соглашения и стала буржуазия»... Взяв под защиту кабинет Гучкова-Милюкова, Церетели стремился резко отграничить его деятельность от иных, особых, действительно зловредных, «безответственных» кругов буржуазии. Эти безответственные круги действительно подкапываются под народное дело, натравливают солдат на рабочих и т. д. Но правительство с ними борется и идет навстречу демократии — даже во внешней политике... «Нельзя рассматривать Вр. Правительство, как группу людей, преследующих классовые интересы... Должно быть общенародное единство воли, — ибо когда между пролетариатом с его Советами и буржуазией в лице Вр. Правительства возникнет конфликт, то тогда общенародное дело погибнет». У нас есть комиссия для «установления контакта с Вр. Правительством, и не было случая, чтобы в важных вопросах правительство не шло на соглашение»...

Не правда ли, достаточно далеко зашел этот человек в дебри «соглашательского» слепого шовинизма, на другой же день после своего появления, еще в марте месяце, еще на первых порах, при свежих силах революции, когда даже серая мужицко-обывательская масса сохраняла энтузиазм и остатки боевого духа? Мы должны отметить эти выступления Церетели, — они в дальнейшем пригодятся нам.

Но сейчас делегатская масса действительно еще шла впереди Церетели. «Общественное мнение» С'езда определилось в пользу «согласительной» резолюции по равнодействующей выступлений. Заработала меж-фракционная согласительная комиссия, затем долго и бурно заседали фракции и, наконец, создали платформу, об'единившую весь С'езд...

В качестве вне-фракционного человека я только случайно зашел в некоторые фракции. В маленьких комнатах была давка, шум и бестолочь... Насколько помню, был момент совместного заседания двух фракций: меньшевиков и с. р.-ов. Если я в этом ошибаюсь, то не ошибаюсь в том, что между этими фракциями было достигнуто предварительное соглашение насчет резолюции. Этим было положено начало знаменитому советскому блоку — меньшевиков и с. р.-ов, — державшему в руках всю советскую политику, всю судьбу революции в течение многих месяцев, — державшему крепко и не желавшему выпускать даже тогда, когда руки стали совсем слабы, омертвели и готовы были рассыпаться в прах от ничтожного порыва ветра.

А вместе с тем сообщали о том, что два дня назад был заключен и другой блок, — между всеми «народническими» фракциями в советских органах: эсерами, н.-с.-ами и трудовиками. Если эсеры до сих пор представляли крестьянство, то отныне они слились воедино с заведомо буржуазными группами. Вся правая Исп. Ком. от н.-с.-ов до меньшевиков включительно отныне, стало быть, представляла собой единое целое. Налево оставались большевики, внефракционные единицы и меньшевики-интернационалисты, сохранявшие свободу действий.

С другой стороны, на Совещании впервые высту-

пал оратор от «левой части эсеров» и солидаризировался с Каменевым. Не был ли это «циммервальдец» Гоц?.. Нет, этот «лидер» эсеров сначала выжидательно помалкивал в Исп. Комитете, — пока Александрович направо и налево агитировал за него, всячески его с своей стороны выдвигая и проводя в разные комиссии. Но скоро Александрович сильно охладел к этому делу и злобно отмахивался, ворча какие-то ругательства, когда его, дразня, спрашивали про Гоца... Вероятно, Гоц хлопотал о «народническом блоке», а не о «левой части» эсеров.

Зато Александрович, грозя на ходу кулаком, радостно крикнул мне:

— Камков приехал! Вот теперь...

Из-за границы действительно появился будущий лидер левых эсеров Камков. Он и выступал от левой части на Совещании. Эсеры-интернационалисты, уже задавленные «мартовскими людьми», воссоздали свою ячейку. В Исп. Комитете у них, однако, попрежнему был один Александрович.

В прениях о Вр. Правительстве с достаточной рельефностью проявилось течение в пользу образования «коалиционного правительства». Особенно хлопотали об этом правые «народники» (Брамсон), которые даже собирали подписи о том, чтобы вопрос о «коалиции» был немедленно поставлен в порядок дня Совещания. Но в конце концов из этого ничего не вышло. Не созрело... А Чхеидзе, как огня боявшийся всякой «министериабельности», даже устроил скандал энергичным «коалиционистам» за попытку дезорганизации С'езда.

* * *

Резолюция согласительной комиссии была, наконец, одобрена фракциями и была поставлена на голосование в пленуме. Стороны, сняв свои собственные резолюции, в двух словах комментировали свое отношение к ней и говорили о сладости компромисса во имя единения. Каменев заявил, что он «счастлив» голосовать за единую резолюцию... Ни одного не было против. Торжественные аплодисменты покрыли этот вотум, — единственный в советской истории.

Я не присутствовал во время голосования. А потом попрекал Каменева:

— Как же вы допустили, что в этой резолюции нет никаких указаний на классовый характер существующей власти? Ведь на это было указано даже в первой резолюции — Исп. Комитета. И как же вы не внесли поправки насчет признания законности борьбы?..

Каменев махнул рукой... Конечно, это было не важно.

* * *

Вечером, 31-го заседания не было... В этот вечер приезжал Плеханов. Исп. Комитет организовал торжественную встречу, и большинство почтенных лиц, участников Совещания, должно было участвовать в ней. Вместо обычной работы Совещания, в этот вечер был устроен род встречи между провинциально-фронтовыми делегатами и Петербургским Советом — торжественное заседание в Народном Доме, куда должен был прибыть с вокзала и Плеханов.

Я не поехал на вокзал, — не знаю хорошо, почему; но весьма возможно, что это было на «фрак-

ционной» подпочве: я довольно неприязненно смотрел на приезд Плеханова, опасаясь его вредной роли в будущих событиях. Я не сомневался, что он будет играть в них роль, достойную его — и количественно, и качественно. Вообще, я мог как угодно высоко ценить Плеханова, но чувствовал себя чуждым сегодняшнему торжеству.

Я отправился прямо в Народный Дом и застал там печальную картину. Необ'ятный полутемный зрительный зал имел пустынный вид: весь Совет, вместе с потонувшими в нем членами Совещания, разместился в огромном партере, амфитеатре и бельэтаже. В президиуме же, на сцене сидело несколько человек безымянных солдат из Исп. Комитета, которые и руководили собранием.

Говорились приветствия из провинции — бесконечный ряд. Они всем невыносимо надоели; но собранию было нечего делать, и председательствовавший солдат вызывал все новых ораторов, спрашивал, нет ли новых желающих сказать приветствие Петербургскому Совету. Было удручающее впечатление полной заброшенности Совета его руководителями. Не было налицо ни президиума, ни обычных его заместителей из Исп. Комитета, — не было никаких докладчиков, ни порядка дня. Была «масса», предоставленная самой себе, но естественно лишенная инициативы, в силу существования у нее присяжных, на то избранных, к тому приставленных руководителей. Были «низы» — без «начальства», где-то наверху делающего свои какие-то дела.

И такое настроение начинало кристаллизоваться в Совете, изнемогающем от тоски и нелепости положения. Начались нетерпеливые возгласы, выкрики против Исп. Комитета. Кто же и зачем призвал

сюда их, занятых людей? Казалось, вот-вот, после взрыва негодования Совет разойдется...

Но, наконец, с запоздавшего поезда, после бесчисленных приветствий на вокзале, влекомый Чхеидзе, но без всяких других участников встречи, поехавших прямо домой, — из-за декорации появился Плеханов... Чхеидзе «рекомендовал» его несколькими не очень складными, но очень горячими фразами. Последовала шумная овация, которая затем стихла — в ожидании, что Плеханов что-нибудь скажет собранию. Но Плеханов, измученный дорогой и встречей «начальства» на вокзале, неподвижно стоял в шубе в глубине сцены — и не сказал ни слова. Совет расходился в молчании и едва ли в хорошем настроении.

Увы! Эта картина советского заседания вызывала мрачные ассоциации самого общего характера. Эта оторванность советского «начальства» от советских «масс» проявлялась не только в отдельных случаях и в отдельных заседаниях. Она уже начинала чувствоваться вообще... Недоразумения «технического» свойства были хроническим явлением и впредь: сплошь да рядом, когда собирался начальством же созванный совет, было некому председательствовать, было некому доложить по об'явленному вопросу или было просто нечем «занять» Совет. Потом техника стала лучше. Чхеидзе неизменно занимал президентское кресло, и докладчики были мобилизованы.

Но дело то было в том, что источник зла был не в одной «технике». В это время, к концу марта уже чувствовалось отсутствие внутреннего контакта, отсутствие идейной и организационной связи с низами. Начиналась и здесь роковая трещина, которая дала себя знать впоследствии.

Дело было не только, а может быть и не столько в оторванности Исп. Комитета от Совета, от «рабочих и солдатских депутатов». Эту трещину — между верхами — кое-как удавалось замазывать еще долгое время. Но сейчас уже замечался разлад или замечалось отсутствие спайки между советскими руководящими сферами и действительными массами петербургского пролетариата и гарнизона. Более наблюдательные члены Исп. Комитета это уже формулировали в то время. Слепые игнорировали до конца. Если бы они не игнорировали, конец, пожалуй, мог бы быть и не столь позорным для нового советского большинства.

* * *

Кажется, на другой день утром, в мое отсутствие, Плеханов сделал визит Исп. Комитету. Повидимому, это был первый и последний визит Плеханова в руководящие советские сферы. Вопреки моим ожиданиям, болезнь не позволила ему занять подобающее место в Совете и в революции. Может быть, ему помешала не только болезнь. Между позицией Плеханова и позицией Совета была настолько резкая грань, что Плеханов счел нужным воздержаться от всяких попыток участия в чуждом учреждении... Я лично полагаю, что эта грань с образованием нового большинства была совсем не так резка: между «мамелюками» и большевиками она, несомненно, была значительно резче. Но все же новое большинство также не обнаруживало склонности идти навстречу «контакту» с Плехановым: оно не хотело компрометировать себя в глазах масс. Оно правильно полагало: можно делать, но не следует говорить, не надо афишировать.

Участие Плеханова в событиях 1917 года ограничилось его писаниями в крошечной, мало читаемой и совершенно невлиятельной газетке «Единство». Его единомышленники составляли небольшую группку, не представленную в Совете именно в виду ее полной ничтожности... С Плехановым я лично так и не познакомился до самой его смерти.

Вместе с Плехановым приехали давно ожидаемые именитые гости, — французская и английская делегации: М. Кашен, Мутэ, Лафон, О. Греди, Торн, Сандерс. В 20-х числах нас посетил еще один знатный иностранец — первый пионер, исследователь неведомой российской революционной почвы из высоко просвещенной Европы. Это был Брантинг, шведский социалистический лидер. Однако, эта знаменитость, посетившая Исп. Ком., говорившая приветствия, пытавшаяся начать деловую политическую беседу, — прошла у нас совсем мало замеченной. Приняли, поговорили, как сотни других делегаций, и сейчас же забыли.

Этого совсем нельзя сказать о французских и английских гостях. Их мы не только давно ждали. О них мы были очень много наслышаны. И не с хорошей стороны. Какими бы они ни были честными и благородными гражданами, какими бы они ни были убежденными социалистами, — для нас, не только для циммервальдцев, но и для наших советских оборонцев, прибывшие англо-французские деятели были фактическими делегатами союзных правительств, были агентами англо-французского капитала и империализма. Нам было хорошо известно их «священное единение» со своими правящими сферами, виновниками войны и рыцарями международного грабежа. Мы были достаточно осве-

домлены о шовинизме и о крупной, глубоко вредной роли этих деятелей в их странах и в рабочем движении, вернее — в борьбе с рабочим движением Англии и Франции в период войны.

Между прочим, с характеристикой этих союзных парламентских социалистов к нам обратился из-за границы Мартов, предостерегая против них советские сферы. Но и без того наши сердца далеко не были раскрыты перед гостями. Напротив, мы были сильно насторожены против них и готовились к отпору, даже к весьма активной обороне, если не к нападению.

Ибо было ясно: гости приехали не для выражения чувств перед русской революцией, не для приветствий, не для братанья, не для личного знакомства и изучения. Главная их цель была в другом, — в агитации среди нас против германского деспотизма, в воздействии на нас авторитетом «более зрелых товарищей», в привлечении нас к союзу с Рибо и Ллойд-Джорджем для борьбы «за право и справедливость». Именно для этого их снарядили в Петербург, избрав самых «лучших», самых надежных для правителей — из всего «социалистического» и «рабочего мира» союзных стран. Других не только не снарядили, но и не пустили «приветствовать русскую революцию».

Их покушение представлялось ни в какой мере не опасным, их «давление» — безнадежным. Мы чувствовали себя слишком сильными — и убеждением, и авторитетом. «Союзные» гости, не будучи друзьями, не представлялись нам и достойными противниками, скорее докучливыми ходатаями перед победоносной русской демократией от перепуганной союзной буржуазии. Тем более мы лишены были к ним всякого

пиетета; тем более жалкой и неприятной казалась нам их роль.

На другой день по приезде гости явились с визитом в Исп. Комитет. Нервные, волнующиеся французы и тяжелые непроницаемые англичане прибыли в сопровождении своих соотечественников из сфер местных посольств. Их встретили молча. Они пришли сегодня только для приветствий, которые были покрыты более чем сдержанными, не более чем вежливыми аплодисментами. От французов говорил Кашен, от англичан О. Греди. Им очень хорошо отвечал Чхеидзе, удачно построив ответное приветствие и взяв очень твердые ноты насчет задач русской революции в области достижения мира. Речь Чхеидзе была демонстративно встречена долгими рукоплесканиями.

Надо думать, гости и раньше, до своего визита, были достаточно осведомлены о господствующих в Совете настроениях. Теперь они вполне могли ориентироваться в обстановке — для предстоящей «деловой работы»... Подвижные, улыбающиеся французы уже заводили частные разговоры и знакомства. Пока говорили все больше комплименты. Англичанам это было не под силу — и по характеру, и по лингвистическим причинам...

Аудиенция длилась недолго, несмотря на переводы каждой речи. Гостей со всей предупредительностью проводили до выхода и обратились к очередным делам. Гости вышли от нас, вероятно, размышляя о трудности задачи: в самом деле, как же сломать лед?

* * *

«Совещание» уже переходило к деловым докладам. Их предстояло еще не мало, а между тем энергия уже иссякала, внимание и прилежание ослабли.

Был очень интересен доклад Венгерова о солдатских делах и правах. Для далеко стоящих людей он открывал новую область, где происходила своя местная революция. О солдатских вольностях, благодаря исключительной роли солдата в событиях, заговорили с первого момента, и общие декларации были известны всем. Но даже авторам этих деклараций была неведома та область солдатского быта, солдатской службы, солдатской муштры, — которая сейчас перестраивалась сверху до низу...

«Совещанию» предстояло еще кропотливое и большое дело избрания Всероссийского Исп. Комитета: это был центральный организационный, а по существу, пожалуй, государственно-правовой вопрос. Приближалось дело и к земельному докладу. Что-то происходит в земельной секции?

Там было неблагополучно. Туда были для «урегулирования отношений» командированы — я, как «аграрник», и Церетели, как высший авторитет. Эсеровские солдаты, больше молодые интеллигенты, были готовы принять большинство положений аграрной резолюции Исп. Комитета. Они принимали отсрочку «безвозмездного отчуждения частно-владельческих земель до Учр. Собрания»; принимали земельные комитеты; принимали обработку комитетами пустующих земель при помощи владельческого инвентаря; принимали «борьбу со всякими попытками самочинного разрешения на местах земельного вопроса»; и, наконец, приветствовали «прекращение впредь до разрешения Учредит. Собранием земельного вопроса всякого рода сделок по покупке, прода-

же, залогу и дарению земель». Все эти основные положения Исп. Комитета секция принимала.

Но она решительно не соглашалась установить минимальный размер для конфискуемых владений, требуя, чтобы все земли, включая и мельчайшие крестьянские участки, были обращены во всенародное достояние.

Это требование соответствовало программе с.-р.-ов, но противоречило всем остальным социалистическим программам. Напрасно мы с Церетели убеждали разгорячившиеся головы на все лады. Напрасно предлагали пойти на компромисс с блоком всех остальных, марксистских и народнических партий, — компромисс, не существенный теоретически («до Учр. Собрания!»), но сейчас способный иметь практическую важность: ибо покушение со стороны революции на земли черноземных крестьян, особенно хуторян — могло породить не малую передрягу... Но ничто не помогало. Собрание секции кончилось торжественным обещанием лидеров: устроить в пленуме грандиозный скандал и сорвать резолюцию Исп. Ком... Примирились на том, что резолюция будет предложена и принята условно — с тем, чтобы она была передана для «обсуждения на места».

* * *

Около полуночи Чхеидзе, Дан и я направлялись из Таврического дворца в автомобиле, с работы на покой. Я снова ехал к знакомым на Пески: домой попрежнему приходилось заглядывать очень редко.

— Смотрите, что это? Что это? — вдруг закричал Чхеидзе и высунулся из окна.

На улице стояла толпа с зажженными свечами в руках, слышалось пение, колокольный звон...

— Да, ведь это — Пасха! Начинается пасхальная заутреня!

Все мы, особенно в конец измученный Чхеидзе, были бы не прочь попраздновать и отдохнуть. Но пока работали, не разбирая дня и ночи, не только не соблюдая праздников, но и не подозревая о них.

* * *

В первый день Пасхи, 2-го апреля, когда Станкевич делал в пленуме «Совещания» свой доклад об Учред. Собрании, стараясь вскрыть перед невнимательной аудиторией различные юридические тонкости, — в заседании появились Плеханов и иноземные гости. Чхеидзе здесь на людях, в не-деловой, а только торжественной обстановке приветствовал гостей значительно теплее, чем вчера.

Кашен говорил блестяще, кратко, сильно, с под'емом, с волнением, с неподдельным энтузиазмом. Его бурное французское красноречие, его гимн в честь великой революции — воскресили романтику первых дней и захватили собрание... После Кашена говорил О'Греди — с иным колоритом, но с той же искренностью, заставившей — между прочим — англичанина вспомнить о Боге, которому «рабочий класс всего мира, дети и потомки их, в течение многих поколений, будут молиться и благодарить нынешнее русское поколение за его великое дело»... Гостей шумно и долго благодарили за их теплые слова.

Желая тщательно подготовить встречу и не вполне уверенный в ней, Чхеидзе «отрекомендовал» затем Плеханова. При создавшемся настроении дружные

приветствия были обеспечены, — и небольшой сектор большевиков, во главе с Каменевым, принимал посильное участие в чествовании отца Российской Социалдемократии.

Плеханов говорил первую большую речь к русской революции, к живой революции, слушавшей его, — говорил с увлечением, с остроумием и — с большим тактом. Он, конечно, не мог обойти больных вопросов, делавших его, Плеханова, «изгоем», в среде его собственных учеников. Но он с большим искусством миновал наиболее опасные подводные камни, стер углы, пошел далеко навстречу — и победил аудиторию.

Овации возобновились. Плеханов взял за руки француза и англичанина, желая изобразить... единый фронт международного социализма среди победной революции. Увы! Здесь не было и его слабого подобия. Но было торжественно и дружно в «белом зале».

А на следующий день, 3-го апреля, тот же Плеханов, вместе с лидерами большинства, произносил новую, заключительную речь при закрытии С'езда. Он видел в С'езде залог правильного пути революции; он приветствовал принятые решения — особенно «золотые слова о войне»; он призывал держать взятый курс и не уклоняться в стороны. Дурные ауспиции!

«Совещание» кончилось, — участники раз'езжались, растекаясь по всему лицу, по необ'ятной шири российской революции...

* * *

Благожелательные напутствия Плеханова звучат печальными предзнаменованиями. Но в них содержатся едва ли основательные упреки «Совещанию» перед лицом истории. Нет, неправильно, несправедливо, нельзя поминать лихом этот мартовский «неправомочный» С'езд. Во всяком случае, это был лучший советский с'езд, отнюдь не положивший пятна на эту лучшую, лучезарную эпоху, на эту светлую страницу в истории государства российского, когда народные силы были необ'ятны, когда они были готовы к борьбе, и когда так велики были шансы на близкую и полную победу.

Мартовский с'езд не мог обеспечить единый фронт демократии против буржуазной реакции и империализма. Но он сделал все, что мог сделать с'езд: он декларировал единый фронт и призвал силы демократии к сплочению вокруг Совета для борьбы за укрепление и расширение революции.

Этого мало: мартовский с'езд сплачивал демократию на пролетарской платформе циммервальда. Содержание циммервальда, правда, уже выдыхалось из практики Совета. Но постановления С'езда еще сохраняли дух классовой международной солидарности и классовой международной борьбы. Перед лицом социал-патриотических рабочих масс Европы это имело неоспоримое значение. И престиж русской революции, держащей в руках знамя мира, был высок в глазах международного пролетариата. Мартовский с'езд не подорвал этого престижа и не запятнал этого знамени.

Но С'езд этот был не только «лучшим» — по декларированным принципам. Он был и самым плодотворным в других отношениях. Этот С'езд официально формулировал и закрепил от имени все-

российской демократии ближайшую программу революции. Эта программа выражалась словами: мир, земля и хлеб.

Это была ближайшая, минимальная программа. И это была программа *необходимая*, — такая программа, не выполнить которой революция не могла, если только она продолжала быть революцией и не была ликвидирована реакционными силами. Мир, земля и хлеб, — это было уже не «расширение» и не «углубление» революции. Это была ее необходимая сущность, это была об'ективно сложившаяся кон'юнктура, вытекшая сама собой из первоначального толчка, из самой природы первоначальных событий, из условий ликвидации царизма. Отказ от мира, земли и хлеба означал смерть, удушение революции. Борьба против этих требований, борьба за их «сокращение», за их «смягчение» означала борьбу против революции темных реакционных сил. Борьба за *частичное* выполнение этих требований и за частичные уступки в деле мира, хлеба и земли — означала *полную* выдачу революции во власть реакционной диктатуры. Ибо революция — это были освобожденные народные силы и народные интересы, которые без этого минимума обойтись не могли, которым он был необходим целиком; компромиссы, отказы, задержки на этой почве были разрушением народных сил, уничтожением всех основ революции. Это было об'ективно и непреложно. И для каждого участника событий в это время уже должна была кристально выясниться альтернатива: либо решительная борьба и скорейшая победа в деле мира, земли и хлеба, либо удушение революции и беспощадная диктатура капитала.

Земля — это был исконный, непреложный крик

«хозяина русской земли», крестьянства, подавляющего большинства русской демократии и всего населения страны. Хлеб было непреложное требование авангарда, гегемона и главной основы революции — пролетариата: требование это означало, во-первых, минимальный жизненный уровень рабочего в условиях достигнутой им победы; а во-вторых, требование хлеба на деле означало «регулирование» народного хозяйства, без которого хлеба добыть было нельзя.

Первым же и важнейшим лозунгом революции был мир. Если революция не кончит войну, то война задушит революцию. Это должно было быть очевидно не только для циммервальдца, поборника братства народов, но и для каждого демократа вообще. Продолжение и затягивание войны заведомо отнимало у народа и хлеб, и землю, и всю революцию. Затягивание войны означало разрушение народного хозяйства, означало голод, бестоварье, реакцию крестьянства и торжество контр-революции. Затягивание войны означало всеобщую разруху, гражданскую войну и ликвидацию всех завоеваний. Мир — был основным требованием, поглощавшим остальные, превращавшим их в единый, в триединый лозунг революции.

Но ясно: мир был не только требованием международного социализма и российской демократии; он был не только вопросом жизни и смерти революции. Он был насущнейшим требованием всей страны в целом: это должно было быть требованием нации... Ибо было очевидно: самая революция возникла непосредственно как реакция на неслыханные тяготы войны. Бедная, отсталая, неорганизованная, придавленная царизмом страна — не выдержала

войны. Ее экономика надорвалась, ее производительные и организационные силы оказались недостаточными для данного об'ема мирового конфликта...

Разве не должно было быть очевидным для «патриотов», для наших националистов, что продолжение и затягивание войны ради империалистских целей, ради каких бы то ни было приобретений — означает бесславную потерю национального достояния, если не гибель государства? Разве не было очевидно, что в дальнейшем надорванные силы поправить нельзя и достигнуть «победы», при об'ективно созданной кон'юнктуре, немыслимо?... Страна в целом не могла выдержать этой войны. И не продолжение ее, а именно прекращение, именно решительные шаги к миру, именно скорейшее его заключение — были самым надежным путем к защите национального достояния, самым верным средством действительной обороны страны...

Оборонить ее и сохранить национальное достояние путем войны действительно оказалось нельзя. Посредством же «почетного» мира это было тогда возможно... И сомнений тут быть не может: политика продолжения и затягивания войны, политика саботажа дела мира, политика противодействия ему, борьба против «линии» циммервальда — была политикой, рассчитанной, во-первых, на удушение революции, а во-вторых — на Брест.

К последнему никто не стремился сознательно. Но купить разгром революции ценою военного разгрома определенно стремились известные слои буржуазии. И они вели на поводу не только широкие буржуазные, либеральные и радикальные сферы, но и демократические, советские мелкобуржуазные слои; — вели на поводу в их борьбе с пролетарской

линией циммервальда, бывшего не только опорой рабочего Интернационала, но и опорой действительного российского патриотизма. Такова была тогда воля судеб!...

Мир, земля и хлеб — были формулированы мартовским с'ездом, как непреложная программа революции, не выполнить которой было нельзя. Эту программу надлежало поставить в порядок дня и развернуть решительную борьбу за ее выполнение.

Этого мало: в интересах сохранения сил революции, в интересах сохранения на стороне революции сил всей демократии — было совершенно необходимо давать постоянные, непреложные доказательства действительного выполнения революционной программы. Каждый день противодействия, каждый признак «саботажа», каждое сомнение в курсе революции — растрачивали ее силы.

Текущая политика революционной власти должна быть в глазах народа обеспечением решительного и прямого курса революции к миру, хлебу и земле. Общий же революционый статус должен быть основной г а р а н т и е й выполнения народной программы. В этом общем статусе состав правительства, соотношение сил внутри его — дело второстепенное. Основное свойство его, гарантирующее правильный курс революции — это сплочение демократических сил вокруг своих полномочных органов, готовых к решительной б о р ь б е за народные требования, к борьбе против всяких попыток официальной власти уклониться с требуемого, необходимого пути революции.

Мир, земля и хлеб — это цель. Решительная борьба за них — это средство. Единый демократический фронт — это гарантия победы. Мартовский — со-

ветский С'езд наметил все это правильно и формулировал ясно. Несправедливо и нельзя поминать его лихом.

Но... — цели, конечно, остались незыблемы. Готовность к борьбе?... Прощальные напутствия Плеханова, выраженные им надежды, в связи со всем «контекстом» С'езда — внушают мало оптимизма. Что же касается единого фронта, то...

* * *

В тот же день, 3-го апреля, в Исп. Комитет сообщили, что сегодня вечером из-за границы приезжает Ленин. Почетному изгнаннику надо было устроить почетную встречу. Был избран представлять Совет — Церетели. Но он решительно отказался. Делать было нечего: неприятно и даже как-то странно, — но приходилось ехать на вокзал президиуму, Скобелеву и Чхеидзе.

Дело было уже к вечеру. Уже пора была собираться на вокзал. Я также решил ехать. «Околопартийный человек», папаша Чхеидзе, высоко подняв брови, сокрушенно крутил головой.

Апрель-июль 1919 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Стр.

1. Ориентировка 7

«Безответственные» наброски. — Новый порядок. — Самоорганизация Исп. Ком. — Характерные черты Комиссий. — Ю. М. Стеклов. — Б. О. Богданов. — Л. М. Брамсон. — К. А. Гвоздев. — Г. М. Эрлих. Н. Ю. Капелинский. — Моя «органическая работа». — «Труженики и политики». — Ориентировка. — «Переход на мирное положение»: в «ведомствах», в армии, у промышленников. — Работа Исп. Ком.: помещение, пропитание. — Вопрос о трамвае. — Первое столкновение с солдатскими вольностями. — Офицеры в Исп. Ком. — Отречение Николая II. — Наша позиция. — «Неясность». — «Услуга» Николая Милюкову. — Хлопоты с Михаилом Романовым. — Рыцари народной свободы. — «Борис Годунов» наизнанку. — Керенский на подмостках. — Недемократический демократ. — Передышка от Совета. — Н. С. Чхеидзе. — Гельсингфорские события. — В правом крыле. — «Контроль». — Амнистия. — Керенский рвется к власти. — Петербург, анархия и порядок. — Радостная встреча. — В хвостах. — Рассказ Никитского. — В градоначальстве. — Митинг о политической экономии. — Офицеры. — Совет и война. — Арестанты. — «Идейный» филер. — Радиотелеграмма Милюкова.

2. Первые шаги 69

Аграрные дела и проблемы. — Программа Громана и экономическая политика Совета. — «Комитет Орган

Стр.

— «Мамелюки». — «Разумные оборонцы». — Либер. — Сталин. — Буржуазные комментарии к комментариям Чхеидзе. — «Циммервальдский блок». — Резолюция о мире. — Первый фронт революции. — Продовольствие, хлебная монополия, регулирование промышленности. — Второй фронт революции. — Терещенко. — Урицкий чествует Церетели. — Ходоки и просители. — Александрович «разрешает». — Пешехонов и земельные комитеты. — Аграрная реформа. — Третий фронт революции. — Похождения Керенского. — Суд над «бонапартом». — Сибирские «циммервальдцы»: Гоц, Войтинский, Церетели.

6. Битва и пиррова победа 292

Буржуазия мобилизует армию. — «Двоевластие». — Резолюции. — Поездки в Ставку. — «Комитет пропаганды». — Адреса, наказы, делегации. — В тыл. гарнизонах. — Агитация Ставки. — Мобилизация «гражданских» сил. — Земские сферы. — Торгово-промышленные организации. — Кадетский с'езд. — Стоход. — Недостаток советских сил. — Разнузданность Милюкова. — Война между солдатами и рабочими. — В советском лагере. — Оборона. — Ахиллесова пята. — Прием фронтовых делегаций. — Заседание в кабинете Родзянки. — Делегаты. — Ораторы «из народа». — Дары революции. — В окопах. — Берлинский Совет Р. и С. Деп. — За кулисами. — Наступление министров в контактной комиссии. — Г. Е. Львов-Некрасов-Мануилов-Гучков. — «Беседа об армии, о работе на заводах, об аграрных делах. — Шингарев. — Вопрос об эмигрантах. — «Кризис». — Керенский пугает, мне не страшно. — Вопрос о войне в Исп. Ком. — Церетели. — Заседание 21 марта. — Мой «доклад». — Громы Церетели. — Прения. — Чайковский. — Мамелюки. — На другой день. — Компромисс. — Его смысл. — Новое большинство. — Похороны. — «Отказ от аннексий» в «контактной комиссии». — Позиция Милюкова. — Левая «семерка» в кабинете. — Керенский. — Ломовики в Исп. Ком. — Опять Керенский: «бонапарт» среди своих солдат.

Стр.

— Акт 27-го марта в Мариинском дворце. — Его лживость. — Трюк Терещенки. — Раненый Чхеидзе на посту. — «Давление» признается неудавшимся. — Резолюция о войне меньшевиков. — Акт 27-го марта в Таврическом дворце. — Пиррова победа. — Ее смысл и перспективы. — Эпилог. — Керенский в Исп. Комитете. — Керенский победил. — Новые перспективы насчет «кризиса власти». — Перелом.

7. Финал единого демократического фронта . . 376

Всероссийское Совещание Советов.

Подготовка. — «Аграрный» доклад и «аграрные» неприятности. — Резолюция о войне в предварительной комиссии. — Церетели и меньшинство. — Циммервальд на Совещании. — Резолюция о Вр. Правительстве. — Единый фронт на Совещании. — Клочек бумаги. — Прочие доклады и докладчики. — Новое большинство еще неустойчиво. — Встреча. — Состав Совещания. — Ф. И. Дан. — Доклад и прения о войне. — Буржуазная кампания в Совете. — Керенский на Совещании. — Каменев извивается. — Стеклов «чижика с'ел». — История моего «содоклада». — Церетели на наклонной плоскости. — «Масса» выше лидера. — Начало блока меньшевиков и с.-рев. — Блок «народников». — Левые эсеры. — Агитация в пользу «коалиционного» правительства. — Апофеоз единого фронта. — Приезд Плеханова. — Совет заброшен в Народном Доме. — «Низы» и «начальство». — Еще одна трещина. — Английские и французские гости в Исп. Ком. — Бунт мужиков против самих себя. — Единый фронт союзных социалистов. — Последнее торжество в Совещании. — Итоги. — Декларации принципов. — Программа революции: мир, хлеб, земля. — Триединый пункт. — Принципы циммервальда на службе патриотизма. — Цели, средства и гарантии. — Ленин.

ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ

№ 1

НИК. СУХАНОВ

ЗАПИСКИ О РЕВОЛЮЦИИ

Кн. 1: МАРТОВСКИЙ ПЕРЕВОРОТ
(23 февраля — 2 марта 1917 г. 4-ое изд.)

*

Кн. 2: ЕДИНЫЙ ФРОНТ ДЕМОКРАТИИ
(3 марта — 3 апреля 1917 г.)

*

Кн. 3: СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ФРОНТА КРУПНОЙ И МЕЛКОЙ БУРЖУАЗИИ
(3 апреля — 5 мая 1917 г.)

*

Кн. 4: ПЕРВАЯ КОАЛИЦИЯ ПРОТИВ РЕВОЛЮЦИИ
(6 мая — 8 июля 1917 г.)

*

Кн. 5: РЕАКЦИЯ И КОНТР-РЕВОЛЮЦИЯ
(8 июля — 1 сентября 1917 г.)

*

Кн. 6: ЗАКАТ ДЕМОКРАТИИ И ОКТЯБРЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ
(1 сентября — 1 ноября 1917 г.)

ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕБИНА

КНИГОЗБІРНЯ
„СТУДІОН"
у Львові

12,63
(1986)
Р1 5182
7957

ОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ. № 1

НИК. СУХАНОВ

ЗАПИСКИ О РЕВОЛЮЦИИ

КНИГА ВТОРАЯ



ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕБИНА
БЕРЛИН • ПЕТЕРБУРГ • МОСКВА
1922

931